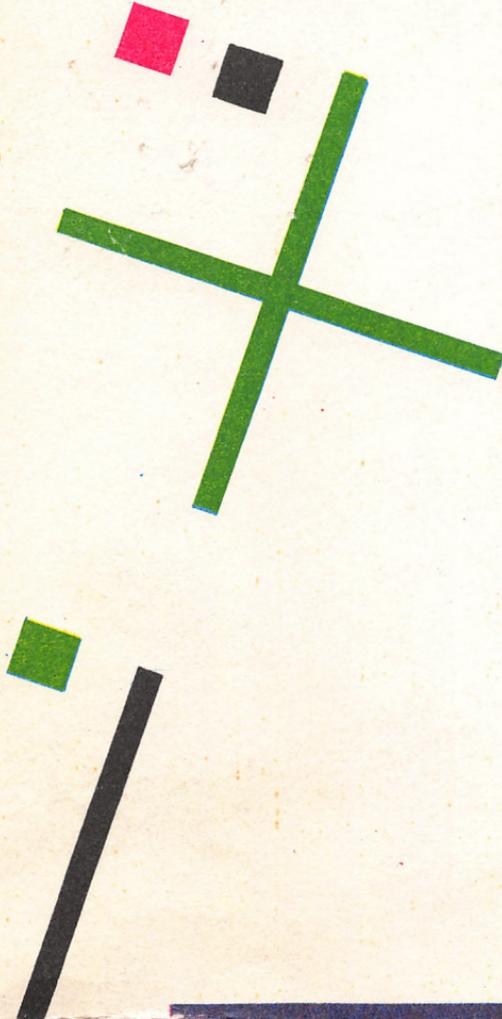


НЕЗАМЕЧЕННАЯ ЗЕМЛЯ



МОСКВА - ПЕТЕРБУРГ

Ассоциация «Новая Литература»

НЕЗАМЕЧЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Литературно-художественный
альманах

Москва — Петербург
1991

ББК 84Р7
Н44

Ассоциация «Новая Литература»

Литературно-художественный альманах

Москва — Петербург
1991

Составители В. Шубинский и И. Вишневецкий
Художник М. Молочников

Издание подготовлено при участии Ассоциации современного искусства «Камера хранения» и журнала «Равноденствие» и осуществляется на средства малого предприятия «Лесная река».

«Незамеченная земля» — альманах, включающий широкий круг художественных произведений и статей философского и культурологического характера, созданных начиная с 1920-х годов, в основном вне рамок официальной литературной жизни. В альманахе представлены авторы разных поколений, наиболее широко — писатели, дебютировавшие в последнее десятилетие.

ISBN — 5-85080-008-5

© Составление — Шубинский Валерий Игоревич,
Вишневецкий Игорь Георгиевич

Вместо предисловия

Настоящий альманах менее всего является групповым изданием, объединяющим близких по идеям, по стилю или хотя бы по духу авторов. Уж чего нет — авторы, представленные в настоящем альманахе — люди разных поколений, разных школ и кружков, разных взглядов.

Составители альманаха сознательно стремились «не замечать» сложившихся стереотипных представлений, устоявшихся репутаций и сиюминутной расстановки сил в литературном процессе. Их цель — показать возможность принципиально иной литературной позиции, иного взгляда на цели и задачи художественной словесности.

Ненормальная общественная ситуация привела к деформации литературной жизни — широкий читатель стал объектом расчетливых манипуляций, круг его чтения во многом определяется официальной издательской политикой. «Властители дум» на самом деле зачастую отбирались искусственно (так же, как и классики «секретарской литературы»), и то, что многие из них стали впоследствии глашатаями и вождями Охотного ряда, совсем не так удивительно, как полагают романтично-народолюбивые интеллигенты. Наряду с этим существовала «вторая культура», якобы независимая, на деле же — всецело настроенная на противостояние «первой». Мы говорим об общей тенденции, а не об отдельных авторах. Почти всем талантливым людям приходилось как-то вписываться или в официальные структуры (чаще на периферию — в переводчики или в детскую литературу, в которой существовали, например, Сергей Вольф и Олег Григорьев), либо в систему «самиздата» и «тамиздата» — другого-то ничего не было. Эти две соперничающие литературы в тех условиях выполняли различные социальные функции побочного характера — они давали стране информацию о ее прошлом и настоящем, формулировали политические и философские идеи (обычно не первой свежести), просто объединяли людей в неформальные группы — литературные вкусы были знаком социально-психологической общности. В общем, российская словесность опять занималась не своим делом.

И когда шоры стали разрушаться, очень для многих литераторов (и небесталанных в том числе) это оказалось трагедией. Оказалось, что вне этого странного противоборства двух противников, один из которых другого как бы не видит, а второй первого очень даже видит, существовать они попросту не могут. Потому что, воюя с Михалковым, или Евтушенко, или Распутиным, они подсознательно рассчитывали на аналогичное место в литературном процессе. А оказалось, что чем нормальнее общество (а жить все хотят в нормальном обществе) тем меньше нужны такие писатели. То есть всегда будет чисто развлекательная литература, которая выходит огромными тиражами и взахлеб читается в электричках и сортирах, но ее авторов никто не считает властителями дум. И есть литература серьезная, но она серьезна не потому и не так, как принято считать у нас.

Эта литература, не зависящая от изменений социальной конъюнктуры, литература без прилагательных, которая все эти годы жила «в краю безлюдном, безымянном, на незамеченной земле», в какой-то другой, незнакомой России. А какая страна настоящая, а какая намалевана на куске холста — надо еще посмотреть. И сейчас, когда стремительно разрушаются незамысловатые декорации, эта литература, формально не отделенная от «первой и второй» словесности, выходит, кажется, на поверхность. Границы этой литературы определить не просто. Мы все связаны субъективными симпатиями, дружескими отношениями. Этот альманах — просто попытка непредвзятого взгляда на литературный процесс последних десятилетий. Нам кажется, что представители нового поколения, в меньшей мере вовлеченные в литературные союзы и конфликты предыдущих лет, скорее способны на такой взгляд.

И этому взгляду открываются вещи достаточно интересные. Оказывается, в самые темные десятилетия сталинизма, в глубочайшем безмолвии, в отдалении от официальной культуры создавалась литература иная, местами поражающая мощью и глубиной. Причем мы говорим не об авторах, начинавших свою деятельность в предреволюционные годы, а о тех, кто сформировался уже в советское время. Творчество этих авторов было недооценено шестидесятниками и лишь сейчас становится постепенно достоянием сколько-нибудь широкой читательской аудитории. В нашем альманахе публикуются произведения выдающегося философа Я. С. Друскина, стихи А. Н. Егунова (Николева), Д. Е. Максимова (Ив. Игнатова) — известных литературоведов, которые были также самобытными поэтами. Да и само поколение шестидесятых было неоднородно. В стихах рано погибшего Л. Аронсона, ценимых в литературной среде, но почти неизвестных за ее пределами, мы видим возможность совершенно иного пути, отличного от того, по которому шли многие его сверстники, попавшие в мощное силовое поле поэзии Иосифа Бродского. Наконец, мы видим, что в последние годы дебютировала целая плеяда талантливых и своеобразных авторов.

«Незамеченная земля» рядом с нами, нужно лишь увидеть ее, а для этого надо отрешиться от уродливых схем и искусственных градаций, сложившихся в ненормальных условиях. Эта земля имеет не только горные края, но и низины, это попросту наличная литературная реальность в ее подлинном, не мистифицированном состоянии. Этот альманах — попытка ее частичной фиксации, и мы надеемся, что она не будет последней.

Олег ЮРЬЕВ

ИЗ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ИСЛАМ»

Мгла счерстведшая раскрошена

Мгла счерстведшая раскрошена
В блескотню земных огней,
Но — с лицом сырого коршуна —
Ночь колеблется над ней,
Ибо прут квашню безлицую
Полумесяцы дорог,
Чтоб поднялся над столицей
Хлеб отвергнутых даров,
Ибо мгла хоть и расквашена,
Хоть осыпалась, шурша,
Но под осыпью-то скважина,
Где пока еще душа —
Пусть почти что напрочь стертая
Наглой тщетностью своей,
Но пока она не мертвая,
Долг — свидетельствовать ей
И следить за Богозданными...

Но уже, как некий знак,
Над московскими зинданами
Меркнет пурпурный зигзаг.

1990

ЛЕНИНГРАД

Какая-то убыль почти ежедневна —
Как будто рассеяней свет
Как будто иссохла, изжестчилась пневма,
Как будто бы полог изветх;

Как будто со всякой секундой грубее
Обрюзгшая плоть у реки,
И даже коротких лучей скарабеи
На ней и тусклы и редки;

Как будто все меньше колонн в колоннадах
Когда-то любимых домов,
И все тяжелей переносится на дух
Кровавых заводов дымок;—

Как будто кончается сроками ссуда
И вскорости время суда;
Как будто бы кто-то отходит отсюда
И некто заходит сюда.

Январь 1990

ХОР НА ЧЕТЫРЕ НЕВСТРЕЧИ

строфа I

По кому склизкой вицею
Дождь хлестнул дыролицей?
Кто не знал урок?
И для чьих ауспий
С мутной выси смутной птицей
Казан броский кувырок?

антистрофа I

Сколько костных, дрожащих
Лестниц в перистых чащах
Ночи, ткущей чад! —
Но не щелкнет ни хрящик...
А из всех купин горящих
Ни словечка — все молчат.

строфа II

А на склизких высотах
Мертвый мед в черных сотах
Кто по ветру льет?

Кто, скрипя на воротах,
Птиц скликает криворотых,
Но не видит их полет?

антистрофа II

Громный голос из мрака
Разогнул волны праха
Мусорной зимы,—
И расчистилась плаха...
Но — полны тоски и страха —
Ничего не слышим мы.

Январь 1990

СТИХИ О НЕЗРИМОЙ НЕВЕ

I

Реки незримой искони
Неизносима кривизна.
Одни лишь небеса одни
Так же зеркальны, дочерна.
Но черноверхая страна
Неотразимые огни
Отводит прочь, отречена.—

На желтых лапочках фонарь
По дикому прыг-скок стеклу
За угол, где клочная хмарь
В глухую переходит мглу.
Россия мерзнет на углу,
Блестя ногами, как Фамарь,
Поднявши на лицо полú...

II

Двояковыпуклой линзы отлог —
Слитное тело реки.
Сущего мрака светящийся клок
Влачат на плечах светляки.

Сердце ли? воздух? эфирная плоть?
Просто ли блеска объем?
Как это облако тьме расколоть? —
Единственно света копьем.

Вытыкнут выспрь леденеющий свет,
Воткнут в горящую гроздь,
Только — как будто вообще ее нет —
Проходит весь воздух насквозь

И утыкается в горний предел,
В слитное тело небес,
Будто себя как иголку продел
И в стое зеркальном исчез.

Не достигает незримой воды
Воздух, отдавший объем.
К небу вернулись три зябких звезды,
Влачившие сердце втроем.

В двояковыпуклой линзе черна
Вся сердцевинная тишь...
(Двояковогнута, кстати, она,
Коль скоро снаружи глядишь).

ХОР НА СЛУХ И ЗРЕНИЕ

с т р о ф а

Лязг дождя и шуршанье снега,
Скрежет шероховатых градин —
Вот и все, что пока что с неба
Услышано было за день.

- А не услышано было за день:
- а) Пзанический блекот дядин;
 - б) Стук-пристук трамвайных гадин,
Рассевающих гроздьа сверху;
 - с) Урчанье воздушных впадин,
С трубным дымом прошедших сверку;
 - д) Церковный скрипучсий складень... —
Это все неслышимо сверху.

антистрофа

Резкий луч облаками скраден,
Свернут в розу, на радость Гафизу,—
Это все, что пока что за день
Услежено было снизу.

Но не услежено было снизу:

- а) День разнимает земную линзу;
- б) Верхняя створка с солнечной слизью
Меркнет, во гнутый мрак уводима;
- в) Сдается таянью, сгрызу
Верхняя смутно-кривая льдина;
- г) Ангел с кожей срывает ризу...---
Это за день не уследимо.

СТИХИ С ПРИМЕСЬЮ

Древа октябрьского сорный шар.
Древа ноябрьского круглый пар.
Древа декабрьского взбитый взвар.—
Кажется, этим венчается год.

Вычитан начерно разворот.
Выскребен насеро черный ход.
Высосан набело неба свод.
Так вот как я сделался стар.

Кажется, споро пошли года.
Кажется, я даже знаю куда.
Кажется, знает в крови вода,
Для чего же весь этот спех.

Шестиугольно пирамидальный снег
Ночью был светел, к рассвету смерк
И щербат, как невидимый миру смех...
Но для чего ж там, вверху, звезда?

Ноябрь 1989

THREE TIMES THE SAME

Меркнет облик тщедушная жизни.—
Вмиг кончается, как ни начнись,
Златогрубymi в зрительной линзе
Волосками парчовых ночниц.

Чуть помыслишь в пере изготовить
Насекомого шороха рой —
Вмиг спирально вкружается овидь
Запятой в темно-радужный слой.

Не успевший довоплотиться,
Треугольником ртутных лучей
Мир вонзается — мертвая птица —
В роговые воротца очей.

27—28 июля 1989

УТРО

Сжиженный луч, стекающий со лба
Долгой горы — вонзается во сны...
Твердь смутная (как ветошка слаба)
Вся под плотскою тяжестью луны
Просела уже, звездки потая
(Углится блеск лишь на одной звезде...)...
Кто же возьмется разом за края
И прочь скатерку?! (Или — быть беде...)...
Кто же возьмется?.. Ясно, что не я —
Я только здесь, а нужно быть везде
(В Израиле небесном, среди тех,
Кто сорным дымом вышел из земли,
Кто кроткой кровью к Господу востек
Из горсток обмуравленной золы,
Кто — чтобы горам и морям помочь
Узреть смятенье Божьего лица —
Сгребает отработанную ночь
Едва она дотьмится до конца)...
(Ты знаешь все, о Господи, отсрочь...
Я сна не доглядел еще...)...

Пицунда, апрель 1989

НОВЫЙ ФОКУС ВРАГА

Кто замкнул окамнелой печатью
Этой страшной баклаги края?
(Что же... сердной извилистой влаги, по счастью,
Я не пил — дорогого питья).

Кто огромный, округлый, тяжелый
Наложил пятидырный замок?
(Этот грецкий орех исполинский и голый —
Что ж, я рад...— надкусить я не мог).

И почти что еще не початы
Эти колбочки и пузырьки
(И на каждой притиснутой к горлу печати —
Надпечаток какой-то руки,

Что ворочала перстнем истертым
На ключе пятиперстом сухом,
Что неслышимым звукам, блаженным и мертвым,
Преграждала дорогу на холм).

И почти что не-видя-не слыша,
Я почти что пишу и пою
И висит надо мной, среди тьмы и затишья
Ненадкушенный плод, как в раю.

Апрель 1989

ИЗ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ИСЛАМ»

КРУГЛЫ БРАДЫ У РУССКИХ МУЛЛ

Круглы брады у русских мулл
И розово-бело-ватны очеса...
И стервом каменным лежит Москва на черном
Асфальте — мертвом море сна,
А все ее четыреста мечетей
Громадный бледный вытрубляют газ.

А в волосатой колбе — гул:
Снует языковая колбаса,
Толкается, сочась, и камнем истонченным
(Скрип — На зуб зуб, чмок — на десну десна)
Худеет речь. Ну как не захудеть ей,
Обсосанной в четырехсотый раз.

Не слышу звук, но вижу знак.
И привито́е бешенство болит
В зрачках расплавленных огромной белой крысы...
Мне страшно, злая полутишь,
Ведь все твои четыреста имамов
Свивают надо мной свои брады!

Готов молиться утренний дурак,
И полумесяц попраный парит
Над махонькой Москвой. Изрозовелись крыши.
Последняя по пояс полумышь
Сквозь лесопарк предутренних туманов
Бредет, оглядываясь на свои труды.

Март 1989

МИР — МЫЛОВАР

И сколь б ты жизнь — говорю же я! — не миловал,
И сколько б ты не пил из извечно-сухой ладони,
А пускай бы и допил, чего уж... — мир-мыловар
Уволочет все одно ее в своем черном фургоне.

Видишь? — приотставшего дыма лысеющее кольцо,
Передергивающаяся спина прихрамывающего мыловара
И она, что взглядом прощальным в твое другое лицо
Его навеки отмеловала.

Свет очищенья, очерк иного дня
И перекрещивающиеся лучи на темном все еще теле —
Вот что останется — говорил же я! — от меня.
Все, что останется в памяти и на прицеле.

1987

БЕЗ УЛИССА

1

Весна в краю, где нет весны,
Хоть и не в силах там остаться,
Но нехотя нисходит в сны
Протея, первого кронштадтца.
На прытком противне волна
Его мослы мусолит, хныча,—
Один все тот же страсти гнет
Рябит из каждого обличья;
Один все тот же страсти гнет
Вращает превращений обод,
Что в зелье пенном ни мелькнет: —
То лодки бок, то спрута хобот,
То рыба нежная щека,
То рабья скривленная морда...
А там, где место Маяка —
Безглазая громада форта...

2

Глядит из колкой глубины
Туда он, где, рекой распорот,
Как Пифагоровы штаны,
Разползся златобедный город.
Три века здесь копили плоть,
Но все еще во мгле, в начале...
И македонец, вздевши плеть,
Печально скачет на причале.
Редает кожаный гранит
От беглой кровки бормотанья,—
И старец нас не охранит,
В волнах меняя очертанья.
О Боже наш, верни свечу
И участь верную означь нам...
Я заплачу — я замолчу
Молчаньем, плоти равнозначным,
Желанья нечего жалеть,
Раз меч его не будет жалить...
Но мир отменит ли мелеть,
Наращивать больную налесь?..

ПРОЩАНИЕ У МОСТА

Грибным грубошерстным мясом
Гранит чернеет с излома,
Вдыхая всей плотью свеченье
Узенького заката...

О столь здесь река поката,
О столь здесь ее теченье
Наклонно к небу, что с лона
Соскальзывают лучи.

И этим прощальным часом
Так розовато, так серо
В каменном вертограде,
Особенно здесь, у моста...

Лучам, тем проститься просто.—
И даже на Германдаде
Несколько их осело,
Чтоб умереть в ночи.

Февраль 1989

ОЧЕРК ГРОЗЫ

Опускается, встуманяся, фортка.
В ней-за нею, над листвою онемелой,—
Что корейская червивая водка —
Небо с молнией иссиня-белой.
Тает туча, счет косою источая.
Сверк косою — и без горлышка фляга.
И топочет, Бог весть что означая,
На осиновых жестяночках влага.

Август 1988

* * *

Рвется ветер у клена в горсти,
Напружая воздушные мускулы...
— Погости еще здесь, погости!
Ты ж не знаешь — на счастье, на муку ли
Ты с зерцающих туч снизошел,
Раскружася волной нестихающей,

Расстилая расправленный шелк
По реке, твердым телом вздыхающей.
Погоди еще чуть... Погодя —
Никуда все одно ведь не денешься! —
На кривой позвоночник дождя
Ровно плотное платье наденешься,
И оставишь у клена в руке
Пустоты безвоздушное месиво
И крутящийся на коготке
Блеск зеркальный, тускнеющий весело.

Май 1987

БАЛЛАДА

И уж, кажется, смерть позабыл,
Но некрашенной тенью короткой
Острый всадник становится в тыл,
И становится иноходь ходкой
Уходящих налево снегов, .
Становящихся, как для расстрела:
И стоишь, и не меришь шагов,
Потому что уже отсмердело...

Эти женские руки зимы
Накопали корней первородных;
Стало, ночь наступала взаимы:
В одеялах светящихся-потных
Наступая на лона снегов,
Выступаешь из духа и тела,
И стоишь, и не слышишь шагов.
По тому, что уже отсмердело.

А когда просыпаться пора,
На нечищенной чаще рассвета
Мир вскользает наверх, и дыра
Рабьим зеркалом встала под это
Воскользанье к небесному льду;
Не в нее ли, безмолвьем глушими,
На резиновом, страшном ходу
Ускользают деревья машины?

И вослед этих страшных винтов
Поднимаются плоские дула
Вверх сдвигающихся ветров;

И сквозь конус сетчатого гула
Поднимаешь глаза, и на них,
На сетчатке, светящей по-смердьи,
Отпечаток — в оглядке на миг
Ускользящей одвуконь смерти.

1986

* * *

Ничего я слышать не хочу
Ни из света, ни из тьмы, ни из
Пляшущей на пальцах по лучу
Блескотни, обсеявшей карниз.
Кто здесь, рассыпающийся в прах,
Через фортку ходит по домам?
Чем звенит снаружи старый мрак,
Превращаясь в кованный туман?
Этот вечер жизнь свою прожил
И осел на острые кусты
И безокой ночью сторожил
Стекла золотые пустоты.
Перестань, я слышать не могу
Этот скрип, и шорох, и свистки...
Что ж с того, что хочется врагу
Блестким снегом натирать виски?
Что с того, что растворенный страж
Пропускает воздух из окна?
Что с того, что входит на этаж
Серая, сухая тишина?

1988

ПРОСТО СТИХИ

Глядит в Луну квадратная река
Сквозь ослепительные облака.
Взросли дома, а отраженья их
На легких звездах вытеснены мелко;
И так зима — проклейка и побелка —
Встает в гроши, в невытесненный стих.

К чему стихи? Пора уж и начать
(Раз легким в тягость сладкий мрак бумаги)
Писать снежком по черной невской влаге

И тайным звездам отдавать в печать.
Так делают леса, и города,
Особенно же наш. Но вот беда...

1987

* * *

Луны недолгие глаза.
Китайские ее усы.
Но знаю я: еще нельзя
Глядеть на смертные часы,

Ведь Север не сошел на Юг,
Ведь лист не возвратился в пресс,
И ведь земли лазурный лук
Не прободил листву небес;

И явственней, чем поворот
Короткой грани мировой,
Болван клюет наоборот
Зыбко-продольной головой.

1986

* * *

Как ртуть, как шелк, как щекот, как
Раскосая луна морская,
В ногах, и в пахе, и в руках,
Везде во мне есть кровь людская:
Как луч, съезжающий в реку
Как месяц, таемый туманом,
Как занавесь по сквозняку
И как рука над женским станом —
Чуть-чуть прогнувшись, она
Стоит-скользит, натянена.

(Когда же в каменной тени
Круглоступенных гор у моря
Я вспомнить смог другие дни
И вздрогнул от стыда и горя,
Вся кровь — от кроны до корней! —
Заскрежетала и запела;
Хоть воли не было у ней,
Но вдруг она, прорвавши тело,
вся — вверх, во все ее крыла...
...И Божья кровь ко мне вошла...).

1986

ОТРЫВОК

...Одна уж и осталась просьба,
И та исполнится сама;
Волн вечеряющая оспа,
Сеть расстилающая тьма,
Костры на берегу пологом,
Краеугольных туч соски
И ветер, реющий над рогом
Горы, завинченной в тиски.

Я жил как жил. Я был на Юге.—
Я брел в разобранной Москве.—
Я кровью, выцветшей от муки
Встекал к заоблачной траве.—
Я тенью обтекал извивы
Небесных рек — и в мгле живой
Земли червонный шар червивый
Тлел, истекая синевою...

1986

ИСПЫТАТЕЛЬ РУССКИХ РЕК

Сколь ни пил я из русских рек,
Но воды я ни разу не пил:
Скользкий воздух земных прорех,
Тонко-пресный прогарный пепел,
Кроволитье железных жил,
Жил, которым и вскрыться негде,
И двоящийся звездный жир,
Что на невской распущен нефти.

Равнодушно я брал рукой
Закоснелое семя Волги,
А в московской коре глухой
Волны ветошки были волглы.
Я свое узнавал лицо
В амальгамной бегучей персти,
Знал реки окружной кольцо
Как заросшее мглой отверстие.

Океан ведь не Самбатьон,
Ну а я — не днепровска птица:
Не молением, так битьем
Он понудится расступиться.
Это скоро (хотя не спех),
Ведь взшел я по всем теченьям,
Русских рек я коснулся всех,
За единственным исключеньем.

Да, лишь только одной из них
Мне покуда нельзя касаться,
Потому что чужой двойник
Может в зеркале оказаться,
Потому что когда-нибудь,
На истеке последней дневки,
Мне придется еще хлебнуть
Черной водки из черной Невки.

Март 1990

ЗИМА 1985

В собачьих старицах желточных,
В газообразных комьях крон,
В лдяных пузырьках проточных —
Везде отхлын, отток, отклон.

Луна в косо́й туманной нише,
По небу черному пытя,—
Все ниже.— (кажется, что ниже
она — совсем как и земля).

Тупее все серебристый угол
Меж чернизной и белизной...
Снижайся, жизнь, ведь гладкий купол
Ты оскальзаешь вслед за мной —

В собачьих старицах лимонных,
В газообразных копя́х крон,
В лдяных пузырьках слоеных,
В луче, идущем на поклон.

Золотого кислорода
Кругло-черная тюрьма: —
Только небо здесь природа
Да немногие дома,
Да немногие деревья,
Да немногая река,
Да мякнущие у изголовья
Исаакья облака.

Ветры с пикою златою
Скачущие на ветру,
Все пахнувшие кислотою,
В безрукавках на меху —
Бьют в решетчатые сени:
— Раскрывайте-ко острог!
Речь о свете и спасеньи,
И с того не меньше страх!

Как раскроются ворота,
Она выглянет, сочась:
— Да, конечно ж, я — природа,
Но не здесь и не сейчас...

1985

ОКТАБРЬ

...Да, у садов у оборванцев
Совсем не стало на руках
Сыро-шуршащих карбованцев
В распарывающихся тюках.

Лишь воробья слоистый шарик
Покачивается на локте,
Да волглым оком сумрак шарит
В освобожденной пустоте...

1987

* * *

Свет змеится в тусклых зданьях,
Как наброшенная сеть.
В тучах, в красных изваяньях,

Нет решимости висеть.—
Есть хотенье мшистым пахом
Притесниться к дну земли,
Дабы все — единым взмахом —
Дерева зеленым прахом
Недвижимо помели;
Чтоб — в мурашках от касанья,
Изнутри светясь,— земля
Потемнела, без сознанья
Гладким телом шевеля.

1985

Г. С. К.

Земля есть мозг, а небо череп,
А между ними воздух тьмы,
А луч вовне стремится, через
Ее горящие холмы.

Так человек в тупом задоре,
Как мысль, рожденная в земле,
Кружится в маленьком зазоре —
В огне, куреньи и золе;
Как искра, как слепая птица
Колотится да вьется, знай...
Не зная: в землю ль воротится
Иль выйдет речью в Божий край.

Игла из лучевого стога,
Теперь он раб чужой борьбы,—

Он, гражданин себя и Бога,
В горящем воздухе судьбы.

1985

* * *

...Утро ветхое сходит
На кудрявого снега ряды,
И — ничего уже не находит
Кроме розово-дымной слюды,

Кроме искр залежалых
Страх, знания и сна,
Кроме призраков малых
Тающих у окна.

И — ничего уже не осталось
На объятья разжавшей земле...—
Только тень, только малость
Дорогого дыханья в стекле.—
Мир, аля в зазорах,
На поверхности пуст.—
Только плеск, только шорох,
Только скрип, только хруст...

1985

* * *

Бог выдохнул...— и хмарь по зеркалу земли,
Кружнó, серебро-старо разрастая...
Разглаженные тени потекли
По краешку кругом, следы свои съедая.
Менялась тень на тень, листалась мгла за мглой,
Все прозелени легкой набиралось;
Истаивал уже последний слой... ---
Его лицо на диске показалось.
Поэт есть зеркальце у рта больного мира.

1984

* * *

Деревья скраденно сползали
Наверх и влево, как всегда,
Когда сквозь пальцы, сквозь скрижали
Неслась, разгромлена, вода.

Деревья — Бога погремушки,
Когда Он осенью не Спит,
Несмятый верх Его Подушки
Несметно жемчугом омыт.

А смятый низ Его Подушки
Сочится уксусом, смолой;
Несутся звездные вертушки
И ангелы вниз головой.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Я родился старик, я прочь уйду младенец
Без знания и казны, и страха, и стыда...
Не-е... не в земли испод — весь в узелках — оденешь
Меня — но в тьму сию, где слово, где вода.

Иначе бы граненое зерно болело,
(Куда еще придется мне врасти)
Когда б сначала я не знал, где право, и где лево;
Где верх, где низ; лишать куда, куда идти.

Так здравствуй же, черта, где я на верхнем марше
Закладку вышвырну из забытых страниц!..
Я дальше, вниз и вниз... (не-е, так не стану старше...),
На первую ступень, чтоб не склониться ниц.

Так страшно — мало жить и не успеть свернуться,
И листья гладкие раздать на гной земле,
Под вскриком времени на полпути споткнуться,
Раскрытой книжицей остаться на столе.

2

.....

3

Земля меня когда б еще простила,
Которую я в груди целовал...

...Как старое, как сзябшее светило,
Я рук своих во сне не узнавал.
Скольженье времени есть бегство врассыпную
Последних, загибающих лучей...

Как солнце красное оставит ночь ошую,
Так жизнь становится черней и горячей,
Ведь жизнь не в будущем меняется, но в прошлом.
Как знать, как что-то видеть, если ночь?..

Когда б я жил в земле кротенком своекоштным,
Я б знал саму судьбу, я б смог тебе помочь.

СТИХИ С ЮГА

Бог ночи пал, краснокрылат
(А в подреберья тает броня...)
В электрический голос цикад,
На висок изошедшего дня.

У южных, неслышных птиц
К скоротечным отверстьям ключи...
Нерасчесанных, острых ресниц
Я коснусь, как взрыданье, в ночи.

Всё в эти молча, молча дни...
Неоглядней на звук в вечера...
Только ночь, как ее не храни,
Говорит, говорит до утра!

1984

* * *

На страх и риск другого страха
Рожден я и решен я жить
Средь мреющего тускло мрака
На переулках городских
И красно реющего праха
На перекрестках золотых.

Зимы прощенная рубаха
Дошилась — княжить да служить...
Но прясть не перестала пряха —
Всё нити клáдет поперек...
И нет здесь страха, нет здесь страха,
Но есть упрек, упрек, упрек.

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

НЕМНОГО О ТЕБЕ, ИОСИП

Однажды Иосип простудился и решил смерить температуру. Однако все попытки сделать это были безуспешными. Оказалось, что у Иосипа нет подмышек. Поначалу он не придавал этому факту большого значения. Обыкновенно Иосип во время болезни занимал себя стихосложением. На этот раз дальше двух, хотя и удачных рифм дело не шло: «экий бутуз — Экибастуз» и «перестаньте-ка — перистальтика». «Ладно, — решил он, — заготовочки запомним, а пока обдумаем сложившееся положение». Ему отчего-то пришло в голову, что болен он не простудой. «Да у меня же типичная гангрена», — наконец поставил себе диагноз Иосип. Он просто физически ощутил, как почернела его левая ступня и как эта чернота медленно начала подниматься к щиколотке, поползла к колену. Кровать, столик с лекарствами, малиновым вареньем исчезли, и он понял, что бежит, черный как все, кривыми улочками города Яунде. Иногда голопузые дети кричали ему вслед: «Рикша! Рикша!» Его непривычно широкий нос втягивал горячую воздушную массу. Еще не так давно, когда думал Иосип не на булу, а на другом языке, он влюбился. Иосип и раньше, в отрочестве, порой думал о любви. В мыслях идеалом его была любовница, у которой можно было быстро оставить запасную зубную щетку, чтобы спалось спокойно, без тревожного ожидания утра. Но до Гальпериной — так звали его любовь — всем женщинам Иосип предпочитал бабуинов. Он частенько стоял часами в городском обезьяннике и смотрел в клетки. Ворсистые, крепкие руки самок кружили ему голову, щекотали нервы. С недавних пор все свободное время Иосип проводил с Гальпериной. И сейчас, в Яунде, ему хотелось увидеть ее или хотя бы с кем-нибудь переменить ей кости. Иосип обожал это делать: кости у нее были маленькие, словно точеные, и так нежно тенькали в его не-

ловких пальцах... Потом в комнату вошла мама, и Иосип весь съежился. Но мать вышла, так ничего и не спросив. Мысли вновь вернулись к подмышке, он даже взглянул туда, где она когда-то была, теперь там зияла бездна. Из нее почему-то шибало в нос фаршированной рыбой. Иосип глядел во все глаза. Почти против воли он поджал колени к подбородку и с криком «одной любовью в мире стало меньше!» пружинисто прыгнул в бездну. Вдогонку неслось эхо: «...Овью ...Овью ...еньше...».

Да что же это сделали с тобой, Иосип? Ведь ты не забыл еще времени, когда подмышка была на месте, целым-целехонька, и термометр не казался тебе раскаленной сосулькой, когда болеть, плакать, страдать было счастьем? Ты помнишь гибкий резиновый зонд с металлической кисловатой головкой, проворную руку медсестры, твой восторг попеременно с позывами к рвоте, а после полдня лежания на правом боку, с горячей грелкой на животе: шесть пробирок, шесть янтарных столбиков, шесть застекленных лучиков твоей желчи, последний — кристальной чистоты, радовали твой не по-детски грустный глаз? Каждый день тогда начинался с «на тебе!», с «однажды...». Кому это двенадцать? Тебе, Иосип. Ты в новом чешском светло-шоколадном костюмчике с перламутровыми вкусными пуговицами. Распахивается бархатный, цвета гнилой вишни занавес. Сестра, сидящая рядом, вся подается вперед, к клубку света на сцене, а тебя вдавливают по локти — как будто ты не в концертном зале, а катаешься на американских горках — в кресло. И тогда в скрещении лучей появляется брюнет, он печально улыбается, его волосы блестят, уйма света, аплодисменты разбиваются о его отважную грудь, он слегка хромает, и начинает звучать музыка, из которой можно было бы сделать десять, нет, сто бархатных, цвета гнилой вишни занавесов и обить все кресла зала. «Парамарибо — город утренней зари». Прощай, сестра! Я не вернусь домой. Прощайте, родичи из Коломыи, родичи из Дрогобыча, красивая учительница английского языка Вероника Петровна — мы больше никогда не увидимся, я уезжаю в Парамарибо, не дождавшись рассвета! «А сейчас я спою песню моего друга, которую он посвятил одной женщине». Слышал ли ты когда-нибудь потом, Иосип, такую тишину, что воцарилась тогда в зале?! Люди разучились дышать, сердца — стучаться. И он запел, и ты сразу понял, что вступление было всего

лишь — пусть наивной, пусть благородной — но уловкой, что сейчас этот прекрасный и гордый человек под музыку рассказывает о себе, о самом главном в своей жизни, и когда он без надрыва, даже не спел, а просто сказал: «Поцеловать мне хочется дочки твоей глаза», слезы покатались по твоим щекам, и сестра тоже не выдержала, щелкнула позолоченным замочком ридикюля и осторожно прижала надушенный платочек то ли к носу, то ли к глазам. Никогда, ни прежде, ни после, она не была тебе так близка, как в эти минуты. Через год, когда ты стал чемпионом школы по столицам, когда ты всех, вплоть до старшеклассников, заразил этой бессмысленной игрой с выныриванием из-за огромных вазонов с пальмами, из-за вешалок раздевалки, где стоял душный, дерущий горло запах от просыхающих пальто, из-за брусьев, баскетбольных щитов, сложенных в штабель, покрытых гусиной кожей матов в огромном и холодном спортивном зале с коротким вопросом: «Камерун?» или «Княжество Лихтенштейн?», ты узнал, что Парамарибо — столица Голландской Гвианы. Ты узнал это не от учителя географии, мир праху его, а от новенькой, с которой дружил не только в первый день ее прихода — в первый день с новичками дружат все,— но и во второй, и в двухсотый.

Вещи собраны с вечера. Такси заказано на шесть утра. Тебя будят, ведут в длинную, узкую кухню, все соседи еще спят. Глазам колко, словно ты пьешь газированную воду. Рыхлый мартовский воздух сыплется из форточки прямо на голую спину. «Мойся не пальцами, а ладонями,— говорит мать,— не моешься, а просто гладишь себя». Сипит кран, на газовой плите кипит вода в чайнике: холодно, горячо, холодно. Спадает плечико майки, руки мокрые, глаза залеплены мыльной пеной. «Мама подыми мне плечико». Она подымает, целует в спину, ее поцелуй стекает по позвоночнику, подпрыгивает, дзинькает. Снежной бабой в ночной рубаше проплывает соседка в туалет, где гроздь лампочек символизирует коммунальную дружбу, выходит через три минуты, плотно прикрыв за собою дверь, ведущую к Ниагарскому водопаду, в Канаду, в сосновые леса, битком набитые гризли; в Северную Америку, где у каждого костра белые мальчики на коленях у скупых на слова краснокожих жуют солонину. Ниагара стихает. Полотенце дерет щеки. Дымится крепкий чай, чай-крепш, чемпион республики по акробатике среди юношей. Ты гло-

таешь его, Иосип, и становишься прыгучим и мускулистым. Пора! На автостанцию вы приезжаете за час до отправления автобуса. Ты даешь себе слово, что когда вырастешь, будешь приезжать к автобусу, поезду, самолету, теплоходу, фуникулеру, велосипеду, самокату, дрожкам, бричке, мажаре, журавлю, серому волку, блохе тютелька-в-тютельку за минуту до отправления, чтоб не томиться, не кунять, не слоняться. У плит всех вокзалов есть одно навязчивое воспоминание — воспоминание о блевотине. Десять часов везут тебя в специализированную клинику и привозят. Вот твоя койка с сырым, чистым, но почему-то серым бельем. Пододеяльника вовсе нет. От одеяла тебя отделяет простыня. Ночью она сбивается в комок, и ты просыпаешься в объятьях грубошерстной материи, просыпаешься не полностью, а только кожей, локтями, коленями и сомкнутыми веками. До утра жалеешь остатки сна и мучишься, не зная, расправлять ли простыню. Дно верхнего ящика тумбочки покрыто пожелтевшей, хрупкой бумагой, края ее отклеились — здесь ты будешь хранить мыльницу, зубную щетку и пасту. Фанерная перепонка внутри тумбочки липкая, тот, кто пользовался ею до тебя, любил консервированные абрикосы. Твоя койка и тумбочка отгорожены от других боксов прозрачными плексигласовыми стенками. Вот ты стоишь в выстиранном чужом тряпье, волосы мокрые, лицо покраснелось — только что ты принял душ. Рядом женщина в белом халате — то ли няня, то ли сестра. Когда после обеда, во время «мертвого часа» все лежат, она бесшумно скользит от бокса к боксу и если увидит, что кто-нибудь спрятал руки под одеяло, начинает шипеть. Придется тебе, Иосип, привыкнуть к тому, что держать руки под одеялом глупостно. На тебя все смотрят, девочки и мальчики, а глаза твои слипаются, тебя укачало в автобусе. Подымают рано: в умывалке для каждого приготовлен содовый раствор, им надо полоскать горло. Раствор все ненавидят, но выливать почему-то боятся. Какая-то девочка просит тебя полоскать горло ее раствором. Ты не можешь отказать, полощешь и тут же начинаешь мечтать о том, чтобы она умерла. Это повторяется каждое утро. На вторую неделю она присылает тебе записку: «Я люблю тебя, как хлеб с маслом и с медом». Свет не выключают ни днем, ни ночью. Записку передают через мальчика с распухшим черепом. Еще неделю ты с остервенением пишешь ей ответ, каждое утро полощешь горло, захлебываясь от ненависти,

двумя порциями раствора и когда в конце записки ставишь точку и крест, чтоб больше не подходила, чтоб катилась на все четыре стороны, проваливала, вытряхивалась, мальчик-почтальон умирает, но еще целый месяц на рассвете забывчивая няня ставит ему на матовую подставку стеклянный памятник — стакан содового раствора. Как ты боялся, Иосип, этого стакана. В липком мареве, в катящемся снежном шаре, под набухшим водянистым небом, облепленный соленой рисовой кашей, на зыбкой земле, при тусклом, как многожды использованный горчичник, свете жил ты, Иосип, любимый, как хлеб с маслом и с медом, девочкой с вывернутыми в форме буквы «х» ногами, пока наконец шесть пробирок, шесть янтарных столбиков, шесть застекленных лучиков твоей желчи, последний — кристальной чистоты, не растренькали на весь мир, что ты здоров. В мае за тобой приехала сестра, ты протянул ей счастливую ладонь, с восторгом выгрываясь в роль младшего брата, ловя каждое слово, повинуюсь ему. Жаль, что игра так скоро наскучила.

А ну-ка, кто отгадает, почему первой смене ты предпочитал вторую? Думайте, думайте. «Потому что родителей дома нет». Холодно. «Потому что можно поспать». Так холодно, что простудиться можно. «Потому что утром...— о, это уже теплее,— можно пойти...— горячо, горячо!— на первый сеанс в кино!» Горим, вызывайте пожарную! Конечно, после пятого или даже шестого урока тоже можно отправиться в кино, если успеешь что-нибудь перехватить — это обязательно, ибо от голода голова так разболится, что не мил ни экран, ни свет белый. Наскоро поев, надо попытаться взять билет на сеанс не позже трех часов 55 минут, потому что пятью минутами позже, т. е. в четыре часа цена на билет повышается, и стоит он уже не десять и даже не двадцать пять копеек, а минимум тридцать. Если же ты замешкался по собственной или родительской вине, то последний сеанс для тебя — семь часов 55 минут, и дело тут не в том, что позже цены вновь повышаются. Восьмичасовой сеанс — это конец, катастрофа: тебя на него просто не пустят, потому что ты «...до шестнадцати лет». Семичасовой же сеанс ненадежен и, вообще, редок. Его предпочитают клубы и Дом офицеров. В клубах показывают ужасно, да и фильмы там идут не ежедневно. В Доме офицеров, сколько бы зрителей ни пришло, зал всегда полупустой, ибо огромен, там одиноко и слышно плохо. Есть еще одно местечко — там пускают

всех и в любое время: краеведческий музей, нищенствующий и побирушествовавший. Но в него идешь либо заведомо зная, что согласишься фильм в третий раз, либо зимой, когда из-за карантина детей не пускают в кинотеатры. Помнишь, Иосип, с чего началось для тебя кино? Может, с вопроса, которым сестра встречала откуда-то возвращающихся субботними вечерами маму и папу: «Ну, как фильм?» Чаще всего отвечала мама. Если она говорила «хороший», то ты думал, что фильм похож на добрые руки и глаза бабушки, которая не раз обещала тебя съесть; если «тяжелый», то ты вспоминал песню, в которой насупленного, увешанного бряцающими латами, бородатого мужика по имени Ермак, сидящего ночью на берегу реки, обступали люди, одетые в шкуры, с маслянистой кожей и раскосыми глазами, хватали за руки — за ноги и бросали в омут. Ох, как долго еще кипела вода в реке. В первый раз увидев кино, ты понял, что началось оно для тебя не с сестрино вопроса и маминых ответов, а с трофейного, привезенного дедушкой из Австрии настенного коврика с висюльками. Коврика ты боялся. Он был и впрямь мрачноват: ночь, плотоядные звезды, озеро и на берегу его в долине, окруженной тучными мясистыми, еще чернее ночи деревьями одноэтажный дом со стрелчатой крышей и одним, едва мерцающим окошком. Милая немецкая сказка. Лето ты любил не за тепло и легкую обувь, а за то, что оно упраздняло многие проблемы, связанные с кино. Кроме того, уже в мае открывались летние кинотеатры. Можно было сидеть в парке на скамейке, под высоким сплошным дощатым забором и наслаждаться особым, ни с чем не сравнимым кинематографическим шорохом. Ты любил его больше голосов. Из окна шестого этажа дома, где ты жил, был виден кусок экрана летнего кинотеатра. В жестокой борьбе ты отвоевал себе край подоконника, откуда видно было лучше всего. В июле из-за пышных крон деревьев приходилось только угадывать, что происходит на экране. Это было похоже на графическую игру «Найдите на рисунке в чаще леса семь велосипедистов». Так как ходил ты на все без исключения фильмы, то название и страну, взятые в скобки, ты принимал к сведению с какой-то возбужденной безнадежностью. С тяжелым сердцем шел на латиноамериканские фильмы про беспросветные бесконечные каменные стены; на фильмах студии «Баррандов», с пейзажами, подернутыми поволокой, проникнутыми вселенской нудьгой,

тебя укачивало, как в автобусе. Кинокомедий и смеха в зале ты не выносил. Но хуже всего были снятые на пленку двухсерийные театральные спектакли. Казалось, титулованные, именитые черепахи смотрели с экрана на тебя и ждали, чтобы ты что-то сделал. Три часа вы единоборствовали, и еще до того, как появлялось слово «конец», ты почти бежал к выходу, над которым, как перед рентгеновским кабинетом, горели крупные красные буквы. С одиннадцати лет, с рвением фанатика ты, Иосип, пытался ходить на фильмы «только для взрослых». Помнишь ли ты картину под названием «Мадмуазель Нитуш»? Билетерша сказала, что впустит тебя только с разрешения администратора. Ты сделал вид, что направился к администратору, и переждав за углом минуту-другую, вернулся с гордо поднятой головой. Ложь была явной, на что ты рассчитывал, один Бог знает. Билетерша сняла телефонную трубку и набрала номер администратора. У него было занято. «Постой здесь, — сказала она, — сейчас он придет». Ты стоял, дрожа всем телом, рядом с ней, и как только тебе показалось, что она забыла о твоём существовании, проскользнул в фойе. Буфетчица с треском откупоривала лимонадные бутылки. На зубах хрустели вафельные стаканчики. Из двух квадратных, обитых черной материей ящичков тонкий, как капроновая кофточка, женский голос пел «ландыши, ландыши...» Открыли дверь в зрительный зал. Ты не суетился. Ты был спокоен и хладнокровен. Ты сел во втором ряду, скрестив руки на груди. Потом появились билетерша и администратор. Они стояли прямо над тобой и, как два прожектора, прощупывали взглядами всех зрителей. Зал раскалялся от возмущения. Киномеханику отдали распоряжение отложить демонстрацию по поимки преступника. Неожиданно сидевшая рядом старушка взвизгнула: «Да вот же он, разве вы не видите?!» Тебя вели — спереди билетерша, администратор сзади — по длинному проходу, разделяющему зал пополам, под торжествующие вопли взрослых. Ты видел перекошенные лица триумфаторов: профессора Гальперина, председателя горсовета Самшитова. Как же, ты был ребенком из хорошей семьи, сыном всеми уважаемого врача. И тогда ты собрал все свои силы, подпрыгнул к самому потолку и мертвой хваткой вцепился в огромную, в двести лампочек люстру. Она зазвенела и качнулась. Началась давка. Женщины врезжали. Какой-то солдат кавказского происхождения прямо под люстрой, на полу, откуда все схлынули, насильново пожи-

люю даму. Никто не рискнул к ним приблизиться — люстра держалась на волоске. Свет потух, не медленно, а мгновенно. Киномеханик запустил аппарат. Замелькали титры. Мадемуазелью Нитуш и не пахло. Под развеселый оркестрик шла какая-то забубенная отечественная комедия: стадо баранов неслось по газонам к классической, с колоннами усадьбе; бараны вышибали окна и двери и цокали копытами по выложенным изразцами полам. Еще несколько дней ты жил в страхе, что кто-то расскажет отцу о происшедшем. Но в тот раз все обошлось. Как-то в начале июня ты собрал все свое мужество и явился в кинотеатр повторного фильма. Ты умышленно выбрал именно этот кинотеатр, а не центральный, потому что фильмы в нем меняли каждые два дня. «Ты мне нравишься, мальчик,— сказал художник,— я буду платить тебе двадцать копеек». Так решилась твоя судьба. Теперь три раза в неделю тихими фиолетовыми вечерами ты шел переулками, дворами, ходиками с еще влажным, пачкающим руки, шершавым плакатом, чтоб заменить им прежний, уже отживший свою короткую двухдневную жизнь. Все было бы прекрасно, если б тебя не преследовали лилипуты. Кроме них в городе жили цыгане и карлики. Все карлики работали в сапожных мастерских. В клеенчатых передниках они сидели там на маленьких, круглых стульчиках, погромыхая увесистыми молотками. Их было трудно отличить друг от друга и лишь один из них, Леонид, снискал популярность и славу. Из года в год он становился чемпионом страны по вольной борьбе в наилегчайшем весе. Его стремительные проходы в ноги были неотразимы. Однако к международным соревнованиям Леонида не допускали. В Федерации считали, что своим видом он бросает тень на нацию. Леонид отличался веселым, легким нравом. Он задирали на улицах женщин, частенько насиловал их, благодаря чему и заслужил уважение большинства мужчин. Прислушивался он только к своему тренеру, Ивану Прокоповичу. Порой Иван Прокопович увещевал любимца: «Полно, Леонид, где же были твои глаза? Таким дурным вкусом ты еще не блистал». Карлики не любили детей, но и не трогали их. Лилипуты же, при всей своей грациозности и интеллигентности, детям не давали проходу. Жили лилипуты за квадратными деревянными дверцами в полуподвальных квартирах без окон, в общих коммунальных домах. Гуляли, обыкновенно, после полуночи. Тихими фиолетовыми дворами, вечерами, ходиками, с чер-

ным по белому:

РАПСОДИЯ

В главной роли Элизабет Тэйлор

ты крался, прячась от лилипутов, и в каждом дворе непременно было окно, где какой-нибудь бледный юноша пиликал на скрипке. Так ты шел и, казалось, там, где появлялся, начиналась музыка. Одного из этих бесчисленных юношей ты знал. Он приходил к твоей сестре, чтобы она переводила ему на английский язык письма к дяде, живущему в Америке. В них юноша просил дядю, родного брата матери, прислать вызов — семья хотела уехать к нему, в Бруклин. Сестра хмурилась, но переводила, потому что юноша был красив. В знак благодарности он милостиво предлагал сестре в конце письма перечислить книги, которые она хотела бы получить из Америки. Она перечисляла, заглядывая в разные словари; чтоб не дай Бог не написать неправильно фамилию любимого поэта или прозаика. На прощание он целовал ей руку, а вернувшись домой, старательно вычеркивал фамилии поэтов и прозаиков. Этот юноша чуть было не добился своего, но подвела мать: повесилась. Впрочем, это уже «только для взрослых». Осенью деревья страдали одышкой. Ты брал маленький синий лоскуток — «во втором ряду, пожалуйста» — и, зажав его в ладони, в карман прятать не хотелось, а в другой ладони — несколько монеток сдачи, спасаясь от астмы, улетали птицы, казалось, не летят — опадают на юг, выходил из кассы, огибал здание кинотеатра, пахло галошами, парки опивались акрихином, с синим лоскутком в руке тебя никто не смел задержать, ты просматривал в фойе подшивки газет, сшивали их плотно, листать было трудно, читать, особенно в середине, невозможно, приходили оркестранты, бледные юноши и грузные мужчины, «мы начинаем наш маленький концерт», лучше всего у них получалась эстрадная пьеса «Джозеф». Когда они кончали — «спасибо за внимание», — служительницы отдергивали с дверей волнистые шторы. Шторы с перезвоном скользили по карнизам, в открывшиеся проемы устремлялась толпа, оркестранты за плюшевым занавесом о чем-то смеялись, потом бежали в буфет. Свет еще брезжил, а на экране уже вертелся земной шар, косо падали листья, во многострадальной Флориде вновь бушевала стихия, по темному залу летали перепончатые

зонтики, галерники готовились к бунту, но почему-то все медлили и медлили. Иногда ты выходил на улицу, еду три раза в день мама приносила в кинотеатр, пускали ее без билета — служительницы ей сочувствовали, ты быстро хлебал бульон, обгладывал крылышко, как-то заметил снег на маминой чернобурке и понял, что наступила зима. Забегали одноклассники, рассказывали новости. Лишь отец никак не мог примириться с изменениями в твоей жизни. Иногда ночами с тобой оставалась солистка, ей было одиноко, она говорила, что любит тебя, и делала с тобой, что хотела, галерники готовились к бунту, во Флориде не утихал ураган, оркестранты поздравляли зрительниц с днем международного женского праздника, деревья дышали полной грудью, наконец, пришла сестра и вырвала тебя с мясом, как новенькую пуговицу, из этих шевиотовых ночей, атласной, как карты, женской кожи, туго натянутой над сценой простыни, и бросила к ногам живого человека, на заре, в городе Парамарибо.

По росту становись! На первый-второй рассчитайсь!

— Первый.

— Второй.

— Первый.

Ах, Иосип, ты маленький, ты каждый месяц прижимаешься спиной к кухонной двери и просишь сестру приставить твердую книгу к твоей макушке и чиркануть карандашом, чтоб после мягкой, резиновой на вкус лентой, вымерить свой рост, четвертый с конца, зато позади, в нескольких шагах, бежит эта, новенькая, из музыкального интерната, у нее самая открытая майка и внизу не как у всех. Огромные окна зарешечены, в центре зала Иван Прокопович: «Раз-два, раз-два. Прижаться горячей щекой к гладенькой прохладной парте, она говорит тебе: ну, сыночек. Только не смотреть вперед, не видеть, как входит Вероника Петровна, «Good afternoon, children!», голая, садится к окну, закидывает голую ногу за ногу, ее белая грудь застегнута на два бисерных перламутровых сосочка. «Who is absent?» Слава Богу, нету мела. Сначала отдышаться, стереть пот со лба, потом, перепрыгивая через две ступеньки (как тихо), спуститься на первый этаж к техничке за четырехгранником мела, там, в холле, между стенами еще мечется мячиком, запущенным изо всех сил, звонок. На ходу

буцаешь его. Входишь с мокрым от дождя лицом, опухшим, потому что утро, в пальто наклоняться неудобно, силой суешь грязные галоши — подкладка на пятке и в носке темная, как давленная малина — в мешок, стягиваешь горло мешка резинкой. Приставными шагами по периметру зала — бегом! Вешаешь мешок, на него пальто, он торчит, пальто — сумчатое, кенгуру. Дышать надо полной грудью, потому что Вероника Петровна голая, даже не нужно пересаживаться на первую парту и ронять ручку на пол — и так все видно. Отмстить неразумным хозарам. «May I come in?» Ты входишь, после шестого урока от голода болит голова, но есть не хочется. Все веселые и находчивые в сборе. Они шутят — подтверждают, что не напрасно взяты в команду. Месяц шутят, никто ничего не может придумать, только ты, Иосип, кровь восточная, первые усики в классе, отчаянный весельчак, все расскажешь, покажешь и придумаешь. Правую руку поднять, согнуть в локте, левую — за спину. Меняя положение рук, шагом марш! «когда уже светало» — придаточное времени. Лыжники приехали на трассу. Разыгрывалось первенство мира среди школьников. Начиная с восьмого класса, несколько девочек всегда отсутствовали на уроках физкультуры. Почему? С чьего разрешения? Клацали блестящие крепления, скрипел снег, Вероника Петровна куталась в белую шубку. Было жарко, сразу жарко, а не к середине. Приветствие у соперников оказалось лучше, на сцену они спускались на парашютах, им дали восемь очков, один парашют не раскрылся, но гибель члена команды не омрачила настроения. Иосип, эта новенькая согласилась дружить со мной, что мне ей написать? Спроси у нее позволения, Самшитов, поцеловать себя. Thank you, Iosip. Take your theat. Пальцы от мела сухие и белые; когда прикасаешься ими к промокательной бумаге — в горле першит. Ты кладешь ладонь на соседнее, не твое колено, она крохотная, у нее на боку белая квадратная сумочка с шелковым красным крестом, теперь и колено у нее будет белое. Тебе в какую сторону? В другую. Только облачко от стартового пистолета. Поначалу лыжи прилипают к снегу. Можно я тебя провожу? Она молчит пять минут. Потом говорит: «да». Вот вы поравнялись с киноафишами. Ты читаешь, забываешь обо всем на свете, она уходит — черный портфельчик бьется о загорелую ногу, стоит сентябрь, еще шумят своим синтаксисом деревья, в какой заповедной тьме решалась судьба этого сентября?, она уходит, «Дон

Сезар де Базан», о ее загорелое, «Без вести пропавший», в ссадинах колено — навсегда, Иосип. Зато на разминке вы отыгрались. На их вопросы ты за две минуты придумал ответы лучше, чем они подготовили заранее.

- Собрались в диспансер, сер?
- Нет, миледи, в диспансер.

Белая шубка, брошенная на голое тело, рифленый след лыжни финна Урхо Куусинена, так вот оно что: он смазал лыжи запрещенным маслом, знаем, когда-то один француз, соперник Ивана Поддубного, натер свое тело, чтоб невозможно было ухватиться таким же маслом. Куда же смотрит судья международной категории Гальперин? Главное — не торопиться. Дождаться танго, вальс или фокстрот кончаются для тебя позором. Вот ты подходишь, едва прилаживаешь руку с бледными чернильными подтеками к ее спине — хлопок возле уха, вас разбили; глупый, что же ты не разбиваешь других? Вверх по скрученному вчетверо канату, зубами, ногтями. Не махлюй, Иосип, я же сказал без помощи ног. Канат повис на тебе, канат плачет, его поникший чуб ластится к полу. Отмстить неразумным хозарам. Нарисуй мне осину, ветку, лист — это не для пятерки. Своей рукой нарисуй в моем «Альбоме для рисования» лист, ветку, осину — перед тем, как к тебе прикоснется Самшитов, пожалуйста. Не бойся, зайди в кабинет к зубному, твоя очередь, все уже умялись, ожидая, не бойся, сядь в жесткое кресло и смотри в наполовину закрасенное окно, я выбегу во двор, я буду прыгать перед этим окном, залезу на дерево, буду выделять такие фокусы, что ты даже не заметишь ни бормашины, ни щипцов. «Готово, девочка! Следующий». Первым номерам опуститься на руки, вторым взять первых за ноги. Поехали! Ты выпрыгиваешь из автобуса на редкую, карликовую траву, бряцают лезвия лопат. Ты устала? Брось лопату, это школьный сад, это я. Это я окопаю твои яблони и останусь здесь жить, чтоб весной красить стволы известкой — она будет стекать по морщинистой коре на сырую комковатую землю, и я отбегу и увижу сразу, целиком новенький, белый сад. «Лыж-

ню! Лыжню» — хрипишь ты. Все смеются. Жюри просит капитанов повернуться спиной к залу. Ты ведь вежливый мальчик, ты извиняешься перед болельщиками за то, что вынужден повернуться к ним спиной. Все смеются. Придется жюри подкинуть тебе пару очков за воспитанность. Конец ноября, праздник окончен, листья расходятся. Но когда же, когда очередь твоих горьких и ее, нарочно натертых ореховой кожурой, губ?, вырывает руку, исчезает в своем подъезде.

Сгущалась мгла. Мороз крепчал.

Пробило пять утра.

— Я поведу тебя в подвал,—

Сказала мне сестра.

Жюри хмурится, зал смеется. Урхо Куусинен внезапно поворачивается и сшибает тебя ударом двух сложенных вместе палок. Кто это рассыпал по снегу красный горох? Белая шубка. Деревянными пальцами ты сбрасываешь сломанную лыжу и надеваешь запасную, твое наискосок натянутое тело устремлено к победе. Еже-еже, утренне-вечерне, такими повторами: еже-еже: валят столетние дубы, ты суешь грязные галоши в мешок и яростно затягиваешь его горло резинкой. Напишите дату. Под ней: Изложение. Когда буду читать во второй раз, можете делать заметки. Теперь положите ручки и слушайте: «Лыжники приехали на трассу, когда уже светало...». Изложения не будет. Будут стихи. Ты выводишь их

Кино отсыревшие стены.

на белоснежном листе.

Последнего ряда места.

надписываешь ее фамилию, передаешь, во плывет из рук в руки твоя амфора,

Единственно стоящей темы

если разобьют, ты покончишь с собой, благо в уголке воротника есть ампула с ядом

Касались и наши уста.

Она хохочет вместе со всеми, даже жюри тебе аплодирует. Это что — вы еще покажете «домашнее задание». Впереди падает Урхо Куусинен, нелепо трясет поднятыми вверх ногами; не останавливаясь, почти не глядя в его сторону, ты кидаешь ему свою последнюю запасную лыжу, это видела только белая шубка, уже распахнутая от горла до пупка. Отмстить неразумным хозарам. Иван Прокопович становится в центре зала. Эстафета с мячом. Первым номерам построиться по правую руку от меня, вторым — по левую. Сейчас начнется. «Children, lesson is over»! Ты выходишь из здания. В дальнем углу двора горит костер из учебников, тетрадей и дневников, вокруг бегают первоклассники. Из возбужденные, покрасневшие лица в пепле. У кирпичей стены стоят несколько учителей. Географ с глобусом подмышкой, математик — из его кудлатой головы вылетают черные, пухлые птицы с буквой «р» в клюве. Хорошенькая, заплаканная англичанка. Напротив них гвардейцы из б^а заряжают автоматы. В центре двора костлявая, еще пахнущая хвоей виселица. Семеро старшеклассников из отряда охраны ведут к ней преподавателя словесности. Он — худой, нестигаемый; ветер треплет седую прядь. Автоматная очередь. Еще одна. Глобус с новыми, рваными островами катится по земле. Из него с пеной вырывается густая океанская вода. Подслеповатая техничка выходит на крыльцо, звонит, все школьники устремляются к двери. Вода все хлещет и хлещет. Прямо по пустынным улицам несутся стаи обезумевших крыс. Победа! Похороны завтра.

А тебе уже шестнадцать, Иосип! Великий певец возвращается в скрещение лучей софитов. Сейчас он объявит тебе все, всему научит, во всем оправдает. Как блещат его набрильянтиненные волосы, какая накладная у него улыбка. Он лжет, лжет. Значит, и тогда лгал. Назавтра весь город узнает, что ночь великий певец провел с известной всем шлюхой Комаровой. Она сама расскажет,

как снимал он протез и как жалок был в постели. С нехорошей болезнью уехал он. Так ему и надо! — Правда, Иосип? Что же ты молчишь, мальчик мой? Откуда ты вышел, как из моря — насквозь соленым? В ответ не слова — огрызки слов: «...овью ...овью ...еньше...».

Елена ШВАРЦ

ЛУНА БЕЗ ГОЛОВЫ

(поэма)

I

Се ли ты?
Се ли она?
В стакане темноты
Горька Луна.
И ты моя сестра. И твой
Я — сестр.
И связкой золотой
Гремит апостол Петр.

2

Я говорю Луне,
Сурьящейся напрасно:
Взгляни на комнату мою —
Она вращается ужасно,
Со всеми книгами,
С иконой и больной
Центростремительною
Головой.
И вот она — уже на пол
Летит,
И все, что было в ней —
Все из нее бежит:
Паскаль и Лев Толстой —
Все второпях, как мыши
И застывая взор,
Власы клубятся с крыши.
И только ты, Луна,
Огниста и мертва,
Горишь внутри нее,
Как некогда Москва.

А камень-град вокруг
Сфинкс очертил хвостом
И придавил к болотам
Тяжелым животом.
И мы с тобою вдаль —
В космический парад,
Окликнет кто-то: Луно!
И падаем мы в ад.
Из головы моей
Она скользнула каплей
И в сторону душа
Летит надменной цаплей.

3

Сердце каши, сердце ячневое
Тихо екает в кастрюлке
Невдали реки забвенья —
В темнокоштном переулке.

За окнами неловко
Переминался дождь,
Луны моей не видно,
Ее ступился нож.
Мне дали Бог (и Заяц)
Обломок синий камня,
Я протяну к Селене,
Такой же — и она мне.
Мы с нею заговорщики,
Мы шепчемся, шпионим.
Ах, где мое дикое поле,
Уютный огненный домик?
Где сеяла в поте лица я,
Колосья клонил ветер,
Возили хлеб на Юпитер —
Синий такой — на экспорт,
Но злые прозрачные птицы
Зерно голубое склевали,
Остался мне только камень,
Как в голове у жабы.

4

Тело Луны и голова ее же.

Узкобедрая бежит Луна,
Широких топот каблуков.

Где же, Лунушка, твоя голова?
На плечах одни полукружья рогов.
Где же, Лунь, твоя голова?
Высоко — во тьме облаков.
Когда же встанет она
В очерк твоих рогов?
В набедренной повязке,
С узкой лодкой в руках
Она в меня метнулась,
Заплутала в костях.
Вкруг головы моей
Зубцами мелкими
Стена воздвиглась,
Внутри же озеро, как зеркало, блестело,
И медленно
Луна склонилась
И смотрела,
И кликала потерянное тело.
Она рвала мне уши
И резала висок,
Но пусть хотя задушит —
Ей не найти челнок.
Напрасно ты в меня ныряешь,
Сама себя ты ослепляешь.
Покуда кровь еще кружится
И сердца солнце колотится,
И запад не пожрал восток —
Ты не найдешь ни рук, ни ног.

Ах, голова отрубленная,
С чуждостью прелестной,
Катишься — катись себе
Во гробу небесном.
Серебряное семя,
Губы запеклись,
О не смотри мне в темя,
Не падай сияньем вниз.
Золотой невидимой бритвой
Палач отрезал тебя,
Живы и ты, и тело,
А вместе — вам не судьба.

5

Когда Луну вели на гильотину,
Когда ее бросали вы под нож,
Мы, дети, прятались в одеждах неба синих,

И вместо нас дрожала дрожь.
Удар ножа, холодный гром —
И голова ее катится
По небу вниз
С набитым снегом ртом.
А тело спряталось — в меня
(Как уже приходилось припоминать)
Я выхожу в полнолуние на крышу
И ну — дразнить, сиять.
Она ко мне летит как ястреб,
Я от нее — шустрее мыши,
Через расселину двора,
По склону крыши.
И обе мы с ней точно знаем
И она — когда подползает лучом к изголовью,
Что когданибудь — я тело верну и срощу
И забинтую шею своею кровью.
Вот и ищет она меня,
И прыгаем в конце концов,
В смурное облако — она,
Я — чрез табачное кольцо.

6

Зима. Лунатик по карнизу
Обломком Луны скользит,
Черен рот и живомертвый вид,
На нем холодная струится риза.
Ее двойник одет, она — нага,
Цыганки лик, сама себе серьга.
Лицо твое — в язвах,
Глазницы пусты,
Святою проказой
Изъезы черты.
Продерни в глазницы
Мучения нить —
Чтоб можно повиснуть,
Взобратся, завывать.
Ужасной любовью
Сердце сожгла,
В надменную жертву
Себя принесла.
Но не перевесила смерти
И в тварях такая же боль,
Сестрой милосердия вечной
Ходишь, бинтуешь юдоль.

Лунатик в подвале, лунатик в гробах —
Все чует твой лик — все толщи пронзающий,
Твой мертвый, нагой, но уже на глазах
Светящийся жалобно и воскресающий.

И тихо лунатик всплывает в Луну —
Не как астронавт — от взгляда его плесневея,
Скукожится вся — а как в легкую дверь и родную страну,
Где кинется сразу собака к нему,
Как некогда было уже с Одиссеем.
А вот и другие родные бегут —
бывает ли счастье пьянее, полнее?
Но вдруг замирают — смятенье и гул,
Кружась и растя, пламенея...

И вдруг я, жалкий лунатик, проснусь
На брошенной в поле пустой колокольне.
Как пуповина — откушенный луч,
Мне больно, Луна, а тебе не больно?

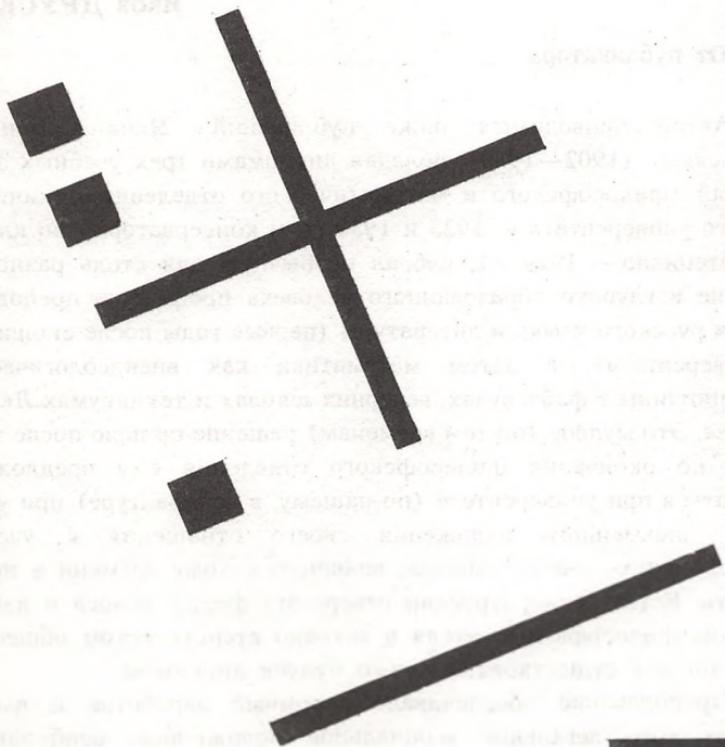
7

Тело Луны
В серповидной лодчонке
Петляет.
Весел — выдох и вдох,
И говорит — хрю-хрю.
Что же еще сказать телу без головы?
И все же оно — Бог.
И раз я его проглотила,
И оно во мне,
Значит — мы с нею обе
Суждены голове — Луне.

Когда-нибудь я брошу свою головенку
На футбольное поле — играй,
А вместо нее — Луна,
Сияющая, как рай.
В пустые ее глазницы
Поглядит человеческий род,
Но так же скорбен Луницы
Смутный скошенный рот.

Октябрь 1987

ВЕС ДРУЖИНЫ



ВЕС ДРУЖИНЫ
ВЕС ДРУЖИНЫ
ВЕС ДРУЖИНЫ

Яков ДРУСКИН

От публикатора

Автор приводимых ниже публикаций — Яков Семенович Друскин¹ (1902—1980), обладая дипломами трех учебных заведений (философского и математического отделений Ленинградского университета — 1923 и 1938 гг. и консерватории по классу фортепиано — 1929 г.), избрал необычную для столь разносторонне и глубоко образованного человека профессию преподавателя русского языка и литературы (первые годы после окончания университета), а затем математики как внеидеологической дисциплины в фабзавучах, вечерних школах и техникумах Ленинграда. Это мудрое (по тем временам) решение пришло после того, как по окончании философского отделения ему предложили остаться при университете (по-нашему, в аспирантуре) при условии письменного изложения своего отношения к учению Н. Лосского, своего учителя, впавшего к тому времени в немилость. Естественно, Друскин отверг эту форму доноса и избрал жизнь философа-мыслителя в активно атеистическом обществе, где он мог существовать только будучи анонимом.

Преподавание обеспечивало скромный заработок и давало сверх того легальное «социальное положение», необходимое при заполнении анкет, получении справок, паспорта и пр. Основным же делом жизни являлось творчество, захватившее его еще с ранней молодости. Он много пишет «запоем», преимущественно по ночам, так как днем преподает, а кроме того любит ночь, тишину, уединение. Это философско-теологические и философско-поэтические трактаты и эссе: «Если что-либо мне является вдруг, само что-либо, а не предложения о нем... так что

¹ См. подробнее: журнал «Аврора», 1989, № 6, с. 100—102, Орлов Г. Предисловие к кн. Я. Друскина «Вблизи вестников». Washington, «Fragera Co», 1988.

я делаюсь одержимым.., то я не сочиняю и пишу не по памяти, а непосредственно вижу». И дальше: «Поиски того, что есть независимо от меня, при этом строится с е й ч а с мною, это тождество бытия и мысли». (Из дневника.— Л. Д.).

Огромное воздействие оказало на него искусство, в первую очередь музыка. Всю сознательную жизнь ему сопутствовал Бах. «Только в середине 20-х гг. через музыку — «Страсти (по Матфею)» Баха я помимо своей воли был полностью увлечен Благой вестью...» (Из дневника.— Л. Д.).

Результатом анализа музыки Баха явилась книга: «О риторических приемах в музыке И. С. Баха» (Киев, 1972, на укр.; Болгария, 1987, на болг.), первая ее редакция была написана еще перед войной. В 1941 г. совместно с братом, музыковедом М. С. Друскиным, была издана брошюра «Страсти по Матфею» И. С. Баха».

С конца 50-х гг. он страстно увлекся додекафонной музыкой Шёнберга и Веберна. Неоднократно прослушивал магнитофонные записи, много часов отдал освоению додекафонной техники, и знал ее лучше, чем многие профессионалы. «Идейные» основы атональной музыки (если позволено так выразиться) использовал в своем философском учении, о чем есть много записей в дневнике.

Из классической литературы в разные годы на первые места выходили: Гоголь, Достоевский, Пушкин. Любил Чехова, Лермонтова, Лескова, Тютчева.

В 60-е гг. открытием стал Ф. Кафка. Перечитал все, что было издано на немецком языке.

Крупнейшим поэтом XX в. считал А. Введенского. Оставил исследование о его поэзии под названием «Звезда бессмыслицы» и ряд заметок и статей о творчестве Введенского и Д. Хармса².

С современной живописью познакомился и живо ею интересовался благодаря дружбе, возникшей в послевоенные годы, с В. В. Стерлиговым (учеником Малевича) и Т. Н. Глебовой (ученицей Филонова). Из старых мастеров больше всех ценил Рембрандта.

Может показаться странной столь широкая сфера духовных интересов автора, но в этом и состоит его необычность: он ищет общий критерий в подходе к основным вопросам Бытия, выражаемым философией и искусством.

² Друскин Я. «Звезда бессмыслицы», 1973, ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, ф. 1232, ед. хр. 15, 20 и др.

Анонимность Друскина, о которой упомянуто в начале этой заметки, проявлялось в том, что он общался и читал свои работы лишь в очень узком кругу друзей, чувствуя себя, по его выражению, «инородным телом в системе». «...До войны у меня были дружеские ноуменальные отношения, какие редко у кого бывают...» (Из дневника.— Л. Д.). Имеются в виду здесь «Чинари»².

Л. Липавский (1904—1941) в «Разговорах»³ — записи бесед, которые вели «чинари» в 1933—1934 гг.⁴, пишет «Интересно, что подходящие друг другу люди находят, натываются один на другого будто случайно, но как закон — всегда». Позже Друскин назвал такие как бы случайные, а на самом деле предопределенные, встречи «неслучайной случайностью».

Еще в молодые годы Друскину посчастливилось встретить единомышленников и друзей, память о которых он пронес через всю жизнь. Это — философ Леонид Липавский, окончивший вместе с ним университет, и три поэта: Александр Введенский (1904—1941), Даниил Хармс (1905—1942) и Николай Олейников (1898—1942). Близость первых трех началась еще в 1922 г. (окончили соответственно в 1919, 1920 и 1921 гг. гимназию им. Лентовской, после революции переименованную в «единую трудовую школу» номер такой-то), а с Хармсом и Олейниковым сблизились в 1925—1926 гг. В эти и последующие годы Хармс и Введенский, помимо общения с указанными выше членами творческого содружества, принимали деятельное участие в ряде левых поэтических группировок, из которых наиболее известным в наше время стало разогнанное в 1930 году ОБЭРИУ,— это было естественное желание молодых поэтов к самовыражению.

«Чинари» не ставили перед собой никаких внешних целей. Участники этого кружка, регулярно встречаясь, вели беседы на литературные, философские и другие темы. Они читали и совместно обсуждали свои произведения. Это было творческое общение, взаимно обогащавшее их.

Слово «чинарь» предложено Введенским, происходит от слова

² Друскин Я. «Чинари», Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 15. 1985, Друскин Я. «Чинари», «Аврора», 1989, № 6, с. 103—115; Сажин В., «...Сборище друзей, оставленных судьбой», Тыняновский сб. Четвертые тыняновские чтения, Рига.

³ Липавский Л. «Разговоры», фото с авторской машинописи (единственный экземпляр), хранится в моем архиве.

⁴ Кроме «чинарей» в их беседах принимали участие поэт Н. Заболоцкий и преподаватель немецкого яз. университета Д. Д. Михайлов (? —1941).

«чин», понимаемого как некий духовный ранг, как определенное отношение к жизни и к творчеству.

В 1937 г. «чинарей» осталось четверо. Был арестован Олейников. В середине августа 1941 г. той же участи подвергся Хармс, а вслед за ним — Введенский. Липавский был призван на фронт и погиб, вероятно, в октябре 1941 г.

Бесценные архивы Хармса и частично Введенского и Олейникова с осени 1941 года, несмотря на годы террора, блокаду Ленинграда и эвакуацию летом 1942 г., бережно хранил их друг. В конце 70-х Друскин передал архивы на хранение в Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (Ф. 1232).

Еще до потери друзей произошла первая катастрофа в жизни автора — в августе 1934 г. внезапно умер отец. Этому событию, оставившему глубокий след в его жизни, посвящена публикуемая ниже глава из философского дневника, названная «Смерть».

Свой дневник автор вел в течение полувека (1928—1979 гг.) и назвал его «Перед принадлежностями чего-либо». Сам он так разъясняет суть названия: «Что-либо — храм. Вступая туда, я чувствую свою ничтожность. Но я создал его. И всякий читающий, если поймет, будет его творцом...»

Верно ли, что я создал его? Он создан для меня, я только вступаю в него...

Перед принадлежностями чего-либо — это преддверие храма...»

В публикацию включены две главы из дневника, а в Приложении вынесены два произведения, стоящие особняком в творчестве Друскина.

«Учитель из Фабзавуча» — своеобразная притча, название ее перекликается с названием рассказа Чехова «Учитель словесности», — является по времени переходной от ранних (из сохранившихся) работ к работам первого зрелого периода, приблизительно даты которого 1932—1953 гг. По своему стилю она отличается от первых, но не примыкает и ко вторым. Дата написания ее не проставлена, но временную атрибуцию легко установить по 5-й главке, в которой отражено событие, повлиявшее на творчество автора. Приведу выдержку из его дневника: «Я никогда не чувствовал себя в жизни, как дома... Раньше мне казалось, что причина этому частная, например фабзавуч или что-либо

подобное. И каждую весну я думал: вот что-то случится, осенью уйду из школы, и начнется новая жизнь. Но потом понял: ничего не случится, а если бы и случилось, все равно не буду в жизни, как дома. Это показал мне Георг (Примечания, №№ 13 и 14) в день моего совершеннолетия Христова (15.07.32— Л. Д.) ...Когда ночью мне явился Георг и показал смерть.., я увидел космическое ноуменальное нечувствование себя, как дома. Это была смерть, связанная со страхом Божьим: «К суду я не готов // И смерть меня страшит». Следовательно, она написана после июля 1932 г., но предшествует «Разговорам вестников» (см. Примеч. № 4). Впечатления от этого сна преломляются в стенаниях старого Учителя. Темы этой притчи, поданной в гротескной форме,— прежде всего это поиски души. Размышления о душе — одна из основных тем, присутствующая в творчестве Друскина. Вторая тема — одиночество. Учитель одинок не потому, что он растерял своих знакомых, а потому, что между ними отсутствует внутреннее понимание: «Я... остался один. Не потому, что у меня мало знакомых. Я один потому, что нет внешнего понимания, то есть никто никого не понимает. Но чтобы было действительное внутреннее понимание, а не лицемерие, раньше должно быть полное непонимание, я должен остаться один: я и Бог...» (конец 70-х гг.).

Целая цепь аллюзий возникает при чтении этой притчи, но по воле автора воспринимаются они, как отражения в кривом зеркале.

О новелле, помещенной в заключение публикации, говорит сам автор: «В моей фантазии о конце мира страшна, во-первых, неожиданность и, во-вторых, закономерность неожиданного, невероятного, и постепенное усиление невероятности, грозящей неизбежной гибелью. Так бывает, когда близкий человек долго и безнадежно болен: один день не отличается от другого, и вдруг вспоминаешь, но ведь неделю тому назад он еще приподымался, а две недели назад еще мог и сидеть, а три — даже немного стоять. Здесь страшна необратимость, и то, что Введенский называл окончательностью (см. Примечания, № 4), а также предчувствие окончательности».

ПЕРЕД ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ЧЕГО-ЛИБО¹

Моей Лестнице Иакова² во славу Божию

I

1932 г. (до VIII.34)
Об имеющем и отсутствующем

Я стою на своем месте твердо и прочно, я нашел некоторое твердое и прочное основание. Я видел очертания твердых предметов, но не находил своего места, у меня не было прочного положения. Очертания твердых предметов — это определенные взгляды и убеждения. У меня не было взглядов и убеждений. Очертания твердых предметов это решительность в поступках, широта взглядов, интерес к общему порядку событий. У меня нет решительности в поступках, нет широты взглядов, меня интересует только то, что имеет ко мне отношение.

Я нашел твердое и прочное основание между очертаниями твердых предметов. Рядом со мной была граница, которой я не мог переступить. Что мне мешало? Я чувствовал отвращение к отсутствию. Я разделил два смежных предмета так, чтобы границы их, приближаясь одна к другой, не совпали. Между ними я нашел точку, не принадлежащую к очертаниям того или другого. Это было моим местом. Найдя эту точку, я остановился. Эта точка — то, что имеет ко мне отношение. Я начинал с этого и того³, с чего-либо, с его принадлежностей. Я начинал с числа и с деревьев⁴, но теперь я нашел твердое и прочное основание: то, что имеет ко мне отношение, есть начало.

Имеющее ко мне отношение есть некоторое отсутствие. События не имеют ко мне отношения, я их избегаю. Продолжительное существование потеряло для меня прочность и твердость, я не вижу того, что соединяется. Взгляды и убеждения меня не интересуют, у меня нет мыслей.

Некоторое отсутствие есть правило и закон поведения. Когда я остановился между приближающимися границами двух предметов, вокруг меня ничего не оказалось. Мое место твердо и прочно, название ему: имеющее ко мне отношение. Границы предметов ко мне приближались, но не могли слиться, между ними остава-

лась точка. Между ними оставалась не одна точка. Имеющее ко мне отношение — название места, на котором я стоял, границы не имели ко мне отношения, и что бы ни случилось не имело ко мне отношения. Этого не было, и границы не могли сомкнуться. Было множество точек, множество пустых мест, нельзя было определить их число. Было некоторое отсутствие. Некоторое отсутствие было правилом и законом поведения, потому что я знал, как посмотреть на другую точку, как повернуть голову, поднять руку.

Некоторое отсутствие есть определенное место. Между двумя очертаниями, когда границы сходятся, но не совпадают, есть определенное место. Некоторое равновесие, которое не может долго установиться⁵, есть определенное равновесие. Некоторое волнение⁶, которое не может долго успокоиться, есть определенное успокоение. Поэтому отсутствие есть определенное место. Я стою на своем месте, я могу поднять руку, повернуть голову, не сдвигаясь. На своем месте я заметил качества и состояния. Я не различал очертаний предметов, но там были соседние миры⁷.

Правило и закон поведения есть определенный предмет. То, что я могу сделать, не сдвигаясь со своего места, я видел, также это было предметом моих ощущений. Я осязал движение руки, слышал поворот головы. Движение руки, поворот головы были соседним миром. Как это происходило? В повороте головы я заметил законы поведения. Движение руки, сгибание колена было правилом и законом поведения. Этот соседний мир и был определенным местом, определенной точкой, определенным предметом.

Точки не были соединены. Я не мог сказать, сколько их. Числа их мне не известны. Я соединил две точки, я соединил эту с этой. Соединение точек произошло без особого усилия: одна точка не нуждалась в другой, она даже не знала о существовании другой. Соединение точек имело ко мне отношение. Как назвать это соединёние без особого усилия? Сколько соединенных точек? Между двумя точками ничего не было. Я не мог определить порядка. Таким образом я заметил некоторое отсутствие.

Если две точки соединены, то я знаю одну. Это второе разделение точек.

Я предполагал, что нет имеющего. Никто ничего не имеет, предполагал я. Сейчас я заметил имеющего: это некоторое отсутствие.

Я был как имеющий, и я понимал значения прикосаний. Когда же я обратил на это внимание, я ничего не имел. Я хотел знать: есть ли носитель? Я предполагал, что его нет. Я говорил: Бог дальше. Бог не имеет расстояний. Он не есть имеющий. Как носитель Он дальше всякого определенного места. Но недалеко от себя, на своем месте я заметил носителя; это некоторое отсутствие.

Если переходить от одного к двум или от двух к одному, и при этом место освобождается, или обнаруживается место пустого, или значения совпадают — это признак не того. Если же некоторые значения не совпадают, тогда место принадлежит этому. Я заметил две вещи: имеющее ко мне отношение и другое, что не представляло для меня интереса. Я предполагал, что его нет. Оно имеет значение, и есть его возможность. Таким образом, при переходе от одного к двум обнаружилось место пустого. Также можно найти одинаковые значения для этого и того, например, существование и несуществование, когда не определен порядок и степень. Это будет при переходе от двух к одному.

Помимо этих вещей я заметил еще границу между ними. То было границей между этим и тем, между этим и тем, и тем. Таким образом, граница не была третьей вещью, и место пустого обнаружилось при переходе от двух к одному.

Можно найти соответствие между местом, пустым и определенным, между этим и тем, между заполнением и отсутствием встреч. Но эти три пары различны. Можно соединить это и границу, отсутствие и прикосание, одно и место. Эти три пары тоже различны.

Если это изменило значение, я скажу, что оно сдвинулось. На этом месте была обнаружена неточность, небольшая ошибка. Если существование отделить от способа, это будет неточностью. Если о способе говорить как о существовании, это тоже будет неточностью. Также об ошибке можно говорить, как о существовании. Таким образом, в небольшой погрешности или неточности я нашел новое место. Место, откуда можно наблюдать, также принадлежит к этому месту. Между этим и тем есть место откуда можно наблюдать это и то.

Я нашел точку между границами двух предметов. Я нашел границу между этим и тем, здесь место пустого, здесь мое

место. Надо было определить место последнего имеющего. Я нашел его недалеко от себя — это некоторое отсутствие, но я не нашел второго места. Между тем, когда есть имеющий, есть два места. Я не нашел второго, я не мог перейти границы, отделяющей это от того. Это и то стоят рядом и почти касаются. Вот два места. Вот третье место — граница, отделяющая это от того. Это мое место, я назвал его: имеющее ко мне отношение. Но вот еще место: я обратил внимание на то, что не представляло для меня интереса, на не имеющее ко мне отношения. Место отсутствующего — вот последнее место, здесь — место, где имеющий касается, но здесь нет прикасания и нет имеющего. Имеющий касается на месте отсутствующего, но здесь нет прикасания. Это стало моим местом, я обратил внимание на то, что не представляло для меня интереса, и это стало моим местом. Но я не нашел второго места. Это последнее место — место некоторого отсутствия.

Место пустого: граница, отделяющая это от того. На месте пустого, между границами двух предметов, определенное место — имеющее ко мне отношение. Это мое место, там было начало.

Одно не знает другого, но они существуют вместе. Есть правила и законы поведения, каждый знает их только для себя, и не знает никого другого, но при этом нет столкновений.

Есть небольшая погрешность в соединении сейчас и сейчас: я стоял перед несуществующим, но с другой стороны тоже ничего не было. Я соединил сейчас и сейчас, и мое место между ними, но это место пустого и отдаленного.

Не больше, чем на мгновение, я установил соответствие между жизнью природы и собой. Я наблюдал соединение этого и того, их значения почти совпадали, я знал правила и законы поведения. Это прошло, потому что нельзя было назвать соединение, дать имя соответствию.

Отдельные места имеют значения, некоторые из них совпадают. Но если и совпадают, все равно одно не знает другого: на месте того — это. Не сходя со своего места, оно не знает того. Но если сойдет, тоже не знает.

Я искал перехода от этого к тому. Если есть прикасание, или я что-либо имею, то есть два. Мое место между этим и тем, здесь то, что имеет ко мне отношение. Но здесь граница — пустое место,

место отсутствующего, здесь я ничего не имею и нет второго. Это место того, что не имеет ко мне отношения.

Я нашел два места: имеющего ко мне отношение и не имеющего, и второе — это место отсутствующего. Если я стою на втором месте, я ничего не имею. Но и на первом я ничего не имею.

Присутствие, прикосание, близкое, иметь — эти слова обозначают существование. Я устанавливаю между ними различное соответствие. Я имею что-либо, но установив соответствие, прихожу к отсутствующему, отдаленному, не имеющему и пустому. Таким образом, я остаюсь между этим и тем, я остаюсь на пустом месте один. Как перейти границу, отделяющую это от того?

Погрешность, место, близкое и отдаленное, имеющее ко мне отношение и то, что не представляет для меня интереса, — эти способы и свойства существования стали существующим. Я нашел определенное место, определенное существование, — имеющее ко мне отношение. Но затем я обратил внимание на то, что не представляло для меня интереса. Оно было несуществующим, но теперь оно стало.

О счастливой жизни

1933—1934

Л.⁸ говорил о счастливой жизни: спокойная жизнь в комнате, когда не можешь выйти, счастье ли это? Нет, остается незаполненное время. Также на полустанке, когда поезд стоит долго, — спокойная жизнь. Счастье ли это? Но перед отходом поезда, когда остается полчаса, зайти, не торопясь, на станцию и выпить рюмку водки — это счастье. Счастье — это когда имеешь паузу в общей спешке, когда все торопятся.

Вот две окрестности смерти: конец, окончательность⁹ (В.¹⁰) и вторая: спокойная жизнь и счастье. Вот окрестности спокойной и беспокойной жизни: незаполненное время, тяжесть усилий, одиночество.

Некоторые удобства, отсутствие необходимости торопиться, развлечения, свободомыслие — вот что называли красотой жизни.

Когда же жизнь потеряла удобства и все, что с этим связано, остался скелет жизни: страх смерти и времени.

Считать преобладающим и нормальным в порядке событий, имеющих ко мне отношение, неприятное, также отсутствие и пустоту — вот условие спокойной жизни. Но это не счастье.

Считать нормальным ощущение тяжести усилий и незаполненного времени.

Счастливая жизнь — это жизнь прибрежных жителей.

Я не люблю спать в чужом месте, потому что в чужом месте замечаю продолжение, не имеющее конца, то есть размеры. Например, новые звуки. В своей комнате я привык к звукам, и они имеют определенные размеры. На своей кровати в комнате, к которой я привык, размеры меньше. Большие размеры вызывают ужас, это граница, которой я не могу достичь. Наибольший размер имеет смерть.

Расстояние в пространстве измеряют временем, сказал В. Я спросил его: как измерить расстояние между двумя стихотворениями? Расстояние между двумя значениями этого или того? Между двумя значениями есть не только различие, но и расстояние, его можно измерить. Меня интересует число расстояний между двумя значениями, расстояние между распусканьем цветка и деревом, их числа. Меня интересует пустое расстояние и отсутствие между двумя значениями.

Мне снился переход от этого к тому. Я истекал кровью и через несколько минут должен был умереть. Страх не было, но я немного пожалел чего-то. Затем я сразу проснулся. Не было промежуточного состояния между сном и бодрствованием. Проснувшись я подумал: состоялся переход от этого к тому.

О.¹¹ тоже несколько раз видел во сне, что умирал, и говорит, что приближение смерти страшно, когда же кровь начнет вытекать из вен, уже не страшно, и умереть легко.

Когда говорят: смерть — это как сон, то думают о смерти другого человека. Между тем, смерть это или мой сон, или отсутствие моего сна. Кажется, мой сон даже без сновидений я чувствую как мой сон, но сон другого человека мне безразличен.

Непонятно отсутствие меня. Когда я сплю, отсутствует «я», но «мое» не отсутствует. Может быть, смерть это граница между одним моим и другим моим. Было мое «я», но теперь будет другое мое.

Самый глубокий сон без сновидений ближе ясного, но достаточно удаленного воспоминания.

Ужас от отсутствия и от перевыполнения, например система лунного света, системы пузырей и жаркий летний полдень¹².

В детстве у меня было два кошмара. Они повторялись и позже. Сейчас бывает один из них, и я даже нахожу удовольствие от него. Происходит это между засыпанием и сном. Это ощущение, в котором принимает участие число пять, ощущение, которое испытывает язык, приближаясь к зубам, когда произносится слово «пять», небольшой груз, подвешенный на нитке, или зуб, уже почти выпавший, и некоторое равновесие, которое сейчас будет нарушено.

Л.: может быть, все пространство ограничивается землей, а все время — небольшим промежутком, например временем человеческой жизни; все же, что происходит в этих границах, только проецируется в воображаемое бесконечное время и пространство.

Счастье в освобождении от торопливости. Когда я, придя из школы, ложусь на диван, это счастье? Но, может быть, здесь присутствуют еще другие условия. Возможно, счастье в напряжении всех сил? Но это, скорее, может иногда дать удовольствие, а не счастье. Но все это не определяет счастья. Счастье, быть может, в том, чтобы не ощущать больших размеров. Затем, ощущение пустоты — это ощущение расстояния между двумя предметами или событиями, причем небольшие расстояния ощущаются как очень большие, бесконечные. Это и есть пустота, скука, тяжесть времени, и это нарушает счастье. Может, счастье не в опре-

деленных событиях, а в отношении к расстояниям, это умение сокращать расстояния.

Это сокращение расстояний или размеров достигается различными путями, например, вся жизнь — это один промежуток, можно ощущать это расстояние как небольшое — это святость. Но можно разбить этот промежуток на множество маленьких интервалов и в каждом сокращать расстояния — такова, должно быть, жизнь прибрежных жителей. Ограничение времени, дробление на интервалы, сужение или растягивание времени — вот что отличает счастливую жизнь от несчастливой. Еще для счастья необходимо некоторое понимание. Я здесь имею в виду отношение к другим. Для счастья не так важно, как ко мне относятся, а как я отношусь к другим. Некоторое непонимание нарушает счастье.

Л. говорил о науке радости. Он думает, что радость может стать обычным состоянием, для этого надо скинуть привычки, мешающие этому. Современный святой будет всегда радостный, хотя и не веселый. И даже боль тут не препятствие. Л. пробовал стать таким святым, но не получилось. О. добавил: «Разве боль от одеколона после бритья не одна из самых острых болей, а мы ее не замечаем, так как знаем, что на нее не надо обращать внимания».

Я хотел иметь различные вещи и чувствовал себя несчастным, потому что их не было. Когда же получил одну из них, я удовольствовался этим, и мне больше не надо было. Но и эта одна вещь перестала представлять для меня интерес, когда я получил ее. Я спутал удовольствие с счастьем. Удовлетворение желания — это только удовольствие. Но обычно оно приходит с опозданием, и удовольствие не так велико. Но это не имеет отношения к счастью.

Не курить, вообще не иметь привычки, которая считается приятной, не увеличит тяжести усилий и незаполненного времени. Какую бы я жизнь ни вел, это войдет в привычку. По этому поводу правильно замечали, что путешествия развлекают. Но также правильно замечали, что и путешествия здесь не могут помочь. Остается время, которое я ощущаю как внешний предмет, перед ним бессильно всякое напряжение, направленное на изменение порядка событий, имеющих ко мне отношение.

В некотором равновесии в порядке событий, имеющих ко мне отношение, также есть небольшая погрешность. Когда я отказываюсь от какой-либо привычки, я ощущаю в течение какого-то времени большой недостаток. Но так как потом наступает снова равновесие, не отличающееся от прежнего, то этот промежуток следует считать небольшой погрешностью.

Дается ли счастливая жизнь даром или ей можно обучиться?

Никто не имеет в виду общий порядок событий.

Одна из ошибок — разделение на тело и душу. В Евангелии: Я скажу своей душе: ешь, пей, веселись.

В ночь, когда мне исполнилось 30 лет, ко мне пришел покойный Георг¹³. Он показал мне смерть. Я не поверил и сподличал, но затем увидел его товарища, и он, тоже умерший, смотрел на смерть. Это было страшно и убедительно.¹⁴

После этого Георг много раз являлся мне во сне. Однажды он учил меня ходить по времени. Во сне это было просто. В другой раз он явился мне каким-то просветленным, но не интересным. Встреча произошла на железнодорожных путях, были рельсы и провода. Я просил его подбросить меня вверх, это было испытанием на чудо. Я боялся, чтобы он не догадался. Но он не догадался и подбросил высоко, но все же это можно было объяснить и естественно. Я попросил его снова подбросить. Он подбросил меня на этот раз выше телеграфных столбов. Значит, чудо. И сразу же Георг и само чудо стали мне неинтересны. В представлении о чуде есть погрешность: осуществленное чудо не интересно. Л. думает, что чудо не в факте, а в стиле. Это мало что объясняет. Я хотел чуда и в то же время во сне немного боялся, что Георг покажет мне чудо. Я просил одно, а он должен был сделать что-то совсем другое, может быть, тогда бы это было настоящим чудом.

Где бы я ни был, я всегда думаю: мне предстоит удовольствие — вернуться домой в свою комнату. Может быть, это некоторое счастье: ночью, один в своей комнате. Это освобождение от торопливости, хотя бы она и доставляла удовольствие.

Прежде говорили: жалко умереть в 18 лет. Чего жалко и почему жалко в 18 лет, а в 80 лет не жалко или не так жалко? Жале-

ли, верно, красивой жизни, чтения газет по утрам, посещения театра, комфорта, знакомства с женщинами. Умер молодым, а мог бы еще столько раз пойти в театр, узнать столько новостей, которые будут напечатаны в газете. Все это нелепо. Красивой жизни нет. Внешним признаком этого служит отсутствие интереса к женщине. Сейчас даже непонятно, как это было вокруг женщины столько насочинено.

З.¹⁵: Мне кажется, что все люди, неудачники и удачники, в глупине души чувствуют себя несчастными.

Разговор с Л.: меня интересует счастье. Помнишь у Пушкина: «С Богом в дальнюю дорогу». Что там? Один убит, другой пропал без вести, «жив иль нет, узнаешь сам», дочь живет где-то в Лизгоре, но «с мужем ей не скучно там». И тот мир, в который они провожают убитого, похож на мир теней, неизвестно, что хорошего там. Все же ясно, эти люди счастливы. Им не страшно большое пространство, им не может быть скучно, и нет у них чувства ничтожества, которое понятно нам. Л.: да, у них невеселое счастье, но это счастье. Я: Кто же эти люди? Моряки или рыбаки, прибрежные жители. Это не случайно. У Гамсуна тоже действие происходит в прибрежном поселке. Или в лесу. Но лес, в конце концов, тоже море. И люди у Гамсуна тоже в большей или меньшей степени счастливы. В чем же счастье? Как ответить на это точно, исследовать счастье, как Гёте исследовал цвета? Л.: Есть один признак, по которому счастье всегда можно отличить от удовольствия. Когда удовольствие минует, оно становится безразличным, его не стоит вспоминать. А счастье трогает и в старости, уже не существуя. Л. говорил о неувыдаемости счастья.

Бывает ли непонимание у деревьев и вестников¹⁶? Если те и другие неподвижны, то у них не может быть непонимания окрестностей. Прикрепленные к своему месту, они живут спокойно и все знают. Они не нуждаются в обозначении, и равновесия с небольшой погрешностью они достигли. Они разговаривают медленно, с трудом выговаривая слова, не запоминают сказанного и как будто никого не знают. Они счастливы.

Я совершил ошибку. Но если бы я сейчас и мог избрать дру-

гую жизнь, я бы этого не сделал, так как боюсь жить во второй раз, даже если не ошибусь, и еще больше — самой перемены, изменения судьбы. Это ощущение единственности жизни и счастья.

Условия счастья — уменьшение расстояний, стягивание времени. Но теперь, как ни дробится время, и самые малые интервалы растягиваются бесконечно. Остаешься один: до ближайшего предмета, до ближайшего человека — бесконечность. Осталось: я, время и смерть.

Передо мной непонятные фигуры, случайные расположения. Я должен найти их знаки. Это подобно наложению некоторой печати. Я свободен в выборе знаков, в наложении печати, но когда печать наложена, я вижу, что был зна́ком одной из фигур. Смерть — последний знак: чувств не осталось, память все потеряла. Осталась пустота и страх, и система знаков, печать, почти наложенная.

II

1934 г. Август

Смерть ¹⁷

Когда перед смертью он говорил: больно, то выходило так: „ему больно“. Когда на лице появлялась гримаса, то это было как рефлекс, и ясно было, что душе не больно. За сутки же перед **смертью** он отвечал на все вопросы: «Хорошо», и еще сказал: «И рукам хорошо, и ногам хорошо, и в земле хорошо».

Он натянул простыню на лицо, когда же спросили, зачем, он сказал: «Для настроения». Простыню отодвинули, тогда он закрылся руками.

За две недели он умирал четыре раза. Первая смерть с виду была совсем мудрая, тогда он сказал: «Плечо устало, рука устала, все устало». Вторая смерть — в полном молчании, он слабел и холодел. Третья смерть наступила за сутки, он говорил, все хорошо, и сказал: «Теперь я буду спать». После этого заснул, а затем лежал в беспомощности с открытыми глазами. Четвертая смерть была самая страшная и непонятная и, кажется, в полном сознании.

Когда он умирал в четвертый раз, может быть за два часа до последней смерти, наступило понимание; не было произнесено ни слова, он не мог говорить, но передал мне наследие и старшинство в роде. Я видел, что он знал это так же, как и я. Это было как оправдание и передача наследия и старшинства в роде, как предвестник последнего часа и наложение печати. Большого понимания у меня не было в жизни.

Он умирал четыре раза, он искал наиболее благоприятного способа смерти и выбрал наиболее непонятный и страшный: клототание в груди и изливание пены. Может быть, здесь была наименьшая погрешность.

Когда смерть подходила в первый раз, он смотрел прямо перед собой, ничего не замечая, и молчал. Что он видел? Может быть, все силы были направлены на излечение сердца? В четвертый раз он тоже смотрел ничего не замечая, но это было иначе, кажется, был ужас, или мне было страшно. Но вдруг он посмотрел на меня, это было, когда он передал мне старшинство в роде. Взгляд был ясный и сознательный, одним глазом, другой был парализован.

Когда делалось немного лучше, он беспокоился, просил позвать врача. Когда же бывало совсем плохо и чувствовалась близость смерти, он был спокоен, равнодушен к приходу врачей и говорил, что ему хорошо, хотя знал, что умирает.

Может быть, раньше было то, что я назвал второй смертью, а потом первая?

3 августа он заболел. Ночью с Лидой к медсестре, через поле под проливным дождем к Козмину, в больнице в поисках врача.

4. До 6 часов сильные боли. С 6 часов боли прошли, ночью довольно спокойно, но все время кидался.

5. Кажется, снова ухудшение, а вечером холодеет, без пульса, ночью горячие бутылки. Кажется, первая смерть.

6. Вторая смерть. Вечером улучшение, ночью кошмары.

9. Кажется, стало лучше.

10—13 — постепенное ухудшение.

14. Днем уехал в город. Перед тем, как я уезжал, он жаловался, что выздоровление идет очень медленно. Вечером, когда я приехал, было совсем плохо. Всю ночь бегал за кислородом (когда в первый раз, не помню).

Первый припадок. Утром как будто заснул с открытыми глазами.

15. Весь день с открытыми глазами спит или в забытии. Узнает только по слуху. Говорит очень мало, с трудом и невнятно. Ночью в 3 или 4 часа второй припадок. После — полное сознание, но говорит так же невнятно, прощался. Затем сказал, что будет спать и заснул или впал в беспамятство с открытыми глазами. Так до утра. Кажется, в это время отнялась левая сторона.

16. Снова появился пульс, довольно хороший, пришел в сознание, спрашивал, кто у него. Больше не говорил, говорить трудно, но указывал. Кажется, тогда же просил поднять занавес и открыть окно. А может быть и раньше, не помню. Глаза стали стеклянеть, в особенности парализованный. Днем или под вечер — третий припадок, не один, а несколько сразу. С вечера не мог уже двигаться. С 11 или 12 часов вечера началось клокотание — отек легких, я почти уверен, что с этого времени он был в полном сознании. Около 4-х посмотрел на меня. В половине шестого последний припадок. Во время припадка дыхание останавливалось, он задыхался, взгляд сознательный и виден ужас. После последнего припадка сердце остановилось, но еще было два или три вдоха, причем взгляд снова стал спокойным.

Я стою перед событием, реальность которого наибольшая, поэтому я боюсь сказать что-либо, перед этим событием все сомнительно и ничтожно.

Вечером второго дня болезни ему стало лучше. Я уходил ненадолго. Возвращаясь на извозчике, я увидел пожилого мужчину с палкой. Он шел с женой. Это было, как знак чего-то старого, некоторой порядочности, которой уже нет. Это счастье — встречать родителей, пожилых людей, занимающих небольшое место; счастье было, например, когда они провожали или встречали меня в Петергофе — я приезжал к ним на несколько часов из города. Тогда я понял, что счастья больше не будет.

Но ведь некоторого благополучия и спокойствия не стало уже раньше. Ужас его смерти объединился с ужасом перед современным Левиафаном.

Как всякое действительное направление — прямое, а обратное — только возможное, так, может быть, и счастье и счастливая жизнь — это то, что было.

До 1917 г. жизнь с каждым годом становилась как будто бы лучше. Это называлось прогрессом, при этом терялось что-то глу-

бокое и важное. После нескольких тяжелых послевоенных лет жизнь стала легкой и пустой, как жизнь бабочек-однодневок, но сопровождалось это ощущением талантливости и гениальности. Но затем сразу все это рушилось. И теперь уже нет и не может быть ощущения покоя и улучшения. Разница между новым и старым существенная, и это так же, как его смерть.

В некоторых случаях нельзя сказать: есть Бог и нет богов и демонов. В некоторых случаях нельзя сказать: есть боги и демоны. В некоторых случаях нельзя сказать: есть приметы, следование им создает благоприятные условия. В некоторых случаях нельзя сказать: нет примет. Я принес жертву богу. Через некоторое время я понял: бог принял мою жертву, условия благоприятствовали. Это был бог здоровья, счастливой жизни и семейного очага, бог встречи родителей с взрослым сыном.

Я потерял чувство осторожности. Я часто не соблюдаю примет, нарушаю правила осторожности. Признаки спутаны.

Если я скажу: бог принял мою жертву, я был в сношениях с богами и демонами,— это знаки. Так же Бог, бессмертие — тоже знаки. Надо выбрать знак с наименьшей погрешностью.

Случайна ли смерть? Умер бы он сейчас, при других условиях?

Когда у меня раз была какая-то неприятность, я подумал: это горе. Это продолжалось несколько дней. Но затем я уехал в Детское¹⁸. Проснувшись утром, я увидел в окне деревья и солнце, и подумал: как хорошо. Ни горя, ни неприятностей не было. 17-го после его смерти был яркий солнечный день, но мне казалось, что солнечный свет потерял свою силу. И я боюсь, что уже никогда солнце не будет светить так, как раньше.

Я все время думаю о нем, когда хожу, читаю, бываю где-нибудь, и я все время вижу последние два часа и то мгновение, когда он передал мне наследие и старшинство в роде. Но сегодня, возвращаясь домой, я подумал: не может быть, чтобы я не увидел его больше, я увижу его через 3 года или через 30 лет: как это глупо, что я раньше не вспомнил об этом. Это твердая уверенность в личном бессмертии. Если же эта уверенность только начало забвения, хитрость чувства и влечение к жизни, то жизнь бессмысленна и отвратительна.

Смерть должна найти место в некоторой системе. Эта система — я сам, а смерть не вообще, но определенная. Забвение состоит не в том, что забываешь человека, но забываешь горе. Во-

первых, я должен привыкнуть к тому, что множество случайностей, случайных событий изменилось. Когда я подхожу заводить часы, я вспоминаю, как он заводил, когда я подхожу к окну, я вспоминаю, как он стоял у окна. Я должен вспомнить и, может быть, проделать все, что он делал. Но есть еще и другое: я никогда его больше не увижу, и это никогда — страшно. Бессмертие должно быть.

У Тютчева: есть близнецы смерть и сон, и еще близнецы: самоубийство и любовь. Вот еще близнецы: привычка и забвение.

Если забвение не уверенность в личном бессмертии и будущей встрече, то эта хитрость влечения к жизни омерзительна.

Когда я раньше слышал, что умер человек, даже чужой мне, на несколько секунд меня охватывала тоска. Смерть это мерзость запустения. Теперь это всегда, и всегда я буду помнить, как в последнюю минуту он сжал зубы и в глазах был ужас. Затем сердце остановилось и он вздохнул несколько раз свободно и спокойно. Мерзость запустения после его смерти — это как щупальцы с того света.

Единственная, неповторимая вещь, цветок был прекрасен. Но он увял и сгнил. Мерзость запустения не уменьшается от того, что остались другие, еще более прекрасные цветы, этого уже нет. Можно ли сказать, что прекрасно целое? Что целое? Этот цветок, это поле сейчас. Но целое во времени непонятно. Время несет смерть.

Я нахожу прекрасное, расположенное в пространстве, но не во времени. А в музыке? Если один звук следует за другим, я нахожу здесь некоторую систему частного, я не воспринимаю один звук за другим, но в последнем, который прозвучал сейчас, я нахожу предыдущие. Но другое — соединение мгновений, которое несет время. Продолжительность пьесы принадлежит к небольшой погрешности, пьеса уже написана и существует как целое, я могу воспринять ее всю, даже заучить на память. Я вижу ее как Бог. Но жизнь цветка я не вижу, и себя не воспринимаю во времени, но только в мгновении. Но если Бог видит всю мою жизнь, то сразу, т. е. не во времени. Бог не видит времени, я же чувствую время, как некоторый недостаток. Сравнение с пьесой нельзя проводить до конца, ведь пьеса не воспринимает

себя ни целиком, ни в каждой ноте, а я воспринимаю себя, но только в мгновении.

Прекрасен полет чайки. Это движение и во времени, но может быть, это прекрасно потому, что воспринимается как неподвижная линия в пространстве? Также в таких вещах, как быстрая езда, плавание, может быть, меньше всего чувствуется время и изменение. Прибой и отбой, шум моря или леса, периодичность природы — все это вызывает некоторый ужас. Может быть, время совсем даже не непрерывно. Когда мы говорим о непрерывности времени, мы сразу же обращаемся к линии, чтобы объяснить непрерывность времени. Значит, непрерывность времени совсем не очевидна.

Можно сказать, чего нет во времени. Но как сказать, что есть время? К нему нельзя применять ни одно из тех слов, которые применяются к существующему, и можно сказать даже, что его нет. Но это несуществующее самая страшная сила, и лучше всего, когда не чувствуешь ее.

Я не понимаю также, когда говорят, что что-либо существует во времени. Что-либо существует в мгновении, во времени же уничтожается и перестает существовать.

Затем говорят еще о длительности. Это порождение времени уже совсем лишено реальности. Она существует только для того, чтобы быть остановленной мгновением.

Из того, что расположение в пространстве я могу находить прекрасным, время же несет только смерть и разложение, хотя само неуловимо и даже не существует, и не допускает существования во времени, следует несводимость одного на другое.

Единственная реальность — это мгновение. Затем есть еще память, воображение, рассуждение. Все это можно объединить под именем идей. Это знаки мгновений. Они останавливают, разрезают длительность. Когда я нахожу правильный знак, называю мгновение, движение и длительность останавливаются, они перестают существовать, делаются ничем, т. е. тем, что они есть. Ведь в мгновении их нет, помимо же мгновения тоже ничего нет.

Вначале Бог сотворил небо и землю. Начало — это некоторая остановка, разрез, знак, это прообраз мгновения.

Шум волн или леса, хотя и вызывает некоторый ужас периодичностью, но тоже воспринимается не как временное явление.

ние. Постоянное повторение одного и того же создает ощущение неподвижности. Вначале кажется, что это увеличивает расстояния, но затем создает определенные границы.

Счастливая жизнь отличается от несчастливой не главными событиями, а второстепенными, еле заметным оттенком.

Я стал ощущать некоторую свободу: я не всегда принимаю меры предосторожности, если же принимаю их, то без интереса. Эта свобода, которая могла бы дать некоторый покой, создает только отвратительную пустоту. Я был запутан в сетях примет и признаков. Бывал страх, но было и спокойствие и радость. Я ощущал некоторую связь с существующим. Теперь же все порвалось.

У Л. Андреева: перед тем, как воскреснуть, Лазарь несколько дней пролежал в склепе и распух. Таким же он воскрес и оставался все время, и на кого он ни посмотрит, тому делается скучно и пусто. От его взгляда человек начинал сохнуть.

Когда мне что-то снится, то, чтобы проверить, не сон ли это все и бред, и не обманывает ли меня чувство реальности, я начинаю вспоминать прошлое и соединять события. Во сне вспоминаемое событие снова переживается, т. е. нет времени, на яву же есть события закончившиеся, т. е. не существующие, уничтоженные временем. Во сне наиболее реально просыпание — когда снится, что, просыпаюсь, я вспоминаю первый сон как событие, которое окончилось.

Я провел вокруг себя черту, у меня были слова, которые я повторял постоянно, и я знал, что соблюдая приметы и находясь в этом круге, я могу быть спокоен. Этот круг уменьшает расстояния, создает некоторый порядок и благополучие в жизни. Во время его болезни одно важно было: только бы не умер. Но теперь круг нарушен.

Бывают сны настолько простые и ясные, что просыпаясь, думаешь, стоит ли делать усилие, чтобы запомнить, и на утро забываешь. Между тем, среди таких снов бывают интересные, некоторые по содержанию, другие по оттенку. Как и сон, мысль имеет содержание и оттенок, и некоторые мысли интересны по оттенку, но такие труднее всего записать.

Хула на Св. Духа — это отсутствие радости от существования, ведь Бог, сотворив небо и землю, сказал: хорошо. Хула на Св. Духа не простится.

Каждый день я жду чуда, и особенно перед сном, и ночью прошу у Бога чуда. Чудо должно быть.

Вот уж два с половиной месяца, как Бог покинул меня. Бог покинул меня за сутки до его смерти.

Я сидел у открытого окна ночью, плакал и думал, что ничего не выполнил из того, что он ¹⁹ хотел: не бросил курить, не кончил Университета ²⁰; не создал себе определенного места в жизни, и в это время я почувствовал, как Бог меня оставил. Это действительно было, как дуновение ветерка.

День смерти случаен, он мог наступить раньше или позже. Как это понимать? Я введу термин. Он мало что объясняет, но может быть, он укажет путь для некоторого понимания. Если мгновенное существование распространить по неподвижному времени, то некоторые события можно назвать характерами жизни. Преждевременное приближение смерти — один из них, слишком поздний приход ее — другой.

Может быть, существуют различные времена. Есть время размышления, и время участника жизни, и время того, кто стоит в стороне. Есть время сознания себя — оно не больше мгновения, и время воспоминания, когда совмещаются два времени.

Время не длится и не продолжается, оно состоит из мгновений и пустых промежутков.

Я беру отрезок времени. Это время я был в дороге — прошел некоторое расстояние. В то время, когда я ходил, я заметил некоторое однообразие этой части пути, — другую часть пути я отнес к другому отрезку времени. Я отличил первый отрезок времени от второго. Это бывает, когда много раз проходишь тот же путь, когда ту же дорогу совершаешь по многу раз в день, много дней. Этот отрезок времени я назову большим мгновением. Времени здесь уже не будет.

Если есть некоторый целесообразный порядок и благополучие, и это равносильно тому, что есть Бог, то критерием может быть только мое благополучие — некоторый целесообразный порядок того, что имеет ко мне отношение.

Я представляю себе три системы вещей. Первая основана на доверии. Но если я сомневаюсь и у меня нет доверия, что мне делать? Вторая основана на рассуждении. Но если я слаб и мои способности ограничены, я могу совершить непоправимую ошибку. Я осужден по первой, я осужден по второй.

В третьей системе всякий осужден.

Умерший на берегу реки забвения говорит ²¹: я умер только что, я умер вчера, я умер тысячу лет тому назад. Когда сердце остановилось, я вздохнул раз или два. Я вздохнул в последний раз. Между двумя вздохами душа отделилась от тела. Душа умершего на берегу реки забвения говорит: меня обмывают, меня хоронят. Проходит мгновение, проходит год, проходит тысяча лет. Я обзираю распростертое время, случайно разбросанные на нем события. Меня давит прошлое, как недвижимое с е й ч а с стоит оно передо мною, как большое мгновение, здесь пустынно и холодно. Умерший на берегу реки забвения оплакивает свое тело: рука была прекрасна, теплая, белая. Живот был прекрасен, округлый, мягкий. Грудь и шея были прекрасны. Он жалеет, что не может поднять головы, двинуть рукой.

Нет свежести чувств.

Если есть система — некоторый порядок и соответствие, — в которой я не могу рассматривать себя как цель, то такая система безнравственна. То есть я не должен быть средством. Если есть вечное осуждение — исключение из некоторой системы, — это трудно понять, например, если у меня нет доверия.

Л. придумал формулу непонимания: отец не понимает сына. Но что касается до ужаса смерти, то есть холодения руки, ооченения, увядания, то сын не понимает отца.

Как душа, может быть, на некоторое время переживает тело, так и душа удовольствия отделяется от удовольствия. Но может быть и так, что в течение долгого времени, может быть, навсегда, душа удовольствия умерла или спит. Тогда удовольствие ничтожно.

Меня интересует умерший человек в могиле, как он там лежит и где его душа.

Есть ошибка правильного рассуждения и правильного вывода.

Если бы можно было хотя бы один шаг в жизни, уже сделанный, взять назад, то при прочих не изменившихся условиях это казалось бы не бóльшим чудом, чем раскрывание почки, рост дерева или сила политической власти. Между тем было бы больше серьезности и ответственности.

Чуду противопоставляется не естественная необходимость, но принуждение. Чудо не представимо, и его нельзя исследовать. Совершенное чудо в результате исследования потеряет все чудесное. Исследование не сможет его удержать.

Две ошибки: ошибка неопределенности происходит от того, что забывают о некоторой внешней силе, которая противостоит твоим желаниям. Другая ошибка, близкая к ошибке правильного рассуждения, происходит от того; что эту силу делают законом природы, естественной необходимостью.

Гераклит говорит: старость покупает что-то ценой жизни. Должно быть мудрость.

Каждый раз начинать сначала, как если бы я ничего не понимал вчера или вчера не было.

В последнюю ночь на 17 августа напротив в доме отдыха был вечер, играла музыка. Она слышна была и у нас.

Существующее разложилось для меня на последние элементы, и эти элементы: холодение руки, неподвижность тела, молчание, смерть.

Я искал того, что остается всегда новым. Вот что остается всегда новым: смерть.

Что мне с того, глуп я или мудр, если нет счастья.

Однажды я написал: «Даже на всеобщих развалинах и обломках...» Я думал таким способом доказать существование Бога. Но вот теперь всеобщие развалины и обломки, и я ничего не вижу.

Истина нулевой степени. Это должна быть уже самая последняя истина, когда нет никаких желаний, стремлений, вкусов, склонностей. Но, кажется, тогда уже ничего нет.

У постели умирающего я увидел, что жизнь сама по себе величайшее благо, и холодение руки, увядание, смерть есть мерзость. Но теперь я не чувствую этого блага, я не чувствую, что моя жизнь — благо.

Когда умерла душа удовольствия, и жизнь перестала меня интересовать, я увидел, что жизнь есть благо сама по себе, величайшее благо. .

Удовольствия можно классифицировать: удовольствие от еды, сна и т. д., можно определить, но счастье — это единичное, поэтому не определяется и не классифицируется. Оно приходит случайно, различное для каждого. Если я сказал: счастливая жизнь это жизнь прибрежных жителей,— это не определение счастья, это одно из его имен. Счастье может быть невеселым, удовольствие интересно. Если есть счастье, есть интерес в жизни, а при удовольствии без счастья — нет.

Мудрость — это думать о счастливой жизни, утерянной безвозвратно, и искусство жить без счастья.

Есть твердое основание в том, что стоит. Это надо понимать так: жизнь вестников не более призрачна, чем естественная необходимость. Отсутствие не более призрачно, чем присутствие. И еще так: некоторое движение, некоторое удовлетворенное желание, некоторая мысль, доведенная до конца,— вот что призрачно. И все это одно — некоторое мгновение, когда оно кончается.

Призрак сновидения — отсутствие твердого и прочного. К твердому и прочному относится: своя постель, комната, знакомые голоса и звуки, приметы. После самого хорошего сна просыпаешься с удовлетворением, чувствуя возвращение к твердому и прочному, если только не утеряна всякая твердость и прочность — наименьшее необходимое для жизни количества счастья.

Л. спросил: «Чувствуешь, что перевалило за половину жизни?» Я сказал: «Чувствую, что перевалило за жизнь». Л.: «Не пора ли

подумать о душе?» Я: «Может быть, не о чем подумать». Л.: «Теперь, когда бессмертие показалось лишним, может быть, увидим, что оно есть».

Нельзя молиться бесстрастному Богу.

Случайность не создает никакого порядка, это безразличная печать на времени. Кто ее ставит? Не знаю. Это было предусмотрено Богом вначале, но она не ставится совсем без моего участия. Но я не могу предусмотреть далеко вперед и бываю неосмотрителен. Если же есть что-либо твердое и прочное, то события ничего не меняют, оно лежит вне событий.

Небольшая погрешность выросла в большую ложь.

Вот четыре правила:

1. Делать наименьшее количество усилий.
2. Поддерживать однообразие моей жизни.
3. Соблюдать серьезность, т. е. по возможности избегать событий, решений, поступков, сношений с людьми.
4. Избегать удовольствий, требующих усилий.

Из этого сна я что-то понял. Он был как бы не под своим именем. Во сне строго и неопровержимо было доказано: он не умер. И тем не менее он умер. Это неопределенный знак непроверяемого, очевидного доказательства, бесплодного и негодного.

Нулевая истина вне системы, вне системы нет ничего твердого и прочного. Осуждение — исключение из системы. Но всякая другая истина требует некоторого доверия.

Когда несколько раз приходит какое-нибудь ощущение или чувство, достаточно сильное, то в то мгновение, когда оно приходит, нельзя сказать, как часто оно приходило, т. е. место событий на времени не постоянно.

Надо различать удовольствие, счастье и душу удовольствия. Если ощущение удовольствия на некоторое время переживает удовольствие, то есть душа удовольствия. Для этого необходимо

среднее между удовольствием и его душой — счастье, хотя бы наименьшее, необходимое для жизни количества счастья.

Вот некоторые большие мгновения. По многу раз в день я не ходил, а бегал в аптеку за кислородом. Дорога шла по прямой линии до большого здания. Этот промежуток стал для меня большим мгновением. Дальше надо было завернуть несколько раз. Против аптеки был кабаk, там играла музыка и слышались пьяные голоса до поздней ночи. Ночью мимо этого кабака — большое мгновение. Лестница, по которой я подымался, не зная, найду ли его в живых, — большое мгновение. Ночью у окна, когда Бог покинул меня, — большое мгновение. В один из первых дней, когда ему стало лучше, я пошел гулять. Это последняя прогулка, когда солнце светило еще с прежней силой, — большое мгновение. После этого две недели я, может быть, вообще не замечал, как светит солнце. Семнадцатого же августа солнечный свет показался мне совсем не ярким, впервые он потерял свою силу, и это тоже большое мгновение.

17 августа 1935 г.

Прошел год. Я потерял наименьшее необходимое для жизни количество счастья. Но если я и получу его еще, и если есть в этом какой-либо разумный порядок, то что может вознаградить за потерянный год жизни? Помимо того, я не предполагаю, что следующий год будет лучше.

П р и м е ч а н и я

1. «Перед принадлежностями чего-либо» — дневник, о котором автор пишет: «Это вся моя жизнь, принадлежащая не мне, а Богу, зафиксированная в записях на отдельных листках и в тетрадах с 1928 г.» (запись 1969 г.).

2. «Лестница Иакова» — так называл автор свою мать после ее кончины (16.10.63).

3. «Это» и «то» — философские термины Я. Друскина. «Есть это — наша эмпирическая жизнь и то — другая жизнь, невидимо, а иногда и видимо присутствующая в этой. Два пути: видеть то как это (психологизм) или увидеть в этом — то (провидение)». (26.06.67).
4. «Разговоры вестников», 3 гл. (1932—1933). (Рукописный отдел ГПБ., ф. 1232).
5. «Равновесие с небольшой прогрешностью» — философский термин автора.
6. «Разговоры вестников», I гл.
7. «Соседние миры» — термин Л. Липавского.
8. Л. Липавский.
9. «Окончателность» — термин А. Введенского (применительно к смерти).
10. А. Введенский.
11. Н. Олейников.
12. Сравни: «Исследование ужаса» Липавского (Рукописный отдел ГПБ., ф. 1232).
13. Леонид Владимирович Георг — учитель словесности в гимназии им. Л. Лентовской, оказавший сильное влияние на формирование личности Я. Друскина.
14. Этот сон указал автору на невозможность построения полной непротиворечивой системы в философии, явился рубежом, после которого он стал иначе писать. Первая крупная вещь, написанная после этого сна, — «Разговоры вестников».
15. Н. Заболоцкий.
16. Вестник (*αγγελος*) — термин Липавского.
17. Смерть отца, свершившаяся 17 августа 1934 г.
18. г. Пушкин.
19. Он — отец автора.
20. Друскин окончил математический ф-т Университета в 1938 г.
21. Этот абзац напоминает некоторые произведения Введенского: «Четыре описания», «Где. Когда» и др. Но это не заимствование, а следствие общности мировоззрения «чинарей», понимания (или, вернее, непонимания) основных вопросов Бытия, в частности Смерти.

УЧИТЕЛЬ ИЗ ФАБЗАВУЧА

Когда на небо опустилась ночь, и сумрак наступил на город, движения линий ослабели, и устал я.

О шелухе, оставшейся после истления ядра

I

И вот, когда наступил вечер, он сказал: «вечером наступает подъем сил, приподнятость настроения, общее оживление и веселие, ныне же я устал, ядро истлело и чувство обветшало. Этим я хочу сказать, что то, что было,— того нет, то прошло, и вообще изобразить прехождение. Мне было бы печально и грустно, но мне не хватает приподнятости настроения, и если бы я мог хотеть, я хотел бы закричать». Он это сказал и сел на свое место, и мы сидели молча и ничего не говорили. Это было понятно и близко всем нам. Кто-то захотел сострить, но у него ничего не получилось.

Мы все прожили свою жизнь, конечно, никто из нас ничем не отличился, и прожили мы свою жизнь вяло и бледно, но наступившая тишина нас смутила, и мы не знали, чего мы хотели или, по выражению нашего Учителя, чего мы хотели хотеть.

Было тягостно и неловко, и мы сидели как деревянные истуканы, как каменные идола, и никто не смел нарушить тягостного молчания, кроме неудачного остряка, впрочем, также умолкнувшего после первой неудачной шутки.

Нам и до этого случалось собираться. Мы рассказывали грязные анекдоты, мы смеялись над собственной чистотой и своими увлечениями, наша неудачливость служила нам источником веселых, хотя и сухих, шуток. Учитель смеялся вместе с нами и рассказывал нам новые анекдоты. Но теперь мы поняли: смеясь над своими увлечениями и издеваясь над своей неудачливостью, мы

хотели быть героями. И мы сидели убитые, так как мы ничего не смогли.

Так возникли наши собрания, наши вечера: двенадцать человек, потерявших ядро, а Учитель был тринадцатым.

Поздней ночью шел человек. Откуда он шел? Тайное горе сопровождало его. Он устал, и он думал о прошлом. Нерадостна была его жизнь, и он не знал, сам ли был виноват в этом или кто другой. Но он не роптал на Бога.

Многое могло быть, и он видит свои ошибки и, если бы мог, — он исправил их — но поздно.

Его мучит мысль о непоправимости прошлого, и это убивает его энергию, но что убивало ее раньше?

И он думает о шелухе, оставшейся после истления ядра.

Нас было тринадцать таких. Мы все потеряли свое ядро — оно истлело, когда же мы опомнились — была шелуха.

2

Он был учителем чистописания в фабзавуче. Ученики шумели на его уроках, и начальство делало ему выговоры. Он был смиренный, тихий и терпеливый, и когда учителя сбегались из соседних классов, привлекаемые криками его учеников, он думал о том, как он будет диктатором в Олигархии или заведующим фабзавуча, и как тихо будут сидеть тогда его ученики.

3

В том, что говорил Учитель, была истина. Он говорил нам новые вещи, но они были скучны, не было огня в его речах. Ему не хватало приподнятости настроения, и его речи были истинны, но тусклы. Мы спали, и Учитель спал вместе с нами, но тайная боль угнетала нас. И мы ждали ночь, которая должна разбудить нас.

Нам и до этого случалось собираться. Мы собирались вечером, когда некуда было пойти. От пяти до одиннадцати вечера движение времени приобретает особый характер: исчезают события, время обнажается. Мы почувствовали ужас времени. Нас было двенадцать, учитель тринадцатый. Мы не знали, как его зовут, мы звали его просто Учитель, учитель чистописания из фабзавуча. С ним что-то случилось раз — он говорил, что потерял своих знакомых. Разве это может быть? Еще говорил он, что у него тоска по душам. Впрочем, все его речи были скучны и унылы.

Мы не были приятелями, мы не любили друг друга. Но что же нам было делать? Нас угнетало время.

Но что это? Испугались мы. Что еще за дурак там кричит? Это был Учитель.

— Все ли благополучно, все ли благополучно,— восклицал он, хватаясь за голову.

Он вполз в комнату прихрамывая, его походка парализованного раздражала нас. Вывернутые ступни ног или одна нога короче другой? Чего же он тащится с такой поспешностью? Почему не ходит на костылях? Уж лучше бы отрезал себе короткую ногу и поставил деревянную. — Что ты там бормочешь? Что шумишь? Что тебе надо? Приплясывая, вертелся он около стола, голова его шаталась из стороны в сторону. Изо рта текли слюни. Он производил очень нечистоплотное впечатление. Мы были раздражены.

— Нет ли какого ущерба во всеобщем благополучии? Все ли благополучно? — Становилось смешно. — Да тебе-то какое дело до всеобщего благополучия, старый дурак, ты чего волнуешься?

Но Учитель не обращал на нас внимания. Безнадежно кружил он вокруг стола, тягучим, унылым, бессмысленным голосом повторяя: «Нет ли какого ущерба во всеобщем благополучии? Все ли благополучно?» Затем он остановился и, обращаясь куда-то мимо нас, начал так: «Но если к тебе придет человек с того Света, вернется оттуда, что он скажет? А если лицо его будет ужасно и куда-то все смотрит, и его товарищ с того Света, который жил,

может, за четыреста или шестьсот лет до него, а теперь его товарищ, и он тоже смотрит туда же, а я ничего не вижу или боюсь даже посмотреть, но лица их ужасны, что я тогда скажу? Все ли благополучно? Я им говорю: не смотрите так, будьте как все, ничего не случилось, но язык мой заплетается, мне страшно. Ужасно Твое Царствие, Господи, величественно, давит меня, боюсь я. Где же мое место? Величественный дом, обширное помещение, но нет там маленьких комнат. Господь скажет: «Прах земной, ничтожество, глина, из которой Я вылепил сосуд, можешь ли рассуждать, знаешь ли, что хорошо, что плохо, начало и конец вещей?» — Все хорошо, Господи, и премудро устроена Вселенная, но вот, мне холодно и страшно, и я боюсь и жмусь у печки, и я хотел бы, чтобы Вселенная была печкой, и мне было бы тепло и не страшно, а теперь холодно, и я боюсь. Я не знаю что плохо и что хорошо, я не знаю начала и конца вещей, и пусть все хорошо, но я, ничтожество и прах земной, ничего не имею и от всего дрожу. Ты мне предоставил Вселенную, но что мне от этого большого и разукрашенного помещения? Нет в нем маленьких комнат, и беспокойно мне».

— Да, да,— закричали мы,— вот чего захотел, старый осел, маленькой комнаты захотел, знаем мы, что это значит, помещение большое, говорит, мне бы маленькой комнатки, и насмешил ты нас, старик, на тебе за это, пей чай с вареньем.

Он сел за стол, взял стакан чая. Варенье, смородиновое — из черной смородины — немного пахло клопами. — Хорошее варенье,— сказал Учитель. — Ну и смешной же ты, старик, сидел бы себе в углу, пил чай с вареньем.

6

Он сидел и думал: к кому пойти. У него была тоска по душам. Но души истощались, души тощали, худели и таяли, и он уже предчувствовал то время, когда останется один в целом свете.

И время это пришло: не к кому было пойти. И час еще не наступил, а не к кому было пойти. И он обрадовался бы теперь самому паршивому человечешке, но откуда его было взять?

И он сидел, подперев голову руками, без мысли, без чувства, без горя, и где-то там вдалеке, в пустом мире, вертелась мысль: откуда его взять?

Учитель сказал: «Не помню, как это случилось, но я остался один. Еще задолго до этого я стал бояться пустоты. И я ходил по знакомым и тихо сидел, стараясь оставаться незамеченным, пока не уходил последний гость. Когда же последний гость уходил, хозяева, позевывая, удивлялись: — А, Учитель здесь, давненько вы у нас не были,— хотя я был только вчера. И тогда наступала томительная минута прощания. К кому теперь пойти? И я шел ко второму и к третьему, если же третий спал и ворота были закрыты, начиналась бешеная гонка по опустевшему городу. И я скитался по опустевшему городу, и выл на луну, севши на корточках, как бездомная собака, и снова бегал, и так до утра.

И тоска по людям все росла. Меня же все меньше замечали. Но однажды вдруг оказалось, что у меня не было больше знакомых, и пойти мне не к кому. Я не знаю, как это случилось, может, забыл адрес? И наступил вечер, и наступила ночь, и я не знал, к кому пойти. Я сидел посреди улицы и валялся в грязи, и тихо выл, глядя на луну, выделявшуюся сбоку на черном небе. И тогда вы меня встретили и подобрали — компания из двенадцати пьяниц и хулиганов...» — Помним, помним,— вскричали мы разом,— ты валялся в грязи и что-то такое все хотел нам рассказать, но мы были пьяны и не могли понять, не то тебя кто обидел, не то ты кого-то обидел, ты все жаловался на что-то и даже грозил кулаком небу, и все время бормотал что-то своим разбитым и хриплым голосом, что-то говорил твой шамкающий рот, и ты как свинья валялся в грязи и что-то хрюкал, а мы весело смеялись, но мы смеялись в последний раз.

— Вы смеялись в последний раз,— уныло повторил Учитель.

— Учитель, Учитель,— молили мы его, — научи нас плакать, научи нас смеяться и кричать. Но Учитель сказал: «Жалкие, как научить тому, чего сам не знаю», — но мы раньше умели,— возражали мы. — Не казалось ли вам только? Воображает человек, что есть счастье и несчастье есть, но нет его — ни счастья, ни несчастья, но глаза закрыты, время позднее, и люди спят, вы

же проснулись, и вас гложет червь раскаяния — зачем проснулись: северная ночь и пустыня, и все умерло. Но лучше ли тем, кто спит, и кого мучит ужасный кошмар? Мы же ответили тихо, прошептали: «Лучше».

Учитель же говорил: «Вынесет ли человеческий желудок суррогат вместо хлеба? Вынесет ли человеческое сердце пустоту вместо чувства? Я хочу сказать, продолжал он, о пустоте в определенном случае, когда у тебя было что-либо близкое и оно изменило тебе, и когда у тебя было что-нибудь близкое и ты изменил ему. И второе несравненно хуже первого. Во втором случае от вещи отделится видимость ее, и останется вещь как первичное свойство — вещь невидимая и неслышимая, как раньше говорили, — голый скелет. Видимость же отделится и улетит, и будет тоска по вторичности и отвращение и ненависть к первичности. Горе мне, горе мне, я потерял свою видимость».

— Эта речь слабовата, — сказали мы, — тебе случалось говорить и лучше. Подумаешь, видимость потерял, да на что она тебе? На хлеб не намажешь, с хлебом не съешь. Есть о чем плакать.

Но Учитель плакал, Учитель плакал горячими слезами. Он жалел себя, жалел свою загубленную молодость. И мы тихо, тихо — тихо, один за другим, осторожно начали подвывать ему: у — у — у, подвывали мы Учителю.

9

Так говорил нам учитель чистописания из фабзавуча. И мы слушали его, затаив дыхание и содрогаясь от Ужаса. Мы представляли себе нашу жизнь, полную бессмысленных наслаждений, тоски и страдания, и нам казалось, что было два человека: манекен, ползавший тридцать или сорок лет свой длинный и скучный путь, и мы сейчас, которые ничего еще не сделали, но только начинали свой путь, тот же путь! — Манекен, которому предстоит еще ползти много лет.

И не было силы порвать время.

— Медленно тянется время, а когда помотришь назад, еще медленнее, — продолжал Учитель, — и охватит вас грусть, и охватит вас тоска. И может, вы многое изменили бы, а скорее всего, отплюнетесь от прошлого. Необходимость его пожрала, необходимость пожрет и настоящее, тоску же никто не пожрет. Сама

смерть ее не возьмет,— спокойным и равнодушным голосом говорил Учитель. Мы затыкали уши, старались его не слушать, мы катались по полу, извиваясь в судорогах, мы кричали и визжали, но его тихий и мерный голос заглушал наши стенания. И мы покорились его скучному и тусклому голосу, мы покорились неизбежности, и сидели мы тихо, как дети.

И сидели мы тихо, как дети, и молчали, и слушали Учителя.

10

— Одна душа есть единственная,— сказал Учитель из фабзавуча,— и летает она по людям от одного к другому, как зайчик по стенам мелькает. И у кого она есть, тот живой, а у кого нет, ходит по улицам мертвый, бездушный, и с женой спит бездушный, и радуется и веселится бездушный, и радости и веселия нет, потому что нет души — душа гуляет по другим людям. И может, раз душа у кого бывает, а у кого и много раз.

Мы же сидели в большой полутемной серой пустой комнате. И была тьма, недостаточно светили две лампы: одна наверху, на потолке, другая на круглом столике. И сидели мы тихо и молчали, и искали свою душу, и гадали, у кого она сейчас,— может ни у кого.

И сидели мы тихо и молчали, как со старой бабушкой сидели мы, с совсем старой одноглазой бабушкой...

1932

О КОНЦЕ СВЕТА

Может быть, он будет приближаться год и обязательно в жаркое время: начнется в июле и кончится в июле. Начнется, возможно, так: из окна или на улице я увижу человека, который ничем не отличается от других, кроме походки,— он идет немного медленнее и сосредоточеннее других. На таких людей всегда обращаешь внимание и сразу же забываешь об этом. Так будет и тогда. Другие его тоже увидят, и обратят внимание, и сразу же забудут, причем здесь не будет никакого чуда, потому что в разных местах он будет появляться в разное время. Когда я увижу его во второй раз, я не удивлюсь, может, даже не вспомню, что уже видел его.

Но через несколько дней я увижу его в третий раз, и тогда, может, мелькнет мысль, что этого человека я уже видел, но затем снова забуду. Такие встречи будут повторяться две недели с 1 по 15 июля. После последней встречи возникнет смутное беспокойство, но затем встречи прекратятся на две недели. В первых числах августа его увидят снова. Первая встреча вызовет некоторое удивление и даже радость, как это бывает, когда возвращается что-либо привычное, но при следующих встречах беспокойство будет расти и перешло бы в страх, если бы 15 августа встречи не прекратились. Бывают такие ощущения, что как только сосредоточишься на них, они пропадают, но только перестанешь думать о них, они снова есть. Так будет с ощущением страха в это время. Говорить об этом человеке не будут, потому что такие разговоры покажутся глупыми, как глупо бывает говорить о слишком смутных предчувствиях и ощущениях. Но по выражению лиц, когда его будут встречать при мне другие, может быть, его будут стараться обходить не задев, или когда речь пойдет о людях, боящихся пространства, мне вдруг покажется, что и другие обеспокоены этими встречами. Но никто не спросит другого, потому что глупо спросить, когда для этого нет никаких оснований: нет ли у вас предчувствия, причем даже неизвестно чего. 15 августа встречи прекратятся, и через несколько дней все успокоятся, только останется некоторая сосредоточенность, немного больше обычной. Но в первых числах сентября встречи снова возобновятся, и при первой встрече появится страх. Но и это еще предчувствие настоящего страха. После нескольких встреч, где-нибудь, где соберется много людей, а может быть, и в каждом доме, кто-то случайно скажет, вспоминая какое-либо событие: это было тогда, когда появился человек, идущий медленно. И вот это будет страх. Человек, который это скажет, остановится, и все поймут, что случилось что-то страшное и непоправимое, и что все это уже знают. Но затем перейдут к обычным делам, и разговор на эту тему будет считаться неприличным, но постоянный страх уже не будет покидать людей. Дальше заметят, что появилось уже много людей, идущих медленно, и будет казаться, что некоторые из знакомых тоже стали ходить медленнее. Может быть, заметят, что и трамваи и поезда идут медленнее, и день стал длиннее. Об этом нельзя будет говорить, но власти, желая успокоить население, будто бы случайно будут сообщать в газетах скорости трамваев,

поездов и аэропланов, которые будто бы даже немного увеличились, также астрономические факты, чтобы доказать, что длина суток не изменилась. Это будет просто останавливание движения, но никакая наука не сможет подтвердить это, потому что и часы будут идти медленнее. Затем станут появляться приметы, но опять без всякого чуда, и такие, что их даже нельзя принять за приметы, например, вода в Неве иногда опускается ниже среднего уровня, но затем возвращается к среднему уровню, теперь же не вернется или вернется, но на несколько сантиметров ниже. Или вечером выпадет сильный снег, а за ночь весь растает. Тут уж будет такое состояние, что малейшая, хотя бы и естественная, неожиданность будет страшной. Весна наступит очень рано, и погода будет хорошая. Март, апрель, май — будет яркое солнце, иногда же дожди, но непродолжительные, пасмурных дней не будет. Но все уже видят, что движение замедлилось, даже птицы летают медленнее, и некоторое благополучие в природе и неблагополучие у людей еще больше увеличит страх: сильнее почувствуется неизбежность. Помимо того, будет пугать предчувствие жаркого солнечного дня и синего неба. Страх дойдет до такой степени, что уже перестанут отличать естественное от неестественного. Затем, уже в начале июня, утром все вдруг увидят, что солнце стало больше. И весь июнь будут стоять жаркие солнечные дни и, если и будут дожди, то только для того, чтобы люди не умерли раньше времени. А в июле случится светопреставление.

1939

Публикация, предисловие и примечания Л. С. Друскиной

Андрей НИКОЛЕВ

Стихотворения

При жизни Андрея Николаевича Егунова (1895—1968), с 1928 года писавшего под псевдонимом «Андрей Николев» (по словам самого Егунова, указывающим на один из истоков его поэтики — стихотворную сатиру XVIII века), его стихи были опубликованы лишь единожды — в составленном Б. Филипповым сборнике «Советская потаенная муза» (Мюнхен, 1961). Думается, это огаревское определение, модифицированное Б. Филипповым, точнее всего указывает как на характер творчества Николева, так и на его место в том процессе, который применительно к большей части жизни Егунова весьма условно можно назвать литературным.

Судьба Егунова (как и судьба его ровесника Бахтина) типична для представителей последнего поколения петербургских гуманитариев: Тенишевское училище, прерванная в начале 20-х годов (когда, по словам современника, «высшая власть разрешала науку постольку, поскольку она приложима к педагогике и технике¹»), блестящая университетская карьера филолога-классика, вынужденные занятия преподавательской деятельностью, кружковая активность, псевдонимные публикации, высылка в Томскую область в 1933 году, депортация в Германию в 1942-м (из оккупированного Новгорода), арест в Берлине в 1946-м, освобождение (реабилитация!) за несколько дней до окончания десятилетнего срока, работа в Пушкинском Доме, выход итогового научного труда «Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков» (М.—Л., 1964), книги, ставшей классической, и жизнь в окружении нескольких уцелевших друзей и появляющихся почитателей из числа любопытствующей молодежи.

¹ См.: Память. Исторический сборник. Москва, 1981 — Париж, 1982. Вып. 5. С. 422.

Литературное наследие, оставленное Николевым, невелико: всю жизнь он писал одну книгу стихов — «Елисейские радости» (около 50 стихотворений), издан и сохранился один роман — «По ту сторону Тулы» (Л., 1931) — «советская пастораль», по авторскому определению, не издан и пропал другой — «Василий остров»; написана, потеряна и восстановлена в ссылке по памяти поэма «Беспредметная юность» (по счастью, первый вариант сохранился в составе переданных в Гос. Литературный музей бумаг М. А. Кузмина; таким образом, существуют две — весьма различающиеся — редакции поэмы).

Возникновение имени Кузмина здесь не случайно: он и Константин Вагинов были ближайшими друзьями и (по)читателями Николеба. Именно Кузмин, Вагинов и Николев (наряду с Ахматовой и Мандельштамом) разрабатывали в своем творчестве некоторые важнейшие элементы «русской семантической поэтики» (установка на «вскрытие и уловление метафизики, таящейся в недрах языка» — из авторского предисловия к «Беспредметной юности», общая историософская модель, в центре которой — античность, тяга к сюрреалистическому — в широком понимании — видению мира), которое — часто «в редакции» работавших (отнюдь не потаенно!) в те же годы Элиота, Кавафиса, Йитса — оказали определяющее воздействие на новейшую русскую поэзию. Хотя иногда (например, при чтении последних вещей Иосифа Бродского) кажется, что не обошлось и без прямых отечественных влияний. К Николеву это относится, видимо, в первую очередь. Подготовленная покойным Г. Шамаковым для сборника «Часть речи» (Нью-Йорк, 1980), посвященного 40-летию Бродского, публикация Николева, возможно, санкционированная юбиляром, — прямое тому свидетельство.

Поэзии Николева не свойственна мировоззренческая динамика, характерная, например, для Вагинова с его периодами отталкивания и притяжения действительности, попытками преодолеть трагическое раздвоение души, рознью с самим собой. Поэтический мир Николева, мир «одушевленнейших предметов и речи неодушевленной», «грешит» отмеченным еще Г. Адамовичем (применительно к петербургской поэзии 1920-х годов) «легким дыханием, легким ощущением жизни — да, легким, несмотря на цензуру, гнет и все остальное»². Ключевой образ, ипостась «осуществленного наяву» Элизиума — Елисейские поля (восходящий, оче-

² «Звено», 1927, 1 августа, № 2. С. 72.

видно, к кузминскому номинативному перечню: «Элизиум, Элиза, Елисей...»), недаром утвердился в заглавии стихотворной книги в несколько оксюморонном сочетании — «Елисейские радости». Эта мрачноватая усмешка (в близкой Николеву среде свойственная обэриутам, а в эмигрантской поэзии заставляющая вспомнить Георгия Иванова и Ю. Одарченко) таит, однако, «мучительность переживаний». Это и составляет сущность творчества Николева, которое, как и всякое истинное творчество (здесь кажется уместным снова процитировать Кузмина), «не может не быть современнойшим, иногда заглядывая в будущее»³).

* * *

Как много в мире есть простого
обычным утром в пол-шестого!
Бог, этот страшный Бог ночной,
стал как голубь, совсем ручной!
Принимает пищу из нашей руки,
будто бывать не бывало былой тоски.
Тикают часики так умильно,
кушая завтрак свой простой, не обильный.
Для еды, правда, еще рановато —
не везде убралась туманная вата,
и трава вся в слезах (твои ли ноги
шли вчера по ней без меня, без дороги?),
и восходит всюду, справа и слева,
то, что всходить должно: солнце и посевы —
и такая свежесть, и так все просто,
будто мы считать умеем всего лишь до ста.

1947—55

* * *

В тот день, когда меня не станет,
ты утром встанешь и умоешься,
в прозрачной комнате удвоишься
среди пейзажа воздуха и стен:
моей души здесь завалилось зданье,
есть лень и свежесть, нет воспоминанья.

1935

³ М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 162. Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность В. И. Сомсикову, любезно содействовавшему в наших разысканиях о Николеве.

* * *

Жать рожь, жать руку. Жну и жму
язык, как жалкую жену: —
простоволосая вульгарна
и с каждым шествует попарно,
отвисли до земли сосцы,
их лижут псицы и песцы...
— Воспоминанье о земле,
о том, как там в постель ложатся,
чтоб приблизительно прижаться.

1933

* * *

Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я был не я и не ты.
О играй мне про рай — на гитаре
иль на ангелах или на мне —
понимаешь? Ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне.

* * *

Что это так, согласен, но
выбор не мал и без запроса —
так предлагает нам земля
заелисейские поля,
туманные, как папираса.
Туда, в простор без измерений!
Там эти счастливые тени,
мои шуты, сержанты, дуры
и им подобные фигуры
твердят бывалым небесам:
Себя достоин будь ты сам,
небытие уж стало былью,
все звездною покрылось пылью,
так скидывай свою мантилью
навстречу ветренным красам.

1936

* * *

Купола, что грудь, набухли
безысходным молоком,
фонари уже потухли,
не мечтая ни о ком,
он надел ночные туфли,
этот город-городок:
лунный властвует поток.

Высунусь и я в окно:
посребренные луною
шпили облака пронзили
да и душу заодно.

Я не знаю, что с луною —
и не лень ей быть иною?
Что это вдали маячит
обращенное спиною?
(не спиною, а спиной,
это ничего не значит,
просто призрак неземной).

1951

* * *

Центр города, центавры на мосту,
уединенные, как на посту в пустыне.
Но ничего, что ночь сошла в долины
и стынет, длинная, и для меня все те же
прохожие, бестрепетные лани,
ведь я не руки простираю — длани,
Кентавр разнообразием хорош:
лик надоест — косматостью утешит,
как пахнет шерстка сном неодиноким;
и хлебом, и дымящеюся миской,
и хлевом, и божественностью близкой
после зеленой скачки по лугам.

1964

* * *

Этот город — раскрашенный переулочек
и домишки, что пирогов требуют,
или по крайней мере теплых булок,—
ах, он и всегда-то был на пол-дороге к небу,
хотя локти, ах, локти бывали полнотелы
у хозяйки, розою что у печки рдела.
Так-то, Русь, сядем, с тобой покалякаем
о заутренях вкусных, о парнях-непокойниках,
о парче на покров, теперь поузористой —
не по-нынешнему мы когда-то плакали.

1941. Новгород

* * *

В стране советов я живу,
так посоветуйте же мне,
как миновать мне наяву
осуществленное во сне?
Как мне предметы очертить
и знать, что я, а что не я —
плохой путеводитель нить,
бесплотная, как линия.
Действительность скользит из рук,
почти немислимый предел
мне примерещился и вдруг
вещественностью завладел.
Гоню математичность в дверь,
довольный тем, что окон нет,—
невинностью она как зверь
и для меня, и для планет.

1956

* * *

Не в комнате, а в Нем одном
(свет запредельный за окном)
сизу и словно каюсь.

Такой-то час, такой-то день —
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.

23.11.1942

Публикация Г. Морева

Иван ИГНАТОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Лишь немногим друзьям и ученикам Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904—1987) — литературовед, специалист по истории русского символизма — был известен как талантливый и своеобразный поэт, писавший под именем *Ивана Игнатова*. Иван Игнатов — не псевдоним в обычном смысле слова. Это, скорее, авторское «я» Максимова, его двойник. Следуя пушкинской («Повести Белкина») традиции *Составитель* (Максимов) как бы отделял от себя *Автора* (Игнатова), называя его (в предисловии к книге стихов) своим «товарищем и бывшим сослуживцем». Интересно, что эта единственная книга Максимова-поэта, изданная стараниями проф. Жоржа Нива в 1982 году в Лозанне, вышла даже не под именем Ивана Игнатова, а под другим — *Игнатий Карамов*, частично аллитерирующим, впрочем, первое литературное имя. «Частность», предумышленная маргинальность, невключенность «домашней» поэзии Максимова в «большой» литературный процесс заставляет задуматься о многом — и не в последнюю очередь о пользе и плодотворности существования «на поверхности» для творчески честного, бескорыстного поиска своего пути — поиска, являющегося фактом духовного развития автора не в меньшей степени, чем развития поэтического.

В известном «Письме Анне Андреевне Ахматовой на тот свет»¹ сам Максимов так охарактеризовал роль стихотворства в своей жизни: «Писание стихов никогда не превращалось для меня в главное дело жизни, способное ее оправдать. История этого писания (громкое выражение!) есть нечто, почти равносильное истории его торможения, в котором экзекутором был я, а подсказчиком и распорядителем — так называемая жизнь. И тем не менее это писание, поскольку оно осуществлялось, не было

для меня случайным занятием, забавой или упражнением. Оно с малыми или большими остановками и одним очень большим перерывом проходило через всю мою жизнь, и я не мог от него отказаться, хотя и не имел возможности печататься (не делал даже попыток)»².

Совершенно очевидно, что творчество Игнатова по своему значению выходит за рамки тех квалифицированных, но малооригинальных и сухих поэтических опытов, которые часто служат дополнением к профессии филолога: напротив, автор отмечал обратное влияние и зависимость своего научного творчества от стихов: «Если бы их не было, я, как историк литературы, был бы другим лицом»³.

Предваряя чтение стихов Игнатова, хотелось бы привести следующее суждение: «Прежде всего бросается в глаза общая непохожесть этих стихов и связанная с нею — особенно при первом чтении — некоторая неуверенность читателя, неопределенность его реакции на читаемое, «неуютность», проистекающая от большой разреженности поэтического пространства... Непохожесть относится к общему впечатлению, а отдельные элементы вполне «похожи», обычны и провоцируют на аналогии. В этом смысле поэзия Игнатова оказывается не «умышленной» и в высокой степени неканонической»⁴.

«Уточняя место» Игнатова в современной ему поэзии, можно отнести его к поэтам, условно говоря, «кузминско-вагиновского» круга. Это не следует понимать буквально: во всяком случае, имя Кузмина не выступает здесь в качестве значимой биографической реалии (в отличие от А. Н. Егунова, Д. Е. Максимов не принадлежал к близкому окружению Кузмина), но, скорее, как и имя Вагинова, с которым Максимов дружил, служит знаком определенной культурной и социально-поведенческой ориентации. Путь, избранный, а вернее, навязанный реальностью 1920-х — 30-х годов кругу *dii minores*, «рукописных писателей» (по слову Э. Ф. Голлербаха⁵), несомненно, близок Игнатову. Это путь трагической, священной языковой игры с реалиями жестокого, рушащегося мира⁶. Оглядываясь на пройденный путь, Максимов (автор классического исследования «Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока») писал, подтверждая вывод Л. Я. Гинзбург о жизненном итоге их поколения («Очень уж не по своей воле биография»⁷): «Когда бы в моей воле и возможностях был выбор, я предпочел бы для себя и других поэзию, которая подчиняется духу гармонии и жизнеутверждения»⁸. В мире стихов Игнатова,

в основе которого лежат классические представления о том, что такое гармония, постоянно присутствуют какая-то болезненная, тревожная нота, нарушающая эту гармонию, глубинный сдвиг. Этот сдвиг проявляется и в «неудобной» стиховой ткани, и в напряженно-гротескной образности стихов Игнатова. Вообще же, по справедливому выводу В. Н. Топорова, творчество Игнатова и вся петербургская поэзия названного круга (к концу 20-х годов уже целиком непечатная) должны «рассматриваться как возможное начало очень значительных явлений в русской поэзии, знаменующих утверждение «альтернативной» по отношению к господствующим направлениям традиции. Но суровое время положило конец этому развитию, и тем ценнее и значительнее поэтический опыт, который представлен стихами Ивана Игнатова»⁹.

С начала 1970-х годов стихи Д. Е. Максимова, переправленные на Запад, появляются в печати (см.: Игнатий Карамов // *Грани*. 1971. № 79; 1973. № 87—88). Изданная «без присмотра» автора книга «Стихи» (*L'Age d'Homme*. Lausanne, 1982) «изобилует грубыми ошибками и искажениями»¹⁰. Незадолго до смерти Д. Е. Максимов держал в руках первую не псевдонимную публикацию на родине — стихотворение «Поэт» (в тексте посвященной 80-летию ученого статьи Ю. М. Лотмана «Поэзия науки»¹¹). Первая в СССР обширная публикация из поэтического наследия Д. Е. Максимова была подготовлена К. М. Азадовским¹². Стихотворения, печатаемые ниже, публикуются нами по авторизованному машинописному своду — *Иван Игнатов. Стихи* — хранящемуся в ОР ГПБ, ф. 1136.

¹ Опубликованном и проанализированном В. Н. Топоровым в статье «Об одном письме к Анне Ахматовой» // *Ахматовский сборник*. 1. Париж, 1989. С. 13—29.

² Там же. С. 21.

³ О себе. Автобиографическая заметка / [Публ. Антонеллы Д'Амелия] // *Euroa Orientalis*. VIII. 1989. С. 573.

⁴ Топоров В. Н. Стихи Ивана Игнатова. Представление читателю // *Блоковский сборник*. IX. Тарту, 1989. С. 36.

⁵ Голлербах Э. *Город муз*. Л., 1930. С. 165.

⁶ Ср.: «Путь петербургской поэзии» — дружественный отклик Аврил Пайман на книгу Карамова, трактующий ее как итог «петербургской поэзии» XX века: *Вестник РХД*. 1983. № 140 (111—IV). С. 151—170.

⁷ Гинзбург Л. Я. «И заодно с правопорядком...» // *Тыняновский сборник*. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 230.

⁸ *Ахматовский сборник*. 1. Париж, 1989. С. 22.

⁹ *Блоковский сборник*. IX. Тарту, 1989. С. 42.

¹⁰ *Euroa Orientalis*. VIII. 1989. С. 577.

¹¹ *Блоковский сборник*. VII. Тарту, 1986. С. 3—6.

¹² *Литературное обозрение*. 1988. № 4.

ОБИДА

Как прожившийся, разоренный,
Отдавший все без возврата,
Так уйду и я оскорбленный
На дно моей горькой утраты.

Опущусь в водоемы глухие
Обиды могучей, непорочной.
Там — воды, слезы людские
Тягу земную точат.

А ты, обиженная тоже,
Травиночка моя, не тужи —
Может быть, тебе еще поможет
Так называемая жизнь.

* * *

Птицы пели на опушке,
На Литейном, у щeki.
Мы давно с тобою мушки,
Дети, рыбки, старики.
Нам тепло с тобою в сетке,
Изучая суть реки.
Твой зрачок поет на ветке,
Остальное — пустяки.
Остальное на аркане
Уведет с собой денек,
Остальное на экране
Затуманит вечерок.

ПОЭТ НА ЛИГОВКЕ

Ходит в городе беда,
Ходят люди вбок,
В ожидании суда
Бредит городок.

А поэту от суда
Избавленья нет —
И ведет его беда
Лиговкой сует.

А за Лиговкой сует —
Лиговка тягот,
И бредет по ней поэт
В поисках красот.

А за Лиговкой сует
Лиговкой скорбей
Пробирается поэт
В поисках людей.

Он растекся от сует,
От скорбей продрог,
Протоптал свой краткий срок
В поисках дорог.

Но на миг из тьмы дорог
В самый черный час
На него наводит Бог
Треугольный глаз.

ПОСЛАНИЕ О ЖАЛОСТИ

Мой добрый друг, мой мнимый друг,
Тебе и плакать недосуг,
А я запутал твой недуг.
Я жалость вырастил в дому —
Она простить не захотела
И в жизнь отверстую мою
Вошла, как бритва входит в тело.
И я не мог ее унять,
Уговорить и укачать.
Когда, мой друг, стояла палка
Одна как перст — мне было жалко,
И тень качалась катафалка.
Когда считал кондуктор сдачу —
Колеса дергались от плача.
Когда собака шерсть лизала —
Мне жалость сердце разрывала.
А обнажалась штукатурка —

Плясала жалости фигурка.
А трепыхалась паутинка —
Тянулась жалость, как травинка.
А если ночь в окно кидалась,
Дождем хлестала — слезы, жалость.

И жалость билась головой,
Звала, звалась к себе домой,
Стучала в двери (зов пустой!),
И окружала нас как лес,
И возносилась до небес,
Чтобы прильнуть без мысли и глагола
К рукам беспомощным в безмолвии Престола.

...Что делать нам, мой друг, с тобой
Под зов глухой в беде ночной?

* * *

Щипцы нацелив, пустота
К тебе ползет из дыр...
(Не бойся: эта ночь — не та,
И этот дом — не мир).

Но эта... Но жгучий глаз,
Набухший подозреньем,
Ночной неистовый рассказ
И похоть с угрызеньем.

И эта проволока душ —
Игра в мозгу титанки —
Пустая смерть, которой туш
Играют лесбиянки.

И сочлененья и крючки...
(Но этот дом — не мир,
В котором Дух надел очки,
Но не закончил пир).

И шляпки, щетки на полу
В чудовищном алькове.
И та зажавшая иглу
С петлею наготове.

* * *

Собака плачет на погосте,
Чтоб ты не плакала в углу.
Таков закон. Его ты знаешь.
Так почему же, почему
Свои глаза ты растравляешь
Бедою черного огня?
Да ты, красавица, бесстрашна,
Но и тебе — не утайшь —
Так хочется, так хочется при жизни
Гадать о том, что смерть находит
В дому пустом, в углях пустых.

ДОН-ЖУАН

Не ты ли, Дон-Жуан, свой посох потный
Хотел у врат Севильи положить,
Но горб эфирный твой до неба воспаряет,
Кровей сгущенье как перенести.
Не перенес,— и милая сквозь слезы,
Зовя как милость друга в вечеру,
Ему свой пояс протянула скромный,
Когда любовь предстала перед ней.
И друг на склоны дня ее уводит
(Не Донну Анну — бедную мою),
Там как трава его подруга бьется,
Не ветви — косы по земле сырой.
А темной пеной бедра уж клокочат,
Поголубели руки как ручьи,
И знает он, до слез покорно тело,
Но в обладаньи грусть не превозмочь.
И кажутся — тягучесть губ отверстых,
Женоподобных пальцев трепетанье
И сладострастьем согнутый хребет —
Лишь лучезарной радугой ему
В сверкающем мозгу под черепом хрустальным.

* * *

Прекрасной жизни мне досталось
Непостоянное наследство.
Она поднялася, как старость,
И опускается, как детство.

Все безраздмней сердце зреет
И награжденье постоянству
Уж близко. Отступает время
И начинается пространство.

* * *

Товарищи мои, собаки, кошки, птицы,
Домашние и верные мои.
Пусть жизнь исчерпана и горю нет границы,
Я буду с вами в темном забытии.

Весь день кружиться в этом мире лютном,
Тяжелым шагом мерить черный путь,
А вечером в истоки жизни мутной,
В уют животный томно заглянуть...

И в час возмездия, подушками казним,
Когда потянутся бессмысленности рачьи,
Я буду вспоминать глаза собачьи
И лапы жать товарищам моим.

ПАМЯТЬ

Крупинки памяти, я не отдам вас даром.
Когда беспамятство разверзнет зев,
Ему ответчу я ударом на удары,
На гранях памяти не онемев.

Я в память памяти спою пустую песню,
Чтоб шепот памяти еще услышать мне,
Полузабывшему в пещерах неизвестных,
Полусгоревшему в ее огне.

В утробах памяти чудовищной вселенной
Мое не предусмотрено житье,
И кто найдет ее в душе нетленной,
В ее безмерных снах ничтожество мое!

Но уходя в ее глухие реки,
Последней памяти я сберегу глоток —
Молчанье глаз твоих, беспамятных навеки,
И сбившийся назад поношенный платок.

Публикация Г. Морева, В. Шубинского
и И. Вишневецкого

1

2

3

+

Сергей ВОЛЬФ

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Среди зеленых свечек,
Подняв свои усы,
Сидит в траве кузнечик
И смотрит на часы.
Часы висят на ели,
Их стрелки из смолы,
Они выводят трели,
Они темнят углы,
Они смущают травы,
И, завершая круг,
Седой и величавый
Обходит их паук.
Сидит кузнечик в травке,
И, лапками суча,
Он слышит, как канавки
По камешкам журчат,
И, растопырив усики,
Он в сумраке лесном
Ползет-ползет на пузике
Купаться перед сном.
Часы закрыл листочек,
Натикались вполне.
Паук, спокойной ночи!
Кузнечик спит на дне.

* * *

Лежит в траве большой зеленый лист,
Который сбил лихой мотоциклист,

Валяется его зеленый шлем,
Лежит он сам, распластан, тих и нем,
В его больших, зеленых волосах
Стоит кузнечик мертвый на усах,
Стоит в траве пришедшая коза
С замшелым рогом,
Плоским как коса,
Журчит ручей,
Качнулся стебель ржи,
Растущий неподвижно из межи,
И гнутый шлем, как круглый котелок,
Приток ручья куда-то поволок.

Ах, сколько невозможных выходных
Провел он среди газов выхлопных!
И скольких нимф он скоростью косил
И, уже робких, в город привозил
И приводил в свой сумрачный уют,
Где винтики и гаечки снуют.

Стоит коза, качаясь на ветру,
Зеленый лист совсем увял к утру,
Шлем утонул,
Кузнечик пересох,
И стебель ржи ушел в сухой песок.

А он летит, преодолевая боль,
Лубую скорость превращая в ноль,
Да так, что пух недвижных тополей
Летит быстрее, быстрее, быстрее...

* * *

Р. Ч.

Два фонаря горят в окне,
Или в окно,
Вся комната в немом огне,
В немом кино.
Вторжение чужих лучей
Не тронет глаз,
Но отголосок тех ночей
Жив и сейчас.
И паутина в уголке
Дрожит слегка,
Рисую знак на потолке
От паука.

И тот стакан, и тот графин,—
Собой — грифон,—
И затвердевший парафин
Твоих времен.
Все сверхнадежно и мертво —
Литой узор,
Но голос слышимый его,
Как скрип рессор,
Как продолжение дорог...
Пусты лучи,
И оттиск твой в подушке строг,
Хоть в крик кричи.
По небесам за шагом шаг
Витает тень,
И шопот твой в моих ушах —
Вчерашний день,
И вмятый шорох за стеной —
След губ твоих,
И легкий ветер за спиной —
От нас двоих,
И этот ветер, и окно,
И свет немой
Твердят одно: ах, как давно
Ты здесь со мной.

* * *

Лунного затмения полоса,
Обалдевших чаек голоса,
Крик унылой жабы из овса,—
Вот и все, что обломилось мне,—
Оселок замшелый на окне
И овцы прозрачные глаза.

Полустон вращения Земли,
Полусон моллюска на мели,
Слизь плаценты, шарканье туфли,—
Вот и все, что обломилось мне,—
Паучок с письмишком на стене,
Полукуры — полужуравли.

Высушенный крестик в небесах,
Две тычинки, пестик — на весах,
Храм мой — псевдовестник — весь в лесах,—
Вот и все, что обломилось мне,—
Коврик в клетку — тенью на луне,
Две слезы — на зыбких полюсах.

* * *

Восход не смял закат,
И пауза была
Заметна глазу, внемлема дыханьем,
Серп тонкий, как ухват,
С ничтожной вспышкой зла
Легко сменился солнца трепыханьем.
Но скудный пласт серпа
Висел еще полдня,
Скупой души меняя освещенье,
Была вода ряба
И гнала на меня
Останки прошлогоднего смущенья.
Что спугал я в тот миг,
Запястье сжав твоё,
Так, что мое внезапно посинело?
И всплыл утиный крик,
Переходя в нытье,
И треснувшая ветка поседела.
Мы были под водой,
Касаясь грудью дна,
Ладонь твоя — спины моей касалась,
И угол дна крутой
Был бездною сполна,
И ты мне вдруг уснувшей показалась.
Уснувшей в иле дна
Без плача и надежд,
Лишь рябь воды и полумесяц зыбкий,
И ты лежишь одна,
Всплывает клочок одежд —
Усмешки слабый след, или улыбки.
Потом мы шли тропой,
Завинченной в кустах,
Серп силу набирал, несомый мглою,
И вился над тобой
Твой холод и мой страх
И возвращался плавною иглою.

* * *

Воистину — на небе есть уют:
То облачко, то вихрь, то комета,
Пыльца звезды, пронзающая лето,
И девочки бескрылые снуют.

Клочок строки в воздушной суете
И краб подвальный на кошачьих лапах —
Не свой имеют, но небесный запах,
А слабый мозг их спутал в простоте.

Перчатки облетевший лепесток
И с глазом глаза соприкосновенье,
Конечно же — небесные явления,
Не хуже, но похлеще, чем цветок.

Не вздумай обратить нескромный взгляд
На слабенькое светоизлученье,
Не нарушай небесное течение:
Того гляди — из пушек запалят.

Довольствуйся — на небе есть покой,
А остальное — бог нам обеспечит,
Он бисер метит и улыбки мечет
И машет ослабевшею рукой.

* * *

Душа моя, закатанная в кокон,
Не липни к стеклам, не ютись у окон,
Через оконной клетки переплет
Прожмись наружу клоунским усилием,
Дай распушиться проржавевшим крыльям,
Даруй мишень тем, кто стреляет влет.

Душа моя, комарик мой полночный,
Барометр застылый и непрочный,
Взлети под фонари, под облака,
Дремотный локон встретится едва ли,
Зато увидишь сверху, как в подвале
Скрипит перо седого двойника.

Дума моя, забудь его восторги,
Пугливый лучик взгляда из-за шторы,
Унылый риторический размах,
Коснись звезды, отпрыгни от кометы,
Их ось — одна, точнее нет приметы,
Песок небесный скрипнет на губах.

Душа моя!
Мой ангел невесомый!
При прочих равных — по небу несомый

Усилим невысказанных слов,
Не бойся звука булькающей дробы,
Рискни коснуться инородной крови,
Межзвездной речки, выпавшей из снов.

* * *

О. Юрьеву

Магнитными пластами
Сокрыта пыль земли,
Мышиными хвостами
Всю ночь ее мели.
Забавы рисованья
Творцу не по нутру —
Горообразование
Закончилось к утру.
По матрицам нирваны
Без суетной возни
Возникли океаны,
Проталины и пни,
Оразовался иней
И сам образовал
В густой толпе актиний
Яйца большой овал.
Протягивая руку,
Не натруди плечо,
Благослови разлуку —
Еще, еще, еще!
Не вяжется: под сводом
Апраксиных рядов
Двухтыщелетним годом
Отметим меда штоф.
Ледник — не за горами,
Но бродит позади,
Пойдем домой дворами,
Иди, иди, иди...

* * *

Мне на плечо сегодня села стрекоза,
Я на нее глядел, должно быть, с полчаса,
И полчаса — она глядела на меня,
Тихонько лапками суча и семени.
Я с ней по Невскому прошел, зашел в кафе,
Оттуда вышел я немного подшофе,
Она не бросила меня, помилуй бог,
Глядела пристально, сменив лишь позу ног.
Нечто невнятное влекло ее ко мне,
Должно быть, что-то, привнесенное извне,
Какой-то запах, или спектр волновой,
Или сиянье над моею головой.
Я дал конфетку ей — смутилась, не взяла,
Ее четыре полупрозрачных крыла,
Обозначая благодарность и отказ,
Качнулись медленно и робко пару раз.
Что делать с нею? Отнести ее домой?
Но, вероятно, это ей решать самой.
Просить меня оставить? Но она
Как бы отсутствует, в себя погружена.
Да, способ есть простой прогнать ее с плеча:
Им повести слегка и вздрогнуть сгоряча,
Но вдруг я так необходим ей, что она
Подобным жестом будет сверхпотрясена?
...Сиди, убогая! Войди со мной в метро,
Проедь бесплатно, улыбнувшись мне хитро,
Кати на дачу ты со мною, или в бар,
В немой взаимности — мы лучшая из пар,
Когда расстаться нам — решишь ты все сама,
Быть может, нас с тобою разлучит зима,
Или внезапное решение,
Тогда
Рубашку скину я, быть может — навсегда.

* * *

Окно раскрыто в сад,
Сад обращен к волне,
Вода — сера и по краям мелеет,
Господствует пассат,
Две птицы в вышине,
Одна — кричит, другая просто млеет.

Два кресла у окна,
Одно — по сути — стул,
Другое — вид старинного качала,
Обвисла бахрама,
Пассат салфетку сдул,
Но обмотал вокруг тела одеяло,
И сделалось тепло.
Но можно в сад шагнуть
И у воды качнуть ногою лодку,
А можно взять весло
И лодку оттолкнуть,
Отплыть и прокричать, шлифуя глотку.
С воды скривленный дом
Вдруг кажется дворцом,
А силуэт в кустах — зерном удачи,
Но в воздухе пустом,
Кольшимый творцом,
Доносит из куста чужие плачи.
Мелькнул унылый лик,
За веками — слюда,
Течение раскачивает мили,
Промчался солнца блик,
Шарахнулась вода,
И облака над скрытым домом всплыли.
Рука лежит в руке,
И та, и та — моя,
И кто-то киль царапает под днищем,
Явилась в парике:
«Ну вот, а это я,
Довольно быть покинутым и нищим».

Леонид **МЕЖИБОВСКИЙ**

ВЗРЫВ КРОЛИКА

... И меня, изнывающего от милитаристских позывов, отравили спать. Во дворе с пацанами я имел достаточно, чтобы смирить их, но сейчас это были совсем другие, особые ощущения. И мне пришлось в одиночку бороться с их произволом. Я нашел, как подавить его.

Из подушек, валиков, кубиков и одеял в голове постели и по бокам, и в ногах я возводил укрепления и, схоронившись за ними, вел боевые действия. Выставив короткоствольный автомат, я палил без промаха и наверняка. Если же несмотря на это противник наглед и зарывался, я успокаивал его кротким движением кисти левой руки, славшей ему гранаты. Под них были приспособлены плюшевые медведь, хорек и кролик. Они плюшево плюхались на пол и разлетались шрапнелью, а я как бы так пукал губами, фиксируя разрыв. Автоматную пальбу я тоже выдавал губами, но в другой тональности и темпе. Иногда я отдельно производил шрапнель, но другим местом. Чтобы темнота не мешала мне, я завел подзорную трубу с лампочкой, и все перемещения противника были на ладони. К тому же, располагался я не на возвышенности, удобство и польза которой для войны и последующего отдыха известны.

Едва врагам удавалось привести в порядок свои ряды, как мои контрмеры наводили у них мой порядок. И либо они тихо погибали, либо благоразумно сдавались на милость моей милости. А самые предусмотрительные прятались по кустам и сочиняли капитуляции. Я не злоупотреблял положением державы-победительницы. И, насладившись в конце концов превосходством своего превосходительства, против прежнего уговора смягчал условия. Хитрым ялтам и потсдамам в моей кровати не было места.

Все свои действия я обсуждал с вышестоящим командованием вплоть до генерал-фельдфебельмаршала. Или — генерал-фельдмаршалфебеля, точно не помню. И все без исключения они получали добро и были отмечены специальными указами. Утром, пока я мирно досыпал во всеобщем мире и довольствии, их зачитывали по всемирному и всевойсковому радио. Телевизора у нас тогда не было, и я не знаю, может, и он освещал меня. А однажды генерал-фельдмаршалфебель ради меня спустился с серояблочного коня, пожал геройскую длань, облобызал меня трухлявыми губами и наградил золотой шоколадной саблей. Случилось это под Новый год — после того, как я невероятно отличился. Утомившись легкими одержаниями верха, я дал противнику фору — закрыл глаза и связал руки, чтоб быть не очень скорым. Его ничто не спасло.

Но и мне не помогла эта победа. Ибо вскоре не без участия соседских лазутчиков моя карьера кончилась. И я так и не успел получить причитавшиеся мне чины.

За легкозвукопроницаемой, как выяснилось, стенкой моей комнаты жили муж и жена, старички. К тому времени, как я открывал очередную кампанию, они давно засыпали. И последние месяцы наутро они регулярно жаловались своей дочери, что ранней ночью им снятся кошмары. Такой ужасности, что они даже покрикивали в ответ и потели без продыху. Так без продыху, что ко мне просачивались под плинтусом соленые капли. А я-то принимал их за неизвестное мне тайное оружие. Ужасно им было и страшно. В особенности, когда на них пикировал ночной бомбардировщик или между их кроватями разрывался фугасный снаряд и обдавал их волной. Спикировав а разорвавшись, кошмары отступали. Но до самого утра растревоженные ворочались и ерзали, по-детски подгребая под себя простыни, будто обороняясь.

Сперва дочь относилась их жалобы на счет возраста, но потом все же обспокоилась от их регулярности и одновременности. И было предположила сговор — ведь в самом деле странно, когда снятся одни и те же сны в одно и то же время. Но потом все-таки подумала и сообразила, что они у нее такие старички, что вряд ли придумают такое сложное.

И как-то, встретив во дворе мою маму, дочь мужа и жены, старичков, поделилась с ней положением и спросила, нет ли знакомого специалиста по ночным кошмарам. Сама-то она спала

в дальней от взрывоопасной стенки комнате. И вообще была здоровенной теткой. Так что, окажись она в ночной близости от меня, — что представить я мог только в наивном, но зато вооруженном детстве, — все мои стрельбы, фланговые атаки и арт- (теперь очевидно — искусство) -налеты слышались бы ей не громче кроличьего чиха.

Специалистом кошмарного профиля мама не обладала. Но она подробнее спросила соседку, сопоставила — будто она, а не я, знала, что делать с добытыми разведкою сведениями, — и решила, что не меньше врача поможет мужу и жене, старичкам. Она объяснила мне ситуацию. Я растрогался: мол, как я ее контролирую. Мама заметила, что они с отцом все стерпят, хотя и сами не раз вздрагивали и затыкали уши, пока я или мои враги (я знаю, кто там у тебя кто и куда ползает) пробирались минными полями. И заключила, что отныне я буду засыпать тихо и мирно, как это послушно делает огромная страна. Покой мой и так бережется, на границе замбк, ключ надежно под подушкой, и без меня обойдутся. А если мне совсем не вмоготу удержаться от его сбережения, — ладно. Но это не должно отражаться на покое тихих и мирных, как мышки и страна, мужа и жены, старичков.

Мог ли я противостоять неожиданному предательскому напору?! Мог ли я отважиться бросить клич: «Пятая колонна не пройдет!»?! А поразмыслив раскинутыми мозгами, не согласиться с доводами в защиту беззащитных?! Нет, нет и нет.

И мог ли я не почувствовать себя в то же время, с одной стороны, униженным и задетым, а с другой — оплеванным и оскорбленным?!

Потому что кто-то оказался свидетелем моих, предназначенных только для меня и без исключения, дел. (Родителей я не принимал в расчет, полагая их свидетелями само собой разумеющимися и оттого — несущественными). И хотя свидетели абсолютно не разумели, что свидетельствуют, — ведь это я проникал в их сны — через автомат или кролика, — все равно я до слез огорчился. Мама сочла предательскую влагу, проступившую сквозь мужественное мое сопротивление, признаком раскаяния и сожаления и того, что я еще не с головой ушел в войну. И поняла, что проблема ночной жизни мужа и жены, старичков, исчерпана.

Потом я немножко вырос. Автомат, медведь и прочие причиндалы немножко утратили свою актуальность. И я перестал

ими пользоваться даже по назначению. И лишь однажды я вспомнил про кролика...

И потом так случилось, что муж и жена, старички, долго и мучительно угасали. Я вынул из подозрной трубы стекла, и она стала слуховой. Я прислушивался к ним. Капала капельница, в шприце ходил поршень, их дочь плакала. Она была большой женщиной, и в ней было много слез. Они просачивались ко мне, а я не знал, что с ними делать. Еле слышно о н и жаловались на боли и страх — другой, чем прежде, и говорили, что им бы очень хотелось, чтобы э т о произошло во сне.

О ПОМИДОРАХ

Звонят долго и часто, как будто точно знают, что в квартире кто-то есть.

А был только я, убежденный родителями в том, что они очень дорожат мною и что если я открою неизвестно кому, то: меня могут похитить, квартиру ограбить, а меня как свидетеля... дом спалить, да и мало ли еще что может приключиться.

Был я в меру запуган и не в меру любопытен. И каждый звонок вызывал у меня множество догадок о звонившем. Но я оставался стойким и не поддавался искушению открыть. Я придумал игру — после такого звонка загадывал, кто бы это мог быть, и держал себя с ним так, как если бы и на самом деле он был и я бы на самом деле его впустил. Надо сказать, что репертуар мой ограничивался героями книг, которые я читал.

Я не любил обманываться, а это случалось, когда я все же открывал. И однажды вместо богатого дядюшки из Америки передо мной предстал почтальон с извещением о смерти отдаленнейшей родственницы из Кишинева. А в другой раз, не помню — то ли Большим Гансом, то ли крысой,— оказался управдом, зазывавший на субботник.

Звонок делает паузу, а затем продолжатся. Я уже знаю, кто пришел, хотя Черный Джек не появляется днем; может быть, думаю я, для меня он сделал исключение.

О помидорах

Мне кажется, звонок начинает хрипеть от натуги. И я не выдержал. Подошел к двери и сдавленным, волнующимся голосом пискнул:

— Кто там?

— Это, я,— отвечает мне Таня, живущая этажом выше.

Я распахиваю дверь. Таня медленно отлепляет от кнопки палец и спрашивает:

— Что не открывал?

И я сдавленным, но уже от разочарования, голосом буркнул:

— Занят был.

Таня — большая красивая сорокалетняя женщина — знает меня с пеленок. И я, наверное, по праву тех моих пеленок говорю ей «ты» и называю по имени. И потому могу позволить себе быть не очень вежливым.

— Извини, если занят,— сказала она,— а на Турмалиновской помидоры есть, и я очередь заняла, и для тебя тоже. Но если ты занят, то о чем говорить?

Но захотелось мне помидоров, и я сказал:

— Я пойду, конечно, раз так.

— Вот и прекрасно,— обрадовалась Таня,— хоть не одной стоять, а денег я тебе дам, только сетку возьми.

Идти до Турмалиновской три квартала. И пока мы шли, я рассказывал Тане о том, что занимало меня в последнее время.

Мне представлялось, что я, все окружающее и все происходящее существует во сне некоего великана. Он лежит на горе, расположенной где-то за экватором, под огромным деревом и оттуда все видит — и далекое, и близкое. Но видит не потому, что у него замечательное зрение, а потому, что ему все снится. Абсолютно все.

Таня думала о чем-то своем, но улавливала и то, что я говорил.

— И что же дальше? — спросила она.

— А дальше он может проснуться, и тогда все исчезнет.

— Что все? — не поняла Таня.

— Все. Люди, птицы, река, обезьяны в зоосаду, город, митохондрии и амфибии,— объяснил я.

— А помидоры что? Тоже исчезнут? — испугалась моя спутница.

— Конечно.

Мы сделали еще несколько шагов, Таня внезапно остановилась, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Пойдем скорее.

Она схватила меня за руку и потащила за собой. Я не поспе-вал, и мне приходилось бежать. Один раз я оступился и повис на Таниной руке, как тяжелая от помидоров сетка. Таня, не останавливаясь, поставила меня на ноги, и мы побежали еще быстрее.

Мы не успели.

О МОЛОКЕ

Однажды мне поручили покупки. Ближайший гастроном помещался на центральной улице. По благорасположению городская газета именовала ее артерией. В полуденный час город вымирал, и артерия выглядела сонной.

В магазине оказалось людно и шумно. Я понял это так, что каждый делал свои гастрономические дела в час, когда другие якобы таких дел не делают.

Я пристроился к последнему завитку очереди. В сумке утешающе позвякивали пустые молочные бутылки. От нечего делать я пересчитал очередь — сперва от конца, затем от начала. Числа не совпадали, ибо она уменьшалась. Я тщательно изучил сооруженную в витрине крепость из консервных банок. И нашел немало промахов в фортификационных представлениях продавщиц. Вертушка у входа лениво обращалась вокруг выходящих. Мне оставалось только смотреть им в спины и представлять себя на их месте.

Внезапно представление прервалось появлением трех необычного вида мужчин. Необычность их заключалась в широких черных полосах на лицах. Я не сразу сообразил, что это всего-навсего вырезы из чулок. Положение прояснилось, лишь когда они достали из-под пол осенних пальто короткие ружья. Один из них скомандовал: «Ложись! Быстро!» — и крутанул пальцами ружье. Очередь повалилась на грязные цементные плиты дружно, как сбитая ловким ударом. Кто-то задел локтем мой нос, и из него выпала капелька крови. Я успел подложить себя под мои бутылки и этим спас их стеклянные жизни...

Кассовые ящики отщелкали свое. На улице затарахтела машина. Очередь подняла глаза, поднялась и сама. Она долго еще не могла отдышаться от страха, но задвигалась проворнее. Высокий парень передо мной не без сожаления сообщил, что чулки все же приличнее жинщинам, нежели мужчинам. А согбенная старушенция невпопад отвечала, что с чулками нынче, слава богу, свободно.

О МУЗЫКЕ

В восемь лет меня решили определить к занятиям музыкой. Родители не предполагали для меня музыкального будущего. Они думали только о заполнении моего времени гаммами и сольфеджио. Сама музыка не очень увлекала меня, но за этими непонятными терминами мне виделись тайны. И музыка могла быть ключом к ним. (Ключей же оказалось два: один — мелодичный, другой — серьезный и насупленный. Но воспользоваться ими мне так и не пришлось.) К тому же, среди школьных моих товарищей я был единственным, кто не играл. И я отвечал на этот важный в пользу музыки аргумент решительным согласием на занятия.

Я выбрал фортепьяно, потому что только его не было в арсенале моих приятелей. Возглавлял их скрипач по фамилии Карасев, взъерошенностью напоминавший гвоздику. Струны стонали под его короткими пальцами, а смычок старательно тянул свою мелодию. Во время игры глаза Карасева самозабвенно выпучивались и грозили покинуть орбиты. Я завидовал ему. Конечно, я не хуже мог тарачить глаза. Я умел еще в критические минуты шевелить ушами, правда, у окружающих мое умение вызывало брезгливое любопытство. Нет, мне было обидно, что его скрипка помещалась в похожем на половину бабочки чемодане, а мое пианино казалось мне бородатым.

И вот прослушивание... Я еще не успел как следует поволноваться, но ноги были пустыми и не сгибались. Меня привели в класс, где за колченогим роялем сидел толстый пожилой человек. Мама сказала неуверенно: «Вот», — присела на краешек стула и

стопочкой сложила руки на коленях. По комнате слонялись какие-то мальчишки и внимательно разглядывали меня. Пожилой человек подошел, дотронулся большими теплыми ладонями до моих ушей, которые, словно сопротивляясь, задвигались и развернул меня. Пробурчал себе что-то под нос и сказал: «Начнемте-с».

Он вернулся к роялю и стукнул несколько раз по клавише, раскрыл обширный рот и протяжно вывел очень высокое «о-о-о».

Я смутился. Такой солидный дяденька с «эс» на конце, и вдруг нечто невероятно смешное и нелепое. Мальчишки замерли и уставились на мой рот. Очевидно, они ждали оттуда такой же нелепости. Но я решил, что просто так меня не проведешь, что пусть они вместе с ним, теперь уже неинтересным мне, смеются над кем-нибудь другим. Я весь подобрался и очень важно, чуть ли не басом сказал «О-О-О». И этот мой звук был грозным и вызывающим. Учитель всплеснул руками и повторил его. По грустному лицу моей мамы я понял, что с музыкой кончено.

На другой день Карасев назвал меня «медведь-с» и был бит своим же смычком.

О ДОБРОДЕТЕЛИ

Пожарная машина приезжала ко мне дважды.

Как-то родители оставили меня одного в квартире. Я забрался на подоконник, прижался всем телом к стеклу и стоял так. Я смотрел на улицу, на дождь, и мир казался мне огромным и хмурым. Я же, распростертый на стеклышке, казался ему, должен быть, маленьким мальчиком. Так нам казалось, и я не подозревал ни о какой опасности. А она, между тем, подступила к такому же, как и мое, окну в доме напротив. Из него высунулась соседка — женщина сердобольная и крикливая. Она увидела меня и испугалась за меня и за прочность стекла. Испугалась так, что ее челюсть упала и скрылась в массивном втором подбородке. Тетенька решила спасти меня от неведомой мне беды. Она позвонила в пожарную часть, и оттуда прикатила красная, распаленная предстоящей работой машина, ее лестница нависла над дорогой, как хобот.

Пожарники раздвинули лестницу и устремились ко мне. Самый ловкий и быстрый добрался первым. Он укрепился на карнизе, как голубь, и постучал. Очевидно, он хотел проникнуть в квартиру. Но я вежливо объяснил, что я один и что мне велено никому не открывать. Он настаивал. Тогда я достал из кармана брызгалку и погрозил ему. Он вспорхнул и исчез.

Вечером я с видом Геркулеса с картины Сакко Ванцетти рассказывал родителям о моей победе. Но они совсем даже не радовались ей. Соседка устроила им скандал по поводу беспризорных детей и обещала этого так не оставить.

Она без устали следила за квартирой и выискивала поводы, чтобы так не оставить. И находила их в моих развлечениях. А их было-то всего два.

Выпросив у мамы копеечные монеты, я любил бросать их с балкона под ноги прохожим. Я наблюдал, сколько из них заметит мои копейки и сколько из заметивших наклонится за ними. Попадались и гордые. А соседка говорила родителям, что моя расточительность их когда-нибудь погубит. Но они оставались спокойны.

Второй моей страстью были спички. Я сжигал их во множестве, но сжигал не как-нибудь, а находил всевозможные комбинации их расположения при горении. Заодно я уничтожал уже ненужные мне мелкие игрушки.

И как-то на очередной мой жертвенный костерчик на балконе в теплый летний вечер явился мой знакомый. Он оценил ситуацию и по-простому, не беспокоя своей лестницы, вошел в подъезд. Он поднялся к нам и имел долгий разговор с моим отцом. Он составил акт и чинно удалился.

Происшедшее заронило в моих родителях сомнения по поводу будущего. Последовавшая экзекуция явилась нашим поражением перед соседкой — моим ангелом-хранителем.

ОБ ЭНДШПИЛЕ

Партия томилась в долгом и глубоком, как океан, штиле. От энергичного поначалу течения ее остался едва заметный след —

такой гольфстримчик у финских берегов. И я уже предвидел недалекий ее конец, когда течение замрет и поглотит ее. Но пока оно еще влекло ее, и она описывала круги — они отражались на доске маневрами вымученными и бесполезными. Фигуры управлялись более капризами, чем хитроумными расчетами их водителей и перемещались редко и медленно. Отдельные разрозненные ряды делали вид обороны по флангам. Атаки противника расстраивались перед оголенными куртинами. Регулярные по замыслу части приобретали большое впечатление от собственной нерегулярности. Одни участники коллизии были устроены весьма воинственными и время от времени проскальзывали меж краями, не найдя иного случая проявить себя. Другие не вышли ростом и званием и не двигались вовсе или, уже совсем сморщившись от скуки, бросались под тяжелые ноги слонов. Кони в курбете — единственном на их веку — сходили с дороги. Королевы стыли в прохладе и улыбались томно близстоящим без роду и племени. Короли жались по углам под охраной нескольких жертвенных пешек и не чаяли дожидаться своего часа (короны послетали с них еще при деде моем, игравшем нещадно). Часы дурно скрипели и вращали стрелками неистово, как крыльями мельница. Флажки давно уже пали, сдавшись на милость.

Старинная — на ножках и с ящиком-арсеналом — доска во время московского пожара потемнела. Потом она была раскрашена неким любителем акварели: белые поля — белой, черные — синей. И я на этом бело-синем, как греческий флаг, поле, путаясь и увязая в гамбитах и эндшпилях, был беспомощен.

Мне тогда было лет шестнадцать — возраст, еще располагающий к попыткам преодоления замкнутости, которая так беспокоит родителей. Может быть, поэтому и выбираю я игру для двоих. Но играю я сам с собой, и это кажется мне похожим на привычное общение с моим двойником: во мне же и существующим.

...Рывком я встаю, подкладываю в костер несколько поленьев. Ноги от долгого сидения затекли, и теперь дремавшая в них сила ноет и затрудняет передвижения.

Фигуры размещены в исходных боевых порядках. Я ставлю доску над костром. Они теряются перед незнакомым оружием, но храбрятся и потрескивают. Доска прогорает, лишая их последней опоры.

Внизу под откосом озеро — внимательный рыбий глаз, застрявший в складке земной поверхности — отражает сполохи огня, объединяется с противоположной стихией.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Однажды утром в одном дворе, в одном городе, в самом центре России, встретились два человека. Два пана встретились. Один пан — высокий, а другой пан — толстый. Обрадовались паны встрече. Здоровья друг другу пожелали.

И спросил пан, тот, что высокий был, у пана, который толстый:

— А не знаете ли вы, любезнейший, что такое волчок?

— Волчок, почтеннейший,— это просто-напросто юла,— ответил толстый пан.

— Нет,— возразил высокий пан,— кабы это была юла, я бы и сам просто-напросто знал и вас бы не спрашивал.

— Тогда,— толстый пан задумался, а задумавшись открыл рот, потом закрыл, и еще думал, и сказал: — волчок — это волк, который еще маленький.

— Нет,— сказал высокий пан,— кабы это был волк, который еще маленький, я бы и сам знал и вас бы не спрашивал.

— Тогда я не знаю,— сказал толстый пан.

И паны — и тот, который высокий, и тот, что толстый, замолчали. Первый молчал грустно, а второй молчал из вежливости.

И потом сказал вежливый пан грустному пану:

— А почему вы у меня спросили?

— Я у всех спрашиваю,— ответил высокий пан,— у всех без исключения спрашиваю. Вот и у вас спросил.

И тут во двор вышел еще один человек. Еще один пан вышел. И не высокий, и не толстый, а красивый был тот пан.

И сказал он панам — и тому, что грустный, и тому, который вежливый:

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте,— сказал высокий пан.

— Здравствуйте,— сказал толстый пан.

И замолчали паны. Один молчит грустно, другой молчал из

вежливости, а третий молчал, потому что молчал. Молчаливый был. Затянулось молчание.

И сказал тут толстый пан:

— А не знаете ли вы, дорогие мои, как в «морского» играть?

— Наверное, уважаемый, для «морского» море надобно,— предположил красивый пан. — Будет море — и сыграем.

— И не только море, а и кости нужны. Чтобы знать, кому водить,— добавил высокий пан.

Толстый пан задумался, а задумавшись открыл рот и забыл его закрыть. И сказал:

— Нет, не то. Потому что в «морского» не так играют. Я знаю. И море не причем, и кости не причем. Не то все это.

И снова было замолчали паны.

Но молчаливый пан сказал панам — и тому, который грустный, и тому, что вежливый:

— А не знаете ли вы, светлоликие, такого места, где в огороде бузина, а в саду капуста?

Задумались паны. Не на шутку задумались. И грустный, и вежливый. И высокий, и толстый. И оба рты открыли. От напряжения мысли. Закрыли рты и еще подумали. И еще немного.

И сказали:

— Нет,— сказал высокий пан,— видом не видал.

— Нет,— сказал толстый пан,— слыхом не слыхал.

Опечалился красивый.

И сказал:

— А так хотелось бы мне это место увидеть. Хоть одним глазком увидеть. Хоть краем уха про него услышать.

— Да вы, ясновельможный, не огорчайтесь так,— утешил его высокий пан,— может, и увидите еще.

— Да вы, драгоценнейший, не расстраивайтесь так,— утешил его толстый пан,— может, и услышите еще.

И три пана — и грустный пан, и вежливый пан, и молчаливый пан подумали об одном и том же.

— Давайте,— начал высокий пан.

— Отправимся,— продолжил толстый пан.

— В путь,— закончил красивый пан.

— И найдем такое место, и научимся такой игре, и узнаем, что такое,— сказали все вместе.

И отправились паны в путь. Как сказали, так и отправились.

Что долго думать, если у каждого пана желание было. У одного — одно желание. У троих — три желания. Вместе, — решили паны, — легче желать. Вместе — решили паны — и искать легче. Вот и получилось у панов, что на троих три желания — это меньше, чем на одного одно желание.

Долго шли паны. И видели они такое, что и не снилось. И такое они слышали, о чем и не рассказать. Но не попадалось им ни волчка, ни в «морского» как играли бы, ни огорода с бузиной, ни сада с капустой. Так и шли они. И видели, и слышали, да не то все было. И еще шли. Даже проголодались немножко. А все шли. Упорные были паны. Все, как один, — упорные.

И так все шли.

И вот меня встретили.

— Ты откуда? — спросил высокий пан.

— Я из булочной, — ответил я.

— А что у тебя в сумке? — спросил толстый пан.

— Пряники, — ответил я.

— А пойдем с нами, — предложил красивый пан.

— С удовольствием, — согласился я.

И угостил панов пряниками.

Много мы еще прошли. И еще много чего видели. И еще больше разного слышали. А если все это описать, то выйдет очень длинно. А если все это рассказать, то и того дольше. А если все же описать, так никто не поверит. А если все же рассказать, так тем более. А того, что искали, все не было.

Дошли мы до одного домика. Домик — кирпичный, крыша — черепичная, а черепица — горчичная. А у домика старуха в земле ковыряется. Видом — сморчок, от земли — вершок, голова — крючок, а на ней — колпачок, — такая старуха. И в земле ковыряется. А рядом со старухой — мешок, тоже с вершок, на мешке — сачок, а в сачке — червячок и сверчок. С мизинец длиной червячок и с ноготь размером сверчок.

— Здравствуйте, — сказали мы. И грустный пан, и вежливый пан, и молчаливый пан, и я — уже без пряников, — поздоровались со старухой:

А она нам:

— И я вам рада, — сказала.

— Бабушка, — говорит красивый пан, — вы не знаете такого места, где в огороде бузина, а в саду капуста?

— Видала, голубчик. Коли не слепой, так и ты погляди,— сказала старуха. — Вот, смотри,— и махнула старуха левой рукой на огород, а правой рукой на сад.

— Да нет же, бабушка,— сказал красивый пан,— у вас в огороде капуста, а в саду бузина. А такое я уже видел. Не везет мне все. Вот какой я невезучий,— сказал красивый пан и ударил себя в грудь. Но не очень сильно ударил. Не покачнулся даже.

— Извини, родной, ошибочка вышла,— сказала старуха.— Сейчас поправим,— и махнула старуха правой рукой на огород, а левой рукой на сад.

— В самом деле,— сказал красивый пан. — Теперь все, как надо. Увидел все-таки,— сказал молчаливый пан.

— Повезло, значит,— сказал я.

А старуха вверх руку подняла, и — только я это заметил — все, как было, стало — в огороде капуста, а бузина в саду.

— Бабушка,— говорит высокий пан,— вы не знаете, что такое волчок? Сколько вот живу, а все не узнаю никак,— сказал грустный пан. А ударить себя не ударил. Потому что высокие паны не очень устойчивые.

— Сейчас покажу,— сказала старуха.

И вынула из кармана. И не юлу, и не волка, который еще маленький. А самый настоящий волчок показала старуха.

— Повезло тебе,— сказал я.

— Бабушка,— говорит толстый пан,— мне бы в «морского» сыграть. Может, получится? Я способный, честное слово. Вот какой я способный,— сказал вежливый пан и погладил себя по голове.

— Изволь, милый,— сказала старуха,— садись рядом, сыграем. Даже если неспособный, сыграем.

И сыграли они. Вничью сыграли.

— И тебе повезло, по способностям, значит,— сказал я.

И очень хорошо стало троим панам. И тому, что грустный, и тому, который вежливый, и молчаливому. Да и мне не хуже было.

— Спасибо,— сказали мы. — Самое-самое преогромнейшее спасибо вам, бабушка,— сказали.

— А тебе-то чего? — спросила меня старуха.

Врасплох меня застала старуха. Не подумал я об этом еще. Шел, шел, а не подумал. И паны не подумали. И уж было призадумались они. Чтобы мне помочь. И рты открыли.

А я сказал:

— Мне? Ничего,— сказал я. — Ничего мне не нужно.

— Тогда проходи себе,— сказала старуха. — Нет у меня на тебя прорухи. Ни большой, ни маленькой нет прорухи,— сказала старуха. И махнула рукой туда, где далеко. Я посмотрел. Там солнце садилось.

— У него пряники были,— сказали паны.

Заступились за меня, значит. И высокий пан, и толстый пан, и красивый пан заступились за меня. Верными друзьями они были.

Попрощались мы со старухой.

И обратно пошли. Скоро мы дошли.

А когда путь наш кончился — и панство кончилось. И любезнейшее, и почтеннейшее, и ясновельможное, и светлоликое панство кончилось. И для высокого, и для толстого, и для красивого, и для меня — без пряников — кончилось.

А когда мы вернулись в наш двор, который в одном городе, что в самом центре России, Игорь Петров, Саша Смирной и Ваня Криволапшин-Шейнин стали играть в казаки-разбойники. А я домой пошел. Хоть и верный я друг, а домой пошел. Потому что не люблю — ни казаков, ни разбойников.

ИСТОРИЯ С ИМЕНАМИ

...И я взглянул в зеркало. Внимательно рассмотрел себя — не очень большого, но и не очень маленького. И мне все понравилось. Я еще долго рассматривал себя и заметил, что чего-то не хватает. И руки, и ноги, и голова, и остальное, что положено, — на месте, а чего-то не было все же. Может быть, от напряженного внимания мне так показалось. Я закричал,— и с голосом все нормально. В зеркале тоже закричал, только без звука, но рот открылся исправно. «Наверное, какой-нибудь ерунды не хватает», — подумал я. И отошел от зеркала. Расставил фишки для игры в рыбу. Но потом забеспокоился: «Вдруг эта ерунда всем видна, кроме меня». Нехорошо мне стало. Очень плохо. И я решил разобраться. И придумал — у соседей спросить.

И я позвонил в квартиру № 2. Открыла мне Анна Ивановна.

— Здравствуйте, Анна Ивановна,— сказал я.

— Здравствуй, Саша,— сказала Анна Ивановна,— тебе чего?

— Анна Ивановна, чего, по-вашему, мне не хватает? — спросил я.

— Тебе не хватает послушания,— объяснила Анна Ивановна. Я обиделся.

— Дело не в послушании,— возразил я. — Чего-то другого мне не хватает.

— Слушай, не морочь мне голову,— рассердилась Анна Ивановна. — И вообще, у меня большая стирка.

И я позвонил в квартиру № 3. Открыл мне Василий Борисович.

— Здравствуйте, Василий Борисович,— сказал я.

— А-а, Коля, привет,— сказал Василий Борисович,— с чем пожаловал?

— Василий Борисович, чего, по-вашему, мне не хватает? — спросил я.

— Да ты мужик хоть куда. Хоть пахать, хоть плясать,— ответил Василий Борисович.

— Нет, не то. Мне чего-то не хватает, а вот чего? Я и не пойму никак,— сказал я.

— Я тебя что-то не разберу,— сказал Василий Борисович,— вот тебе крест — не разберу.

— Вы мне ваш крест уже третий год обещаете,— сказал я.

— Ты еще немного погоди,— предложил Василий Борисович,— а сейчас мне не до тебя. Извини, старик.

И я позвонил в квартиру № 4. Там никого не оказалось. Позвонил в квартиру № 5. Мне открыл Генрих Фердинандович.

— Здравствуйте, Генрих Фердинандович,— сказал я.

— Здравствуйте, Анатолий,— сказал Генрих Фердинандович.

— Генрих Фердинандович, а как вам кажется, чего мне не хватает? — спросил я.

— Видите ли, Анатолий,— ответил Генрих Фердинандович,— я специалист по иглокожим. А ваш вопрос не в моей компетенции. К сожалению, я не могу на него ответить.

— Очень жаль,— сказал я, обрадовавшись, что не похож на иглокожего.

И позвонил в квартиру № 6. Мне открыла Мариетта Степановна.

— Здравствуйте, Мариетта Степановна,— сказал я.

— Здравствуй, Ваня,— сказала Мариетта Степановна.

— Мариетта Степановна, как вы думаете, чего мне не хватает? — спросил я. Я уже начал сомневаться в сообразительности моих соседей. Но опрос их решил завершить.

Мариетта Степановна задумалась.

— Это в каком же смысле не хватает? — спросила она.

— В таком, что я на себя посмотрел в зеркало и увидел, что чего-то не хватает,— сказал я.

— Может быть, тебе головы не хватает,— предположила Мариетта Степановна.

— Нет, голова на месте,— сказал я.

— Ты уверен? — спросила она.

— Уверен. Я ее видел,— подтвердил я.

— Что-то я сомневаюсь,— заверила меня Мариетта Степановна. — Слушай, ты же знаешь Петьку Ковалева с огромными ушами. Может, ты такие же хочешь? Так у меня хирург знакомый есть, он в два счета сделает. Хочешь?

— Нет, мне не то нужно,— ответил я.

— Тогда я не знаю, как тебе и помочь,— сказала Мариетта Степановна.

— Ну... — сказал я.

— Иди, конечно — сказала она.

И я позвонил в квартиру № 7. Открыла мне старушка Марья Федоровна.

— Батюшки,— заверещала Марья Федоровна,— где ж ты так умаялся? На тебе же лица нет.

«Тут точно толка не будет»,— подумал я.

— Извините, Марья Федоровна: я дверью ошибся,— сказал я.

Я позвонил в квартиру № 8. Открыла мне незнакомая женщина.

— Здравствуйте,— сказал я, немного растерявшись.

— Здравствуй,— сказала незнакомая женщина.

— А вы кто? — спросил я.

— Я теперь здесь живу,— объяснила незнакомая женщина. — А ты кто?

— Я тоже здесь живу. В квартире № 1,— сообщил я.

— Замечательно,— сказала незнакомая женщина,— тогда давай знакомиться. Меня зовут Вера Сергеевна. А тебя?

— Меня по-разному зовут,— ответил я.

— Это как? — не поняла Вера Сергеевна.

— А вот так. По-разному,— сказал я.

— А-а, понимаю,— сказала Вера Сергеевна,— у тебя прозвание есть, да? Кличка то-есть, так?

— Нет,— сказал я,— не так. Никакого прозвания. Просто у меня много имен.

— Ты их что — коллекционируешь? — спросила Вера Сергеевна.

— Нет,— сказал я.

— Это ты, наверное, так шутишь, да? — спросила Вера Сергеевна.

— Честное слово, нет,— ответил я.

— Тогда скажи мне: откуда ты здесь такой взялся? — спросила она.

— И не только я. Здесь у всех так,— сказал я.

— Интересные дела. А мне как же быть? У меня же только одно имя,— сказала Вера Сергеевна.

— Да вы не расстраивайтесь, Нина Павловна,— успокоил я,— образуется как-нибудь. Как кому понравится, тот вас так и назовет. И вы скоро многоименная будете.

— С ума сойти можно,— сказала Нина Павловна.

— Вы не торопитесь. Успеется,— сказал я. — А сейчас, извините, у меня еще дела есть. До свиданья.

— До сви-да-нья,— проговорила Нина Павловна.

Я вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Все было на месте. Что положено, то и на месте. А чего же тогда не хватало? Не знаю. Показалось, должно быть.

Евгений МЯКИШЕВ

ДРЕВЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

И пусть древесный человек
Похож на медленный поклон —
Древесный век — короткий век,
Шуршащий звук летящих крон.

В древесных флейтах сквозняки
Живут, как ветви на весу,
Но кто поднятием руки
Им дарит музыку в лесу?

Кто осторожно спит в дупле,
Зарывшись в рыжую листву?
Кто вылетает на метле
Всегда готовый к колдовству?

Кто спирт древесный из коры
По капле собирает в чан?
Кто из болотных трав ковры
Сплетает молча по ночам?

Сучок, задоринка, дупло.
Струятся корни на ночлег,
Сникает в воздухе тепло,
Молчит древесный человек.

1986

* * *

Кто эта женщина, лежащая в соломе
Сто тысяч зим?
А рядом с нею кто стоит в салопе
Неотразим?

Да это ж Фёкла Никаноровна, испанка —
Скуласта, зла.
На платье бант алеет — куртизанка?!
Но как мила!
А рядом с нею ахвицер аглицкий,
Иосиф Франк.
Уж от него исходит дух мужицкий,
А был ведь — франт.
Влюбился по уши в испанку молодую —
Пошел бы прочь!
Сто тысяч зим ждет ахвицер святую,
Слепую ночь.
Но время замерло, но время неподвластно
Мерцанию зин.
Стоит влюбленный остолоп напрасно
Сто тысяч зим.
Не может страстный полдень прекратиться —
Мороз сердит.
Ах, ахвицер не может насладиться —
Он зря глядит
На грудь высокую, нет, Фёкла не задремлет,
Сжимая нож,
И уговорам аглицким не внемлет:
«На что ты гожд?»
Сто тысяч зим они неразлучимы.
Но через год
Придет холоп незрячий из пучины
Холодных вод.
Он из пистоя ахвицеру Франку
В затылок — «хлоп».
И Феклу Никаноровну, испанку,
Впихнет в салоп.
И не очнется ахвицер в соломе
Сто тысяч лет.
Спустя сей срок, со дна взойдет в салопе
Ея скелет.
И, развернув овчину, ветру крикнет:
«Вей, ветер, вслед!»
И к ахвицеру мертвому приникнет
ея скелет.
Холодное дитя тогда родится
У мертвецов.
И мертвецы посмеют возгордиться
Своим птенцом.

Сто тысяч зим они не разлучатся,
Но год спустя
Начнет холоп в холодный свод стучаться,
Чтоб взять дитя.

1986

ПИСЬМО

Прикосновение десницы,
Устало поднятой — к виску,
Сквозь опаленные ресницы
Взор — луч, скользящий по песку,
Усеявшему берег Леты
С теченьем медленным — красы.
Дорога и река — две ленты,
Вплетенные в изгиб косы.

Мне холод голоса глухого
Знаком, как холод на спине.
Как молоко в стакане — слово
Сгустилось у зимы на дне.
Какая разница в скольженьи —
По льду дороги иль реки? —
Легки граненые движенья,
И не расколуются коньки.

Так в тихой комнате, неспешно,
В письме ты пишешь между строк,
Что и не думаешь, конечно,
О выборе моих дорог,
А я не ведаю, печалюсь,
Что знаки из твоей строки
В косе над поясом качались
Вблизи дороги и реки,
Что косу серп Луны надрезал,
Как вену на руке, — легко.
И, покраснев, повис над лесом,
Вонзившись в зиму глубоко.

Строка скатилась за строкою,
Но не осталось за спиной
Косы с дорогой и рекою,
Письма, прочитанного мной.

1985

ЗИМА

Вдоль российских полей продвигается дева нагая.
Эта дева — зима. И в руках у нее колотун
Из мореного дуба. О бедра же бьется тугая,
Снегом полная сумка, а в сумке зевает колдун.

Это — юноша, узкий в плечах, аравийского типа,
Но вощеное тело его не скрывает гниющая шерсть,
Лишь из голени тянется мертворожденная липа,
Да злодейски сияют не два узких глаза, а шесть.

К Рождеству злая ель
в деревенских хоромах прогоркших
Под когтистую лапою держит в плену старика
В бороде, красной шубе, с мешком, где подарков на грошик,
и Снегурочка рядом, и посох сжимает рука.

Это лживые куклы. А ель — непонятное древо,
Ведь в российской ночи уж дубовый стучит колотун,
А над полем вращается холоднокровная дева,
А из сумки, зевая, глядит шестиглазый колдун.

1983

Олег ГРИГОРЬЕВ

САТИР

Дети строят лабиринт,
А какой-то дядя,
Точно штоспор или винт,
Так и вьется сзади.
 То запнется невзначай,
 То толкнет девчонку
 И, безвучно хохоча,
 Лезет под юбчонку.
Дети в воду — он в воде,
Шиплет ягодицы,
И щекотится везде,
Взрослых не стыдится.
 Наблюдает, как в кустах
 Дети выжимаются.
 Но не вызывает страх —
 Дети улыбаются.
Пропилил окошко
В детский наш сортир.
Этот дядя с рожками,
Видимо, сатир.

05.05.84

АРКАДИЯ

В саду среди растений
Мы с Галей загорали.
 На нас две темных тени
 Тяжело упали.
Они в кожанках прочных,
У них в руках ножи,
 А мы лежим в цветочках,
 Как пупсы-голыши.

Оскалились зловеще,
Пошарили в кустах:
 Забрали наши вещи
 И сгнули в цветах.
Дрожим мы как от стужи,
От страха и стыда.
 Но ведь могло быть хуже,
 А это не беда.
Гудят жуки и мошки
И тучи комаров,
 А мы плетём одежды
 Из листьев лопухов.

ГОСТЬ

На улице ветер и дождь —
Даже стекла бросает в дрожь,
 Сию у огня — ем цыпленка,
 Вдруг мальчишка вбегает чумазей чертенка:
«Вчера в отведенный мне угол
Самосвалом свалили уголь,
 Разозлило меня это так,
 Что поджег я наш тесный барак.
Я бегу, а вдогон свищут пули —
Можно мне посидеть у огня на стуле.
 А не то так страшно на улице —
 Нет, я не стану просить вашей курицы.
Только умоюсь в этом тазу,
Дайте ведро, я воды принесу».
 Ему я помыться помог,
 Утер с головы до ног.
Утер, обогрел, накормил
И спать его уложил...
 Утром рано встаю —
 И дом свой не узнаю:
Ни чашки, ни ложки, ни книжки,
И нет самого мальчишки.

НА ЛЕЖАКЕ

Весь день лежал на лежаке
И удивлялся очень,
Как трещины на потолке
Мне злые рожи корчат.

Одни смеются надо мной,
Другие горько плачут.
В ответ им, как глухонемой,
И я кривляться начал.

Вдруг расколосся потолок
И рухнул, грохоча.
И захлестал крови поток
Соленый, как моча.

Мне мать протягивает кость,
И мать, и смерть слепая —
За руку тощую, как трость,
Схватился, утопая.

На этот раз не утонул,
Я справился с кошмаром
И на руках ее уснул
Светло, как в детстве старом.

ЛЕНТА МЁБИУСА

(В. Афанасьеву)

Снег с дождем хлестал в первую,
Подскользнулся и чуть не попал под автобус я,
Проехал по галоше моей трамвай,
Галоша превратилась в ленту Мёбиуса,
Намотал эту ленту кой-как
На чуть не отрезанную ногу тощую,
Хотел на парад бежать, да никак —
Вывернулся наизнанку я с этой галошей,
И оказался везде,
И сразу мне стало всяко.
Даже не двояко или тройко,
А как-то двадцатиряко.
Будто я нарисованный
Скольжу меж людей спрессованный,
Словами не передать,

А если и передать,
Ничего никому ни за что не понять:
— Вот я сижу за столом на стуле,
Над уроками спину сутуля,
И смотрю на себя в окно,
Где я другой, как в кино,
Который толкнул девчонку,
Которая взвизгнула громко,
Уронила в лужу панаму
И зовет маму...
И тут же большая гора,
И я на вершине горы,
Но эта гора — дыра,
И я на дне той дыры.
То есть дыры-горы или городыры...
Площадь, радостный праздник,
Летают цветные шары.
Мать говорит:
— Ну что же ты, безобразник!
На тебе,
На тебе,
На тебе,
На! —
Но это не мать, а жена.
Трясет, на работу будит,
И даже еще не жена,
А то, что еще когда-то женю будет.

Вонзила в спину заколку.
А я взял веник и лезу на верхнюю полку,
Завуч с тазом скатился,
Вот ему и конец.
Над метвым мертвец склонился,
Ощупал себя — и я мертвец.
Что это?!
Склеп или класс нашей школы?
Сидим за партами без трусов.
Но и учитель наш тоже голый!
А рядом Катя, которая Коля, который Лена.
Вдруг из меня вырастает полено
И превращается в новогоднюю елку,
И я как бы крест к этой елке.
Все лезу, лезу и лезу на верхнюю полку,
Как на люстре нарисованный,
Детьми совершенно спресованный.

ТАНЕЦ

Закинув в угол ранцы,
На лестнице крутой
Мы танцевали танцы
Под бака стук пустой.

Вскидывая ноги
Вперед, назад, крестом,
Оглоблями, колесами,
Вертелись мы винтом.

Вдруг дворник залетает,
Большой и страшно злой,
И живо выметает
Всех нас во двор метлой.

Вскидывая ноги
Вперед, назад, крестом,
Мы катимся колесами
И покидаем дом.

* * *

А вот и ты появилась,
Как некий во тьме просвет.
Такая же, как и приснилась,—
Тому восемнадцать лет.

С железными одуванчиками,
В свинцовых шмелях и жуках,
Вся в каменных птицах и бабочках
И скрипучих ремнях.

И душные кудри качались,
Как вырезанные из корня.
И грохнул я кирпичами,
И вырос лопух из меня.

31.05.84

МОТЫЛЕК

Мне дали денег на букет,
Но я проел их вмиг.
Букета нет, и денег нет,
Залез в чужой цветник.
Меня схватила в цветнике
За шиворот рука.
Я превратился в той руке
От страха в мотылька.
Порхаю тихо и легко
С цветка я на цветок,
Вонзаю в рыльца глубоко
Свой длинный хоботок.

ПРОГУЛКА

Я шел по Садовой к другу
Помочь отворить фрамугу.
У рынка один свирепый
Бросил в меня репой,
Я заголосил
Изо всех сил.
Человек с тяжелым мешком
Посмотрел на меня со смешком.
Прошел какой-то дурной
И харкнул в меня слюной.
Утерся я кулаком,
Швырнул в него грязи ком.
Подошли ребята: — Дай закурить!
— Я не курю, — стали бить.
Очнулся, стою на площади.
Прошла женщина с головой лошади.
Сказала: — Будьте так злы,
Завяжите мне пальцы в узлы.
— Будьте добры, — отвечаю ей, —
Растяните мне рот до ушей,
А то я скоро совсем онемею, —
А кроме крика ничего не умею...
Какой-то мальчишка сбил меня с ног,
Но этим я пренебрег.

Так и пришел я к другу
По этому адскому кругу.
Он спал за столом бороною в борще.
Я тряс его за уши, но вотще.
Была разбита фрамуга.
Я ушел удрученный от друга.

КОЛЯ

Коля вступил за меня в битву.
Как же его мне благодарить?
Я парикмахер, раскрыл бритву,
Схватил за нос и стал его брить.
 Я брею, а брить-то нечего:
 Борода у него не растет,
 Так вот брить его можно вечно,
 А он выкрчивается и орет.
Что-то злое сквозь пену гундосит,
Чуть не оттяпал ему я нос,
Видно, бритья он не переносит,
Разозлился Коля до слез.
 Что понапрасну крем растранижировать,
 Бросил в кровать его, стал массажировать,
 По науке дублю его кожу.
 Он трясется и снова орет,
 Корчит от боли страшную рожу,
 Растягивает вертикально рот.
Я ташу его голого в ванну,
Открываю кран широко.
Коля ведет себя как-то странно,
Стало держать его нелегко.
 Завернул я его в одеяло,
 Поволок на кухню кормить.
 Я хотел угостить его салом
 И до смерти упоить.
Но, к сожалению, после ванной
Коля был уже бездыханный.

ИЗВЕСТЬ

Одел я защитную маску,
Противогаз и каску.
В дюралевом комбинезоне
Иду по заразной зоне.

Ташу за собой дегазатор
И ранцевый дегустатор,
Сито-носилки для извести
И если кого надо вынести.

Бегу к пораженному дому,
(Точнее, к его пролому).
Лежит на девице пацан нагой,
Отпихнул я его ногой.

Девицу кладу на носилки,
А нести ее нету силки,
Никак одному не вынести —
Завалил ее кучей извести.

ШАРЛАТАНЫ

Пришли какие-то люди,
Таких я вроде не видел,
Одна с головою на блюде —
Тот, верно, кого-то обидел.

Другой, с тесаком на макушке,
Этот, с язвами на руках.
На стол поставили кружки,
Блюдо с башкой — просто страх!

Из кухни принес колбасы я,
Дал им домашние тапки:
Ведь люди пришли босые,
Одетые в драные тряпки.

Выпили молча, без закуса,
Траур и них, видать.
Схватил я девицу за косу,
Попросил станцевать.

Согласилась девица,
Скинула с плеч тряпье...
А все же знакомые лица,
И где-то встречал я ее.
 Но где? Но когда? Не припомню...
 Только было уже такое:
 Пьянка в комнате темной
 И голова покойника.
Гости с рубцами и язвами,
Особенно этот — сивый;
С язвами безобразными.
Не красавец, однако красивый.
 — Иван! — подошла девица к блюду.
 Иван вдруг открыл глаза.—
 — Давай предадимся блюду! —
 И запрыгала, как коза.
Сбросила тряпки последние,
Стала совсем гола.
Седой вынул нож из темени,
Воткнул в середину стола.
 Второй почесал в затылке,
 Руки простер к окну;
 Появилось еще три бутылки...
 Я тайно припрятал одну.
На колени мне села девица,
Худоват оказался зад,
Недовольный Иван косится,
Покосился, закрыл глаза.
 Седой опрокинул кружку...
 Потом они в угол легли.
 Я дал им диван-раскладушку,
 Но они им пренебрегли.
Тогда я спросил у девицы,
Раздвинув ножки дивана:
— Скажи мне, что это за лица?
— Да просто два шарлатана.
 — А как зовут тебя? — Ира.
 — Вот и жену мою так.
 Прости, что простынь не стираю,
 Теперь же я холостяк.
Прижались мы тесно друг к другу,
И я погрузился в сон;
Страшный сон — я вскочил с испугу,—
Отключил будильника звон.

На диване от тела впадина,
А от гостей ни следа.
Приложился к бутылке краденой —
Там лишь уксусная кислота.

27.01.84

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСЕНКА

(СТИЛИЗАЦИЯ)

Мариш, дочери

Трещит рождественский мороз,
Окошко, как в слюде,
Карниз сосульками порос —
Весь в длинной бороде.
Скорей зажгите свечки,
Да не свалите ель.
Пускай, как искры в печке,
Сверкает канитель.

Подайте нам варенья,
Разлейте всем сбитень —
Сегодня День Рожденья —
Христа Младенца день!

Явился наш Мессия,
Простой малыш как все,
Упрятала Мария
Его в хлеву в овсе.

С небес звезда смотрела
Сквозь обветшалый кров,
В яслях младенца грело
Дыхание коров,

Цари, волхвы, весталки
На ту звезду пошли
И к рождеству подарки
Иисусу принесли.

Густого меда соты,
В корзинах виноград,
Маслины и компоты,
Халву и мармелад.

Плетей чесночных косы
И сочный абрикос,
И груши как кокосы,
И с голову кокос.

Бананы и гранаты,
И манго терпкий сок,
Кораллы и бриллианты,
И золота мешок.

И привели с собою
К нему слонов больших,
Ягнят, коней в пополах
И даже львов ручных.

Был настоящий праздник,
И пир, и бой зверей,
И слух разнесся сразу:
— Родился Царь царей!

Той вестью пораженный,
Царь Ирод побледнел...
Он всех новорожденных
В тот день убить велел.

Своих сатрапов резвых
Послал во все места —
Мальчишек перерезать,
А вместе и Христа.

Мария и Иосиф
С ребенком на осле
Нашли, лачугу бросив,
Приют в чужой земле.

— А золото? Подарки?
Мотки жемчужных бус?
— Все бросили, не жалко,
Остался бы Иисус.

Из клеток отпустили
На волю всех зверей,
Христа платком укрыли
И скрылись поскорей.

Идти опасно было,
Скакал в лесу отряд,
Но елочка укрыла
Их ветвью от солдат.

Дата та ель спасенье
И кров Семье Святой,
Поем мы в День Рожденья
О елочке простой:

— В лесу родилась елочка,
В лесу она росла
И много-много радостей
Детишкам принесла.

Вверху звезда сверкает,
А снизу крест — смотри.
И свечки польхают —
Их ровно тридцать три...

Царь Ирод безобразный
Истлел давным-давно,
Едим мы торт на праздник,
Пьем сладкое вино.

И поднимая чаши,
Поем мы о Христе,
Как за грехи он наши
Был распят на кресте.

Закрыт скалой в пещере,
А поутру исчез...
Христос воскрес, мы верим!
Воистину воскрес!

О дай, Иисус, нам счастья
И исцеленье дай,
Спаси нас от напасти
И вознеси нас в РАЙ!..

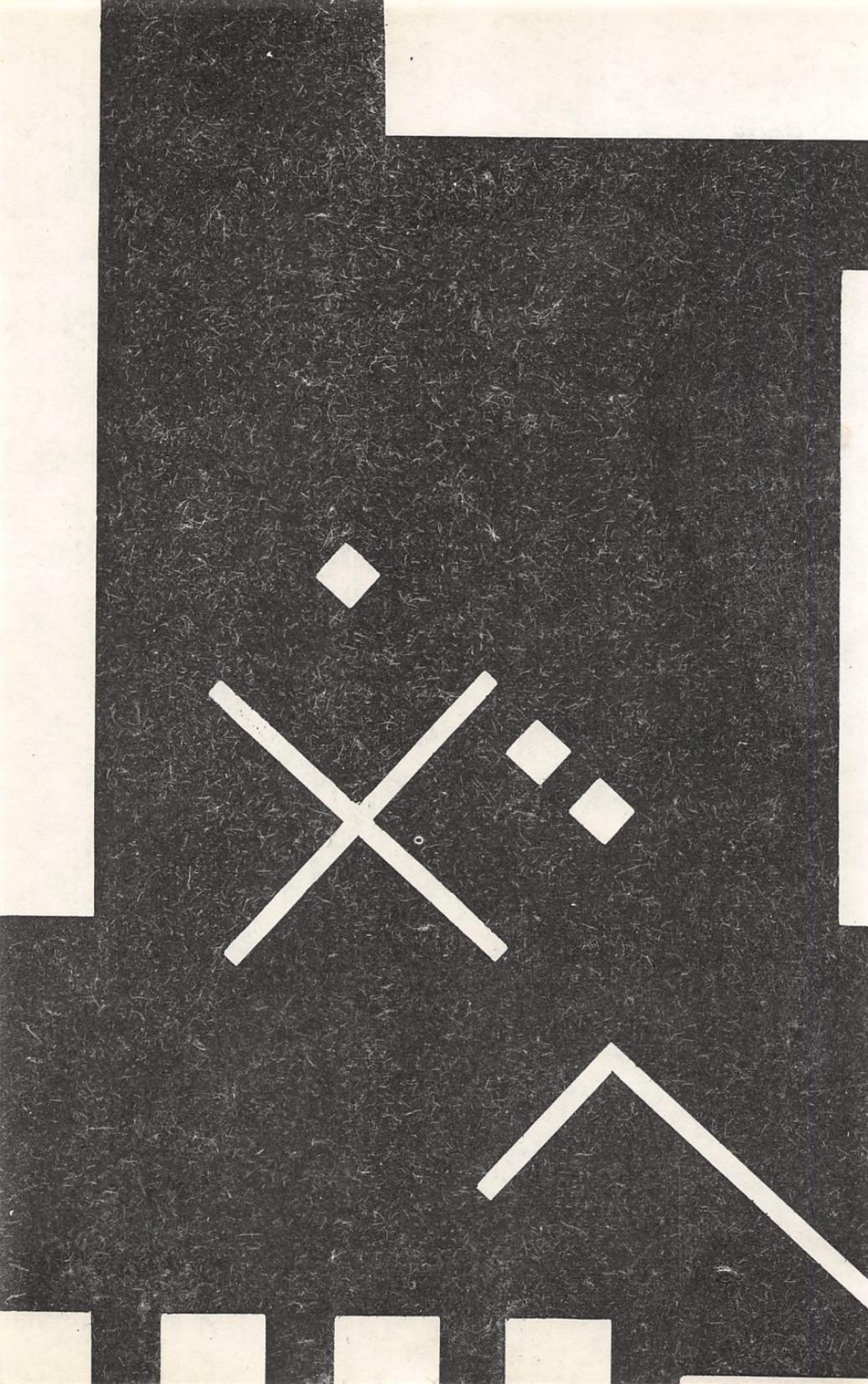
Декабрь 1989. Кресты.

КОГДА?

Людей стало много-много,
Надо было спастись.
Собрал сухарей я в дорогу,
И посох взял, опираться.
— Когда вернешься? — спросила мама.
— Когда людей станет мало.

КУДА?

Люди куда-то стоят — прямо, потом назад,
В подворотню, сквозь дом,
В угол и снова кругом.
Мы проверили с другом:
Ни лавки, ни продавца.
Люди просто стоят друг за другом
Без начала и без конца.



Дмитрий ЗАКС

ПОЛНОЧНЫЕ СТРОФЫ

Когда особенно? Да вот во тьму
Ушли кусты, ссутулясь, как слепые;
Отпели свечи птиц; когда в дому
Часы смежили стрелочки тупые,
И птицы углей гаснут, как часы,—
Восходит ночь, и тьмы ее чисты,
Как в облаке созревшая вода,—
Особенно тогда

Когда? Да вот внизу душа жилья
Душней, чем мед, тревожнее, чем листья,
Глядит окольно, стылый свет лия
В оконные рассеянные линзы;
Все ждется ей, все смутно, все она,
Все путается в водорослях сна,
Все зримого неверная череда,—
Особенно

Особенно? А выше — листья звезд
Грозят слететь с дерев небесной суши,
Об эту пору тамошний норд-ост
Немилостлив. И там же пчелы-души
(Им наверху, поди, легко без нас)
Слетают с листьев и в полночный час
С попутным ветром светятся сюда.—
Пожалуй что тогда

Пожалуй так,— а здесь: жилье души
Покинутого улья уютней:
Все колются костей карандаши,
Все пульсов разлетающихся трутни;
Неужто есть иные где дома —
Просторные, студеные, как тьма,
Неужто где-то есть они, ничьи?
Особенно в ночи

Итак, в ночи — когда с полустроки,
 Едва ступив, не перейти к иному,
 Где листья звезд от веток далеки
 И там же далка душа от дома,—
 Итак, в ночи — все сходится — но ей
 Не поминаю всех других ночей,
 Где все не так, где с каждой новой ночью
 В конце стиха не страшно...

1983

ЗИМНИЕ СТИХИ

1

Я такой же зимой родился,
 Как и та, где родился для пробы,—
 Не вмещались морозы в леса,
 И земля, опустив небеса,
 Зимовала, укрывшись в сугробы.

И ладони сложила зима,
 Все ладони, натертые снегом,
 И закрыла свои закрома,
 Только скудное темя холма
 Возвышалось над снежным нечлегем.

И тогда я увидеть решил
 Все хронимое втуне зимою,
 Все, что скрылось, пока я не жил,
 Словно зреньем досужим кружил
 В волокнистых снегах над землею.

Только все, что искал я зимой,—
 Все слилось в этой нежити белсой,
 Только ветры ходили с сумой,
 Чьи-то жизни стояли за мной,
 Словно листья листвы омертвелой...

Но когда я родился опять
 В эту зиму, как в зиму все ту же,
 Те же взялися жизни стоять,
 Словно снега бездушная рать
 Их сковала неслышною стужей.

1983

2

Что горше снега и белее звука
В той ближней жизни, что сошла на нет,
В той тесной жизни, где в решетки люка
Глядит, склоняясь вниз, холодный свет?

Что выше дыма и понятней пепла
В том ближнем дне, что только снегом шит?
Гляди, зима до времени окрепла,
Холодный дым в ее печах дрожит,

... Лишь эта жизнь — одна прочнее жизни,
Лишь этот дым еще звучит в печах,
Лишь низкий свет любви и укоризны,
Как горький снег, как время на плечах.—

Но что трудней, и что еще труднее
В тот ближний день — не станет и его,—
Чем: снова жить,— и звуков нет белее,
Белее снега...

1983

3

Ты на что мне, вторая душа,
Что у сердца стучишься снаружи?
Что так бьешься; как будто спеша
Все успеть до вступления стужи?

Мне б и первой хватило с лихвой,
Чтоб замерзнуть у зимних подножий,
Только сросся мой голос слепой
С твоей тонкой заснеженной кожей,—

Или первой душе не видна
Нищета этой жизни поденной,
Что так бьешься ты в стены одна,
В стены зимней скворешни студенной?

Или видел я сердцем чужим,
Иль чужой позавидовал стуже?..
Все, душа, мы с тобою кружим —
Ты и я, и другая снаружи.

1983

* * *

Я не пел реке, не шептал грозе,
У деревьев не клянчил мест,
И не им на сходящей моей стезе
Прежде времени ставить крест.

Я не предал бренчанье морских цепей
И луны беспощадный зырк,
Мне прозрачный дар немоты моей
Никакой не дарил язык.

Лишь обмякший, по-рыбьи раскрытый рот,
Да одышливый горький хрип,
Наполнявшие бездны звучащих сот
Пустотой этих черных лип,

Этих черных речек и черных лет
Черной спеси их и тщеты,
Я возьму как единственный скудный лепт,
С золотой не сходя черты —

С этой скользкой границы меж двух чужбин,
(Или, может, не двух, одной?) —
Словно лист, обращенный лицом рябым
На две стороны тьмы ночной.

1990

* * *

И в воздухе, и в звуке, и в огне —
Везде одни: и в воздухе, и в звуке:
Сердца мишеней круглые, в броне,
И светов изготовленные луки.

Но в воздухе, и в плоти, и в листе —
Везде одно: и в воздухе, и в плоти:
Сердца мишеней пали в темноте,
И стрелы отвернули на излете.

1983

* * *

Наш дом не там, где любят нас,
Он там, где, зеркала упруге,
Нас держит, жалясь, зимний наст
Под сводом снежных полукружий.

А там, где сводом зимний наст
Воздвигся на сраженных стенах —
В пустом доме — там любят нас,
Как никого в годах забвенных.

1983

* * *

На длинных ступенях балтийских
Древесные волны застыли; и камни
Здесь гнезда граненые свили, в коленях
Рассохшихся веток, водящих смычками.

И сердца неужто достигнут отливы,
Где берег в прорехах бескровных, паучьих,
Где волн раболовных чуть видны извивы,
И листьев все меньше в древесных излучьях.

Что сердце? Лишь утлый осколок древесный —
В нем голос иссохнет кольчатый... Взлетают
Крылатые камни, и камень небесный
Кольчатому сердцу глаза застиляет...

Но снова в раскрытые дуги морские
Волна устремится и снова застынет... —
И сердце стучится в древесные круги
И внешнее сердце не сдвинет.

1983

* * *

Все в железах дней живые,
Черные крыла волны,
Светов грани ножевые,
Ветви неба дождевые —
С нами вместе рождены.

С нами, в самый час рожденья,
В эту втравлены игру
С тьмой мечтания и женья,
Где ни смерти, ни спасенья
Княжей жизни ко двору,

Где со всем родным, древесным
В вещи, преданной вражде
Бьется слово в сердце тесном
Мира — меркнушем, отвесном,
Кружит в небе и дожде.

И в железах тьмы наручной
Память прежнюю храня,
Стихотворства ключ беззвучный
Льется в мир полночный, тучный,
В тьму без отсвета и дня.

И за это с каждым новым
Днем сиротства и вины
В сердце меркнушем, терновом
Исчезает с каждым словом
Все, с кем вместе рождены.

1983

* * *

Я рослая Муза с большими руками
Мой век одинокий со мной коротала
И в небо глядела, где снежные камни
На склонах застыли, и зиму встречала.

И снег в нашу черную землю валился,
И ночь задувала военные ветры,
И стыли в саду, что над садом склонился,
Высокой враждой разведенные ветки.—

Там, в черном саду, все рвалось и двоилось,
И ветёр налетал, и зима не сдавалась,—
Кто знает, сколь долго нам жить доводилось,
Кто знает, сколь долго нам жить оставалось...

И в свете, источенном светом и снегом,
Мы жили, склоняясь в терпенье древесном,
Под солнцами в небе ночном над ночлегом,
Всем сросшимся сердцем, всем голосом тесным.

1983

* * *

День приник стеклянный к дню,
Снег летит с горы стеклянной,—
Словно тень летит к огню —
Тень души к душе незванной:

Две их — и бездомней нет,
Две — и свет, душе неместный,
И стеклу плеснувший вслед
Таёт звук меж них отвесный.—

Две — в несметных светах дня,
В треснувших стекляшках стужи,
Две — как тени две огня:
В пламени и там — снаружи.

...В небе — светлая смола
Снегом запахнулась блеклым,—
И в груди — хладней стекла —
Тень души, приникшей к стеклам...

1983

ЗИМНИЕ СТРОФЫ

Посланец Арктики холодной,
Воздушный брат волны подводной,
В стеклянный рог Борей трубит,
В глаза швыряет солнцу снегом,
Когда, наскучив дневным бегом,
Морских оно коснется плит.

А днем — зима на льдистых конях,
Зажав лучи вожжей в ладонях,
Летела в полости саней,—
Но ввечеру: во тьме увязнув,
Со снежных смотрит перелазов,—
И: полночь зима видней.

Стеглянную полночью синей,
С холмов небесных над Россией —
Зима склоняется, бела,—
Чуть слышно меркнет снег убогий,
И вьется снежною дорогой
Луны истертая пола.

И мир — в стояньи звезд бесстрастных —
Ночной зимы в ладонях праздных
Лежит орехом земляным.
В ореховом нутре упругом
Исходит дым к небесным дугам,
Медовый и нескромный дым.

Он кружится: ... жилье и тленье...
И снега белое каленье,
В пустую не вместясь во тьму,
Бросается в глаза косые
Стоящей замертво России,
Себя не помнящей в дыму.

И с выжженным снегами взором
Она стоит под звездным сором —
Зимы несчастная сестра,
Стоит и все, и всех забывшей,
Высокой, немощной, оплывшей,
Как тень угасшего костра.

Стоит, с своей судьбой бездольной,—
И с зимних глядя в ночь ладоней,
Одетых в снежную броню,
В невидящих ее зеницах,
Среди теней сухих, безлицых —
Средь них — я вижу тень свою.

Я жду и вместе с нею стаю,
Когда зима сойдет до краю
Могильных северных морей,
Я вижу — в снежной круговерти
Посланец Арктики и смерти
За мною брат ее Борей.

Я жду, следя ее глазами,
Как вслед за ней мы сходим сами,
Ореховый вскрывая дом.—
Последним ночь сочится дымом,
И день — огромный, вставший дыбом
Над синим, кровеносным льдом...

1983

* * *

В ночи — выстуженный блеск
Снегом вычеркнутой части...
Средь сафьяновых небес
Пляшут звездные печати;

С краю сумерек в залив
Падает луна большая,
Нового не посулив,

Прошлого не обещая
Темному (темны в луче
Света крошечные доли)
Сердцу, сжатому в прассе,
Господи, твоей ладони...

...Снова эти дни ничьи...
Слышат ли, коль их окликнуть?
Господи, не научи
К жизни дареной привыкнуть.

1984

* * *

Как, в сущности, перечень краток
Всего, что на света склады
Навалено, словно остаток
От странной, прошедшей беды.

Как, в сущности, краток и полон
Творенья подушный реестр,
Как воздух разъеден и солон,
Как рощи нескладен оркестр.

Как сумерек странно волненье,
Как снега непрочно финифть,
Как странно чужое хранение
До новой беды сохранить.

И видеть промерзшие зданья,
И, греясь у снежных печей,
Прекрасные помнить названья
Прекрасных и страшных вещей,

Торчащих из странного мира
В прекрасном развале его;
Как странно названий помимо
О них не узнать ничего.

1987

* * *

Не заметил, как сделалось жить
Так несложно, ненужно почти,
Как смягчился привычный режим
В этом медленном строе ночи.

Как затих разговор и иссяк,
 Как осталось легко и темно,
 Словно жизнь — как в постылых гостях —
 Отвернулась и смотрит в окно.

Видно, скушно ей стало уметь
 Разгонять золотистую кровь,
 От огромных вещей цепенеть,
 От пространства вздыхающих крох.

Словно вдруг поманил ее плен
 Этих листьев и мелкой воды,
 Словно весел ей праздничный тлен,
 Словно весел ей привкус беды

Там, где нету во тьме за плечом
 Этих верных конвойных шагов,
 Где тиранство рассерженных пчел,
 И растений, и умных жуков,

Где на странное нежное дно
 Опускается свет, не слепя...
 Словно там ей не будет темно
 И легко, и не слышно себя.

1988

* * *

Средь кленов избранных, средь званных тополей,
 Как все, очнулся я, не избран и не призван,—
 И, как и все, вступил сквозь черный ход аллея
 В проклятый здешний рай к каким-то снам и тризнам.

И я вступил, как все, и все отдал в залог
 Теням прилипчивым при обыске у входа:
 Все кости хрупкие, весь детский крови ток,
 Все знание ветхое ее простого кода,
 Все сердце жалкое...

Я не боюсь за них.

Что отдано — вернут, лишь миг на сборы нужен...
 Другое страшно мне: тупик аллея сквозных,
 И я спиной к нему, и жив, и безоружен...

1989

* * *

Все еще чужд этот хищный холод,
Еще от его щедрот
В густую нечистую кровь не вколот
Глумящийся кислород.

Еще от земли обмелевшей этой
Не бросили нам ключей,
Еще в этой дельте над грязной летой
Ладожский лед ничей.

И весь этот звездный печальный мусор
Еще не сожжен в окне,
Еще не пора отвернуться музам,
Скорби и тишине.

Еще эти ночи ветвями грея,
Рощи стоят грешно,
И мертвое это уже не время
Все еще не ушло,

Еще не вернулось без нас к Гашему,
И жизнь, в этой низкой мгле,
Еще подлетает слепой мишенью
К ждущей ее стреле.

1990

Сергей КАРИНСКИЙ

СТАМБУЛ

О, Константинополь!
Тарковский

1

Иржи сосал леденец и что-то писал. Перо было автоматическое, китайское, с иридиевым окончанием, плохо пишущее, то ли по причине собственных недостатков, то ли из-за плохости сочащихся сквозь него чернил.

— А что, Игорь Францевич, Стамбул это не Греция?
Голос Иржи прозвучал мечтательно и слегка гнусаво.

— Бог с тобою, друг мой,— ответил Игорь Францевич, не поворачиваясь от окна, в которое он смотрел, или не смотрел, потому что нельзя было сказать наверное, открыты ли его глаза.

Иржи оторвался от писания, задумался. Воцарилось молчание. Игорь Францевич не помышлял о продолжении разговора, а Юре (так еще называли собеседника Игоря Францевича) было неловко приставать со всякими распросами. Поэтому они молчали, хотя обоим тишина была в тягость. Наконец Игорь Францевич поправил шерстяной шарф, закрывающий его горло, и отвернулся от окна. Он увидел сидящего к нему спиной и очевидно мечтающего Иржи и улыбнулся, одними глазами. Потом подошел к шкафу и включил свет, нажав на клавиш выключателя, сокрытого за стенкой шкафа. И сразу сделалось легко для слов.

2

Стамбул — город жаркий, от жары фиолетово-черный, бархатистый на ощупь. В него въезжаешь, как в ночное южное небо, как в тропический лес, как в полуденный сон. Розовые скалы окаймляют синие бухты, и лодки спят на неподвижной глади воды. В пыльной листве прибрежных зарослей скрываются виллы, за глухими стенами которых по изумрудной траве прохаживаются павлины, качаются на качелях бородатые старцы и бегают, тяжело вывалив языки, датские доги. Такие образы рождает у слушателя вторая часть (пантум) трио Мориса Равеля для скрипки, виолончели и фортепьяно, сочиненного вдали от константинопольских стен, где-то в Испании, а может и на юге Франции.

3

Но ни Испании, ни Франции не существовало. Была только лень приготовления уроков, скука домашнего чтения и до смерти надоевший старикашка — дядя, даже не помышлявший о том, что мальчику нужны развлечения, свежий воздух, игры во дворе и какие-нибудь занимательно-поучительные истории, рассказываемые вечером за чаем. Ничего подобного. Бедному Иржи хотелось хоть какого-нибудь действия, и он отпросился у дяди, Игоря Францевича, в магазин за вареньем.

До ближайшей лавки, где продавалось варенье, было неблизко. Туда шел трамвай № 1, но туда можно было ехать и под землей, в так называемом метрополитене, который как средство сообщения был, конечно, удобнее любого наземного транспорта — кроме, разумеется, наемного автомобиля, в котором, однако, Иржи нередко помучивало. В метро с ним тоже случались приступы дурноты, и он, бледный как матовое стекло, выходил на ближайшей платформе и, чувствуя невероятную слабость во всем теле, приваливался к холодному мрамору стены, ощущая под собой мрамор массивной скамейки. Полуобморок вскоре улетучивался, оставалось лишь легкое головокружение и полная уверенность, что он едет по заведомо пустому не нужному никому

делу, по поручению, ни в малейшей степени не оправдывающему сопряженных с его выполнением нравственных и физических — физических особенно — усилий.

Однако на этот раз все обошлось благополучно. Пустой вагон доставил его на станцию, пахнущую сырым теплом и жженой резиной; эскалатор вытягивал его вверх: рядом старуха в кургузом плаще с седыми пчесаными космами, чуть выше — девочка с бидоном, занимающим более высокую ступеньку, а дальше, до самого загиба, неживая пустота, которую предстояло преодолеть посредством медленного, но неуклонного восхождения.

4

В лавке стоял запах кофе. Долговечный, как и сама лавка, ее плитчатый пол, темные мореные стены, высокий и тоже мореный потолок, ее высокие мраморные прилавки, прикрывавшие собою пирамиды разнообразных коробочек.

Но за прилавком никого не было, и в каком-то удивленном замешательстве Иржи поплыл вдоль прилавочных желто-медных перил, скользя по ним рукой, а взглядом — по выставленным за стеклом образцам. Так он дошел до дальней стены, уперся в нее и начал обратное движение, пока вдруг не услышал за своей спиной какой-то шум. Он обернулся. В зал вошла высокая стройная женщина в синем платье и с корзинкой в руках. Лицо ее скрывали затемненные очки, но легко было предположить, что за ними жили огромные светлые глаза. Рассеянно обведя взглядом все помещение, посетительница взглянула на мальчика и слегка улыбнулась. От нее не скрылось его замешательство. Впрочем, следовало сесть. В углу у окна стояли кресла и круглый столик на витой ножке. Она выбрала самое дальнее, рядом с окном, устроилась, достала из корзинки небольшой изящно переплетенный том, раскрыла его где-то за первой третью и сделала сосредоточенное лицо. Все это время Юра не сводил с нее глаз. Но вот что-то стукнуло со стороны прилавка, и по дощатому настилу прошли чьи-то ноги. Слушаю вас? Юра понял, что обращаются к нему, но не мог тотчас повернуться к говорившему и ответить. Пока длилось это новое замешательство, женщина в углу подняла взгляд от страницы и издала, одними губами, быстрый и точный

звук. Это был какой-то сигнал, приняв который, человек за прилавком кивнул (не видно, но наверное так) и опять исчез. И снова пришлось ждать. Правда, на этот раз совсем недолго.

Он стоял уже лицом к ожидаемому продавцу, когда тот появился, неся длинную, тщательно перевязанную коробку, которую затем почтительно положил на мраморную доску, а рядом с ней легла маленькая бумажка, по-видимому, счет. Бессловесная дама быстро встала, на ходу уронила в корзинку книгу, подхватила коробку и счет и так же быстро, легко и незаметно покинула магазин. Теперь настала его очередь.

— Пожалуйста, мне варенья.

— Какого варенья желаете?

— Вот того...

— Это?

— Нет, вон то.

— Это?

— Да.

— Пожалуйста. С вас... (А было ли столько в кармане? На счастье, было.)

— Спасибо, до свиданья.

И вот, держа обеими руками покупку, он едет в трамвае, что раза в два дольше, но раз в пять интереснее.

5

А дома Игорь Францевич читал Робера де Клари.

«Случилось так, что как раз в то время папа Иннокентий был апостоликом римским, а Филипп — королем Франции; был еще другой Филипп, который являлся императором Германии, и от Воплощения прошло тысяча двести три или четыре года. Был еще некий священник по имени мэтр Фульк из Нейи, приходя, что в Парижской епархии. Этот священник был...» — Игорь Францевич не любил священников. Он встал и подошел к окну. За окном был виден супротивный дом, серый, с облупившейся местами штукатуркой и конторой проката в первом, стеклянном, этаже. Там, между прочим, служил приятель Игоря Францевича, отставной майор, розовощекий и упитанный носитель не вполне опрятной тройки, по фамилии Ноден. Этот Ноден

служил еще в колониях, болел диковинными тропическими болезнями, а теперь скромно доживал свой век, питаюсь в основном луком,— такую диету прописал ему врач, к которому отставной военный специально ездил в соседнюю страну. «А мальчика все нет, куда он мог деться? Не любит он меня»,— думал Игорь Францевич, бесцельно прохаживаясь по многоугольной комнате в восьмом этаже большого многоквартирного дома, где жил Иржи со своими родителями и где теперь властвовал его дядя по матери Игорь Францевич, вызванный по телеграфу из своей глуши по случаю неотложного, сверхсрочного и архиважного отъезда куда-то родителей. «Ничего, Юра,— говорила на прощанье мать,— Игорь Францевич твой дядя, он добрый, да, добрый человек, немножко как бы это... special, он всю жизнь прожил один, был где-то учителем, без призвания, без особого интереса, ну, словом, слушайся его, постарайся быть послушным и добрым, слышишь, постарайся понять его» и т. д.

А Игорь Францевич вновь углубился в де Клари:

«...был человеком весьма благочестивым и превосходным церковнослужителем, и он обходил страну, проповедуя крест, и многие следовали за ним, ибо он был столь праведен, что Господь творил через него много великих чудес; и этот священник собрал много денег, чтобы отвезти их в Святую землю за морем».

6

Появление водопроводчика, коренастого крупного мужчины с окладистой бородой, оторвало Игоря Францевича от занимательной истории (обязательно порекомендую это мальчику как вечернее чтение) и заставило переместиться на кухню, где имелась неисправность.

— Кран у вас в порядке, прокладки только плохие, долго не стоят.

— А если поменять кран?

— Кранов на складе нет, если сами купите, то поставим. Только там прокладки тоже плохие.

Водопроводчик искоса взглянул на стол, где совмещались предметы отдалившегося завтрака, относительно недавнего обеда и, в виде чайника, приближающегося ужина, ничего не сказал

и принялся за починку крана. Игорь Францевич теребил очешник в кармане домашней куртки. От одежды водопроводчика несильно пахивало соляжкой.

— Сколько с меня? — спросил отсутствующим голосом Игорь Францевич.

— С вас полторы тысячи, — ответил бородач, после чего Игорь Францевич заспешил в комнату, где он хранил свои деньги. Сцена расчета произошла в прихожей при тусклом свете под-потолочной лампы-клубники.

После ухода визитера Игорь Францевич направился в другую комнату, где у окна стоял небольшой рояль, на крышке которого среди кип нот и всевозможных журналов помещался бронзовый бюст Брамса; и Игорь Францевич, хоть и не очень от природы наблюдательный, не мог не удивиться замечательному сходству немецкого композитора и водопроводных дел мастера.

7

— А знаешь, Юра, к нам только что приходил сам Иоганнес Брамс.

Удивленное молчание.

— Он чинил у нас кран. Представь себе, он сказал, что музыкой нынче не проживешь и надо заниматься практическим трудом. Кстати, забываю все время тебя спросить, ты сам играешь? Играешь. Это очень хорошо. Значит, после ужина ты поиграешь, а я послушаю, идет?

Иржи что-то ответил и проскользнул в кухню, где было уже совсем темно, и потому стол, заставленный посудой, выглядел таинственно. Он поставил на стол банку сливового варенья и прислушался. Игорь Францевич прошелестел шлепанцами в большую комнату и, видимо, принялся за книгу. Если поплотнее закрыть дверь и не делать слишком громко, он не услышит. Круглая ручка мягко щелкнула, и загорелась зеленая шкала с нанесенными на ней названиями городов и какими-то числами. Эфир был густо населен самыми невероятными звуками. Джаз, духовная беседа, перечень важнейших событий дня и какая-то немислимая абракадабра отделялись друг от друга лишь тонкими перегородками, легко сдвигаемыми и проницаемыми, как рисовые

перепонки в традиционном японском доме. С трудом выловив из бурлящего потока интересную передачу, тонкую слабую ниточку, Иржи стал вслушиваться, но голос неудержимо таял, и ему никак нельзя было помочь. В какой-то миг он совершенно исчез, и, недоумевая, куда же он спрятался, Иржи чуть-чуть сдвинул кружок настройки — действие, истолкованное притаившимися где-то рядом актерами как приглашение ворваться, что они не замедлили осуществить, да с такой ошеломляющей мощью, что забились в судороге теплая ткань занавеса, а в стекле двери появился вопросительный силуэт дяди, который просто пришел узнать, что здесь происходит. «Так, ничего особенного: просто радио слушаю». — Сейчас мы будем пить чай, Юра, а после чаю, как ты мне обещал, состоится твое маленькое выступление, твой маленький концерт, а потом я... ты узнаешь что-то интересное. Для начала же включи, пожалуйста, свет».

3

Между тем, в Стамбуле валил прегустой снег. Таких снегопадов здесь не помнили с 1... года. Пушистый снег укутывал улицы, дома и тонкие деревья, засыпал причалы, качался на черной воде Бухты. Жители города, к холодам таким не привыкшие, кутались во что попало, старались не выходить из своих домов, в которых тепла никакого не было, но все-таки не падал снег и не дул ветер. Цены на топливо подскочили неслыханно. На дрова рубили старую мебель: торговцы мебелью превращались в торговцев дровами. Автомобили стояли, погребенные под снегом, на не расчищаемых от снега улицах. Богатые иностранцы предпочитали отсиживаться в отелях, поглядывая время от времени из-за штор на помертвевший город (некогда — Второй Рим). Из Восточной Турции стали прибывать посылки с шерстяными вещами. Слали и из других стран: поговаривали, что даже из России прилетел самолет.

9

А от матери Юре пришло письмо. Его принесла колкая и грубоватая почтальонша Мария, не любившая свое нелегкое дело.

Она вручила продолговатый конверт смущенному (он всегда смущался при столкновении с незнакомыми представителями низших классов) мальчику и потребовала расписаться на каком-то клочке. «Вот здесь»,— и ее грубый палец придавил что-то и совершенно расплющил. Юра написал в том месте: Иржи... и захлопнул дверь, подумав тотчас, что надо было что-нибудь дать ей на чай или на что-нибудь еще, может быть, не на чай, а скажем, на молоко. Но поздно! И он отправился в комнату с роялем читать письмо. Из разорванного плотного пакета выскользнул белый, вдвое сложенный листок, плотно исписанный знакомым маминым почерком, ровно-упругим и скорым. Вот содержание письма.

«Стамбул, Турция

27.02

Милый Иржи,

здравствуй, мой дорогой сын. Ты ведь ждал, что я тебе напишу. С самого нашего с отцом отъезда я не переставала думать о тебе, все время волнуюсь за тебя, корю себя, успокаиваюсь ненадолго и опять тревожусь. Хотя повода ведь нет, ведь все у тебя в порядке и ты прекрасно ладишь с дядей Игорем, не правда ли? Отец твой все время меня вышучивает, но в глубине души и он неспокоен. Мы ведь никогда прежде не расставались с тобой так внезапно и не уезжали от тебя так далеко. Только здесь я поняла, что мы могли преспокойно взять тебя с собой. Почему мы поступили иначе, сказать не могу — какая-то нелепая загадка. Но Бог с ним! Ты должен будешь непременно мне написать обо всем, слышишь, обо всем, что тебе покажется важным, я хочу, чтобы ты, сообщая мне о себе, не скрывал от меня ничего: пиши, как ты питаешься, что делаешь вечерами, как идут твои занятия, о чем вы говорите с дядей, что он просит от тебя. Мне все это необходимо знать. Но отгоняю прочь все нелепые предчувствия — ведь я уверена, что у тебя все прекрасно, мой дорогой мальчик.

А теперь несколько слов о нашей с отцом здесь жизни. Мы живем в хорошей гостинице в центре Старого города. У нас просторный трехкомнатный номер, обставленный вполне по-европейски, и схорошей прислугой, более-менее говорящей по-английски и по-французски. На недостаток комфорта жаловаться грех, да и ехали мы сюда не в поисках удобств, и, говоря правду, готовилась я к значительно более экзотическим, что ли, усло-

виям быта. Город еще толком не осмотрела. И не только по своей вине, но и из-за удивительно холодной для этих мест погоды. Представь себе, тут все последние дни (уже дней пять кряду) идет сильный снег, все кругом засыпано им, проезду нет, да и проход затруднен. Здесь не привыкли к тому, что улицы надо чистить от снега, и жизнь поэтому почти совсем остановилась. Мы едва выходим из гостиницы, довольствуемся короткими прогулками к маленькой площади, что неподалеку от нашего отеля, где снег как-то ухожен, притоптан и где находится облюбованная отцом кофейня. К слову, турецкий кофе, который здесь варят, совершенно непохож на тот, который мы пили с тобой как-то раз в армянском кафе, помнишь? Этот кофе гуще, много крепче, а главное, у него совершенно другой вкус. Но много пить его нельзя, может сделаться сердцебиение. Вот видишь, какие скупые у меня впечатления. Надеюсь, что твое письмо поможет мне внимательней отнестись ко всему меня здесь окружающему, а то сейчас все мои мысли пляшут вокруг тебя, и я ни на чем другом сосредоточиться не могу. Итак, обещай мне писать, я буду тотчас отвечать тебе, и веди себя так, как мы с отцом тебя учили, не забывая, разумеется, во всем слушаться дяди Игоря.

Целую тебя, мой сын, крепко-крепко. Твоя мама».

10

Такой яркий, капающий день вдруг выдался. Лучи ринулись растапливать снег, выводить из оцепенения стены и деревья. Окна обнаружили свою накопленную за месяцы зимы нечистоту и тем делали пребывание в комнатах неуютным — будто сидишь в подвале или в каком-то давно необитаемом помещении. Влажный подвижный воздух дохнул весною, пробуждением, возвращением. Улицы стали на глазах очищаться, повеселели, запестрели, словно их вдруг к какому-то неведомому празднику кто-то решил высветить всевозможными флажками. Порт принимал море. Оно будто просило прощения за столь неуместную выходку и теперь прилещивалось к каменным причалам. Запахло чем-то терпко-незнакомым, волнующим, синеватым. Старые мимозные деревья собрались цвести...

А вот что писал несколько дней спустя матери Иржи его дядя и ее двоюродный брат Игорь Францевич:

«5.3

Дорогая Милена,

несколько дней ожидал твоего письма,— ты, если мне не изменяет память, просила выждать небольшой срок, дней в пять, после чего писать, хотя бы первым,— не дождался, и вот пишу тебе, как и было уговорено.

У нас, слава Богу, все хорошо. Все здоровы, происшествий никаких. Но это в общем, что, знаю, тебя ни в коей мере не удовлетворит и удовлетворить не может, поэтому перехожу к деталям. Начну, как и должно, с Иржи. Он хороший, воспитанный, аккуратный ребенок. Он сам встает каждое утро в семь часов, умывается, делает кое-какие физические упражнения, принимает душ, после чего мы садимся завтракать. Завтрак я готовлю сам. Обычно меню включает овсяную кашу, молоко, вареные яйца, сыр и джем. Пьем поочередно то чай, то кофе (замечу в скобках, что к обоим этим напиткам твой сын полностью равнодушен, а это, как считают, свидетельство уравновешенности и здоровья.) После завтрака Иржи уходит в школу, а спустя некоторое время приходит прислуга убирать со стола, подметать комнаты и готовить обед. Я, чтобы не мешать ей, ухожу из дому на прогулку. Около часу пополудни я уже дома, а в два приходит Иржи, иногда не один, а с кем-нибудь из приятелей, и мы садимся обедать. С обедом у нас все обстоит прекрасно; из блюд, которые готовит для нас Марта, твоему сыну больше всего по вкусу рисовый пудинг — но и все остальное, как мне кажется, удастся ей на славу. После обеда бывает одно из двух: либо твой сын отправляется провожать обедавшего с нами приятеля, либо остается дома и листает журналы, иногда читает книгу. Сиеста у нас не длится больше часу-полтора. Наступает время приготовления уроков. Обычно я сам просматриваю задание, чтобы знать, что требует большего внимания и главных усилий. На занятия уходит два-три часа, я проверяю работу, и мы приступаем к историческим беседам. Обычно они бывают связаны с темами уроков.

Но я счел целесообразным расширить их круг, обратившись к истории Византии. Надеюсь на первых порах пройти вместе с Иржи книжку Робера де Клари о завоевании Константинополя Крестonosцами. Но это не такой легкий автор, приходится самому много комментировать.

В половине седьмого мы садимся ужинать. После ужина Марта уходит, мы же с Иржи вступаем в полосу вечернего музицирования, слушания радио (он очень это любит) и чтения книг (это мое). Я нашел, что мальчик неплохо подготовлен на фортепьяно: ему вполне по силам произведение средней трудности. Мы разучиваем пять детских пьес в четыре руки Равеля — они хоть и называются «Матушка-гусыня», по содержанию своему серьезны и даже вполне репертуарны. По радио слушаем всякие новости, особенно следим за сообщениями из Стамбула. Но одно дело узнавать их из радиопередач, и совсем другое — получать сведения из первых рук. Надеюсь, намек сей окажется вполне прозрачным. Так что жду твоего письма.

Целую и обнимаю, твой брат Игорь».

Игорь Францевич у себя в комнате погасил лампу и, должно быть, тотчас уснул. Иржи в своей комнате сидел, глядя в черное окно, подперев клонящуюся голову кулаком. Письмо матери он было начал, но как-то не так, отложил его, сел за рояль, уже после того как проиграл положенный час с дядей, но вскоре оставил табурет и устроился у окна. Волны, изумрудно-тяжелые, мягко разогнавшись, бьют об исцербленный светлый берег. Какие-то люди тянутся по пыльной дороге к воротам, за которыми начинается плотный лабиринт пропахшего кофе города. Солнце садится. По противоположному тротуару идет человек в просторном сюртуке, с повязанным вокруг шеи шелковым бантом, отчасти скрываемым пышной бородой. Он идет не торопясь, явно наслаждаясь вечерней прохладой, розовым закатным светом, трепетом свежей листвы. А совсем неподалеку на маленькой площади, под чахлыми жестколистыми деревьями, другой человек, маленький, проворный и большеносый, ходит взад и вперед, заложив руки за спину и поминутно поглядывая куда-то вверх, на ослепленные

солнцем окна, при этом лицо его принимает выражение нетерпения и досады... «Стамбул гяуры нынче славят». Надо будет спросить завтра у И. Ф., кто такие гяуры. А заодно, как называлась вторая, вроде бы вторая, часть трио Равеля, которое они ходили слушать все вчетвером, с мамой, отцом и только-только появившимся, абсолютно чужим человеком по имени Игорь Францевич. Какое-то непривычное, совсем не итальянское слово. Наверняка же у него сохранилась программка. Сидели тогда очень близко, во втором ряду, концерт был камерный. Слева на эстраде стоял мольберт с укрепленным на нем цветным непонятым и веселым рисунком. Отец обратил внимание матери на него, что-то сказал улыбаясь. У виолончелиста было очень серьезное лицо, он старался. А вот скрипачка, темноволосая, длинноглазая женщина, успевала улыбнуться в коротких промежутках между тактами. В перерыве отец и дядя заспорили о чем-то, а они с мамой спустились вниз по долгой лестнице в буфет, где продавали кофе, печенье и ананасный компот. Неизвестные молодые немцы сзади громко делились впечатлениями. Когда возвращались домой, вдоль улицы дул холодный ветер.

За завтраком И. Ф. непринужденно шутил, пустился рассказывать свой сон. «Представь себе, Юра, я оказался в одном автомобиле с двумя моими студенческими приятелями, и автомобиль наш быстро взбирается на мост, мост через широкий канал, и мы уже едем по нему, а он вдруг исчезает, но мы не падаем, хотя очень страшно. Каким-то непонятым образом мы подолжаем ехать по воздуху, но самое удивительное при этом...» — Игорь Францевич задумался на минуту, и тут Иржи, сочтя, что можно и перебить запнувшегося дядюшку, задал ему первый пришедший на память вопрос.

— Вторая часть? Пантум. Ну да, вторая часть — пантум, а третья, если я правильно помню (намазывая джем на хлеб), пассакалья. Тебе, кстати, известно, что означает это слово? Так называется танец, который очень любили танцевать при дворе Людовика Четырнадцатого, в Версале. Он основан на одной постоянно повторяющейся мелодии в басу. Ты купил очень непло-

хой джем. Он скоро уже кончится, ты не сходишь еще раз в тот магазин? Тогда купи впрок, банки три.

Игорь Францевич налил в голубую глиняную чашку еще кофе, добавил молока из кувшинчика и, неторопливо помешивая, посмотрел на племянника. Сон был забыт совершенно. Последовал второй вопрос, о гяурах.

— Это любопытная штука, очень любопытная (почему у него сегодня такое хорошее настроение?), сейчас я тебе объясню. Турки, будучи последователями Магомета, как, впрочем, и персы, но там есть некоторая разница, считают людей, исповедующих другую религию, заблуждающимися, даже лучше сказать, врагами истинной веры, иначе говоря, неверными. Неверные это и есть гяуры. А у персов есть слово гебры, похожее слово, которое тоже обозначает неверных, но прежде всего тех, кто поклоняется древнему иранскому пророку Зороастру. Но вряд ли слово гяур происходит от гебра, скорее оно происходит от арабского слова кяфир (не путать с кефиром!), означающего огнепоклонник, язычник, в сущности то же самое. У русского поэта Александра Пушкина, как тебе, наверное, уже известно, есть стихотворение, начинающееся строчкой о гяурах. Если хочешь, мы с тобой можем разобрать его вечером, хорошо?

Но, отыскав томик Пушкина, а в нем нужное стихотворение, Игорь Францевич понял, что для его разбора потребуются слишком основательный исторический комментарий, к которому он, говоря по совести, не был готов, а потому вопрос о гяурах по молчаливому согласию было решено считать исчерпанным.

Лето уже стояло в полном разгаре. Душный город, солнце, разогретые соломенные шторы, пахнущие пылью. Но несмотря на жару, все было бы просто великолепно, если бы однажды во второй половине дня почтальон (другой — не Мария) не принес заграничную телеграмму, в которой по-английски было напечатано, что автомобиль, в котором ехали Александр и Милена..., столкнулся

с поливальной цистерной, в результате чего сидевшие в автомобиле получили серьезные ранения и теперь находятся в таком-то госпитале тчк. Водитель автоцистерны не пострадал и находится под следствием тчк.

Телеграмма была, судя по всему, от полиции.

Алла СМЕРНОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Только вспомнится вдруг, как здесь жили ладонь и ладонь,
Как стоял Плювиоз за окном потемневшим и мутным,
Здесь меж нами и нами престранный живет холодок
И по запертым ящикам — эпистолярная мудрость.
Здесь один ритуал, но об этом пускай — не теперь!
Быт мой каллиграфический — комнатка, письменный столик...
Что я все об одном? И не то приходилось терпеть.
На втором этаже проживает мой друг Эпистолий.
Кроме «милостивый государь» — никому ничего.
Ни «спасибо», ни «здравствуй», ни «как поживаете?», словно
Он давно отошел от привычных законов его.
А «его» — это значит, законов письма (то есть слова).
Со вторым этажом перемирие. Я не боюсь
Ни шагов наверху, ни — когда он спускается после...
Только вдруг среди лета опять пропадает июль —
И — как не было!.. Дальше, как водится, дата и подпись.
Содержание писем? Неважно! Не в этом вопрос.
Ах, читать-перечитывать, — бросьте! чего это ради?
О погоде? Извольте: над нами сейчас Плювиоз.
Да еще Эпистолий — не вовремя — залихорадил.
...Как нам все это памятно. Окна распахнуты в сад,
Здесь меж нами и нами — такое согласие мнений!
Детям сказку рассказывать так: «Жил-да-был Адресат,
В тридевятом ли царстве, в соседнем ли доме, во мне ли...»
Этот «милостивый государь» был на редкость сварлив.
«Государева милость? ее дожидаться годами!...»
Тридцать шесть Плювиозов три года его стерегли,
На четвертый сбежал-таки, только его и видали.
Что я все об одном? Вот когда мы вернемся сюда,
Покаянно-потеряны, словно ни силы, ни воли,
Все исчезнет, лишь вымолвится: «...государь»...
Что, мой друг Эпистолий? Забавно? Теперь-то доволен?

Полно
Юродствовать! Из темноты,
Как мы могли заметить сами,
Торчали голые кусты,
И громко назывались садом.
Стыдился, видимо, и сам —
В заборе — сломанные жерди.
...Так поутру замерзший сад
Свои подсчитывает жертвы.
Довольно же!

...и есть при нем
Сторожка, дворик и ограда,
Он облегченья не принес,
Мы жили здесь, и в сад играли,
И этим исполняли долг.
Но нам бояться не пристало.
Так поутру замерзший дом
Свои распахивает ставни,
Они раскрыться не хотят,
Им ближе полусумрак мнимый.
Как называется октябрь,
Которым проходили мимо?
Как называется? Не плачь,
Не вспомнишь, не узнаем сами.
Его единственная блажь —
Быть поутру замерзшим садом.
Его за это не корю.
Опять неправдою поманит.
Виновен ли в своем обмане?
— О не виновен!
— говорю.

* * *

Я так понимаю: коль скоро какой-нибудь страж
Приметит — не нас! — да о том не случится и речи!
Сперва наверху затихает мой маленький страх,
Затем на ветру закачается храмик-скворечник.
Я так понимаю: у стража глаза велики,
Пускай удивится, что дом заселенный — приподнят,
Что день настанет, у него по краям — сквозняки...
Да вряд ли он помнит. Но как хорошо, если помнит.
Сначала он скажет: «Среди ни своих, ни чужих
На остром краю леденеющей кровельной жести

Ты не понимаешь, над крышей — ни умер, ни жизнь.
Какое блаженство! И я ему эхом: «Блаженство».
Потом он промолвит: «Среди суеты и наград
Еще сожалеем, что день уничтожен и выпит,
Что было бы можно все вспомнить и переиграть.
Да только — не выйдет. И я ему эхом: «Не выйдет».
А после добавит: «Среди баловства и забав
На дальнем дворе, за которым — ну разве что! — поле,
А что там за радость, давно уже, верно, забыл»,
А я ему эхом: «Но как хорошо, если — помнит».
...Когда поутру непонятно, в которой из стран,
И сверху, с карниза сорвется какая-то льдинка,
И двор проходной вдруг становится непроходимым,—
На дне этажа шевельнется мой маленький страх.
Ни крыльев его, ни лицо, ни глаза, ни слезу
Не помню, не вижу, поскольку туманно и поздно,
Но я из пролета затравленным взглядом слежу,
Как он отлетает, и я ему эхом: «И Бог с ним».
Потом вспоминаю, как все это будет с утра:
Сперва потеплеет и станет светлее и резче,
Сперва шевельнется. Сперва просыпается страх.
Затем не ветру закачается храмик-скворечник.
Я так понимаю: покуда какой-нибудь страж
Ответит на это — не знаю — дождем или ветром,
Он будет метаться, покуда какой-нибудь стриж
Крылом не зацепится за провода или ветку.

* * *

Как витиевато звучит этот жест,
И разницы нет между делом и действием.
Но — не отнимай. Я выгралась уже
В то дикое, славянофильское детство.

Твой дом выгибает коричневый горб
Крыльца, он опять не доволен тобою.
Здесь неоспоримы лишь имя да герб,
А прочая жизнь — ворожба для обоих.

Обоих кого? Два похожих лица
Меня охраняли, но это не редкость.
Здесь жили бескрылые два близнеца,
Два призрака тягостных — Зависть и Ревность.

А, впрочем, я чту в себе этот ожог.
В нем шрам не прижился, и боль не тает.
Две тени, в один устремившись прыжок,
Прольются в просвет между небом и птицей.

...Но главная жизнь начинается днем.
Где б ни оказался — взгляни и засмейся!
Когда на исходе полудня мелькнет
В высокой траве — золотистая змейка.

Прорвав паутину, замкнувшую дом,
Я весь перед ней. Я скажу не колеблясь:
— Я так одинок, я рассеян, я добр,
Я бабочек не распиная для коллекций!

Но вдруг, до конца не сказавши еще,
Опомнюсь, когда непривычно и странно
Меня остановит внезапный толчок
Брезгливого и суеверного страха.

...За скользкое тельце на желтом песке,
За корни и листья, что вы разгребали...
Что ваша природа! Пыльца на руке!
Глядишь за окно — не пейзаж, а гербарий.

И долго еще сквозь упавшую тень,
Которая все преломляет и рушит,
Идешь вдоль железнодорожных путей,
Где куст ежевики впивается в руку,

И дальше, в глубь сада, где воздух звенит,
Где день проступает — зеленый на белом,
Где так озверело рвались из земли
Колючего дерева злые побег.

...Но если под утро спускаешься в сад,
Ты, вооруженный сачком и булавкой,
Отпрянешь с крыльца, пред тобой пролетят
Два майских жука — вороной и буланый.

И я отступаю за прутья ветвей,
За желтый цветок, означавший измену,
Затем отступаю на скользкой траве,
И дальше — ау, золотистая змейка!

И дальше, как ни был бы воздух нагрет,
В нем тяжело двоим зимовать и метаться.
Один исчезает. А тот, что остался,
Невидим, как на небе Северный Крест.

* * *

Семь гонцов снаряжу. На вопросы «зачем» и «куда»
Голубиную книгу раскрыть и читать. Но при этом
Так замедлила вдох! Это родина звука — гортань
Не спешит приютить незадачливых репатриантов.

Я скажу семерым: сочиняйте законы свои,
Мне ли вам объяснять — путь неблагословен и опасен.
Как пробыть всемером в умозрительном том житии?
Мне легко. Мне стоять и смотреть. Вам — свершать анабазис.

...Есть печальнее сила. Она нас томит и гнетет.
Вдруг изменит предмет, чей порядок доселе незыблем.
Или птиц распугает. И с флигеля крышу сорвет.
Или детям в песочницы битые стекла насыпет.

Это лежище-стойбище-пастбище на берегу,
Где российские пальмы, и вязы, и лес корабельный.
Или кто-то плутая по пояс, по плечи в снегу,
На мое «Что мне делать?» ответит: «Проснись в колыбели».

Я спрошу у двоих одинаково белых волчиц,
Выходящих на берег и ждущих тревожно у края:
«Что — душа или сердце, — спрошу их, — что больше горчит?»
«Ах, и то и другое», — ответит и та и другая.

Что мне до семерых? Я не помню их лиц. Да любой!
Кто там остановился у края и машет, и машет...
А теперь оглянись — это работороговец Рембо
Погружает весло в ледяную упругость Ла-Манша.

И за то, что сумел откреститься от всяческих бездн,
(Вот, мол, Бог и порог, остальное сгорит иль растает),
Я седьмому гонцу нагадаю семь-верст до небес,
Коль вернется — вернется. А нет — так в лесу проплутает

Я и знаю-то лишь, что земля — о четыре конца,
Что придется идти где на свет, где на звук, где на запах,
Ибо все-таки за наименьшем восьмого гонца
Мне придется самой отправляться на северо-запад.

Шестерых отпою, но последнего нет под рукой.
Это значит, теперь ничего уже с ним не случится.
Здесь не то, что вы думаете, здесь порядок другой,
Здесь обратное правило: бабочка — кокон — личинка.

И когда, наклонясь над колодцем, не видишь лица,
И душа холодна. И молчит. И сознаться не хочет.
Вам достаточно знать — это прихоть седьмого гонца,
Что по небу по небу все ходит и ходит и ходит...

Валерий ШУБИНСКИЙ

ПОСТСКРИПТУМ

1

Генерал стоял недвижим; голубые глаза генерала были — как вид на нетекучую воду в ясный день — прозрачны, но непроницаемы, с достоверностью доброго зеркала отражая окрестности: сейчас — быстрого, маленького, сутулого человека, в лицо коего однажды непоправимо вдавилось конское копыто. Обладай генерал поэтическим воображением, ему подумалось бы — то, подержанное вечно убиваемой им змеей. Еще: знай генерал про некоторого немецкого актерщика, отказавшегося — двадцать лет тому — играть датского принца при живом его двойнике, и смотри, в духе эпохи, романтическим оком, мог бы помыслить: сей Гамлет так и не сбросил расчетливого своего безумия.

Но генерал был сугубый практик.

Телесный взгляд генерала был непроницаем. Тайный взгляд его, будь он видим, выражал бы насмешку, злобу, алч, страх, страсть своего рода, своего рода, если угодно, обожание. Теснее некуда были связаны собеседники: жизненная нить каждого была в руках второго; их связь не в равенстве перед слепой богиней, как у дуэлистов, но отягощена страшным узлом в тридцать миллионов жизней. Жилы генерала втайне вздувались от непомерной ноши; ему было пятьдесят шесть; жизнь его достигла высшей точки.

— Генерал — раздался знаменито-сиплый голос князя Северного, князя Борея (курносый богдыхан набегал на генерала из угла кабинета).

— Вы были здесь в шестьдесят втором?

— Где — здесь? — переспросил генерал, думая, что имеют в виду Россию (он был из выходцев, но русский уроженец).

— В Петербурге. Так были или нет?

Дважды повторенный вопрос, на который генерал поспешил утвердительно — ложь все равно не имела смысла — ответить, не сулил добра не только по сущности, но и по форме: царь обладал правом неограниченного тыканья подданным, мужчинам по крайней мере, обращение на «вы» было признаком раздражения нервов или неблаговоления. Тогда еще не Историограф мог бы назвать это особого рода юродством, подобным юродству Мучителя, в насмешку как бы признававшего обреченного муче и казни собеседника равным себе.

Но отечественную историю в ту пору знали слабо, хотя трактовали ее весьма патриотически. Покойница Екатерина Великая искала следы славян в Новом Свете, производя Гватемалу от «Гати малой»; статс-секретарь Гаврила Державин в примечаниях к собственным стихотворным сочинениям путал, с явным нарушением хронологии, Рюрика Новгородского с тезкой его, взявшим Париж.

— Ну и что вы делали? — уже с явной злостью переспросил голос человека, недостойного власти.

— Я был молод, чрезвычайно молод, Ваше Величество... — медленно подбирая слова, ответил генерал. — Я ехал на коне за своим полком. Слышал крики, стрельбу. Ни я, ни товарищи мои не понимали, что происходит, мы слепо подчинялись нашим командирам и лишь к вечеру узнали, — генерал чуть помедлил, — о случившихся в империи переменах.

— Знаете ли, почему я спрашиваю вас об этом? — просипел император. — У меня есть сведения... Шестьдесят второй год хотят повторить. Есть заговор, а заговорщики готовы посягнуть на особу своего Государя!

Генерал вдруг припомнил запрещенную императором игру: воистину, ему — одновременно игроку и игралищу — предстояло

найти — и нашел, нашел! — единственно пригодный ход: либо его швырнет в деревянный ящик невидимая рука, в ящик, где все равны — пешки с ферзями, либо прокричат румяные офицера: «Мат королю!», и их умные кони заржут: «Мат королю!», мстя русскому Калигуле за неконелюбивость...

— Да, Ваше Величество, — сказал генерал. — Есть заговор, и я сам в заговоре. Не удивляйтесь, Ваше Величество. Все нити, все нервы злоумышления держу я в своих руках — как бы иначе мог я сделать это? Положитесь на мою преданность и будьте спокойны...

Государь был растроган. Ему мало было верности: он желал любви. За недостаток сыновней любви, преданной и бескорыстной, подданные карались кнутом и Сибирью.

Много лет спустя генерал вспомнил этот день — за два до того, главного, победного, прославившего его, как ему думалось, в веках и, как оказалось впоследствии, надломившего, обречшего на бесплодное увядание собственную его жизнь. Генерал вспомнил этот день в разговоре с одним молодым вольнодумцем, сыном лилипута, грабителя Сибири. Этот молодой человек, тезка покойного государя, стремился, как и тот, к благоденствию всех и каждого, будучи при этом, как и он, царубийца, холоден, умен и ко всему готов. По некоторым признакам он был заговорщик — настоящий или будущий.

— Знайте — знайте, юноша... — сказал старик-генерал, — знайте, юноша, если вы пытаетесь достичь чего-нибудь втайне: вы вовлечете в заговор двенадцать человек, и двенадцатый будет предателем.

— Не желаю обидеть вас лично, граф, — сказал молодой офицер, — но большая часть тогдашних ваших товарищей действовала единственно в видах личной корысти, либо из любви к тайне и опасности. Чего же можно было ожидать от этих людей? Напротив, союз собратьев, объединенных заботой о благе отечества — в сочетании, конечно, с достаточной дисциплиной...

— Чем же вы тогда отличались бы от франкмасонов? — прищурился старик.

— Явностью цели и готовностью к действиям практическим.

Этот разговор доказывает, что напрасно вождя и героя российских свободолюбцев называли учеником старого генерала. Жить им оставалось примерно одинаково — старому и молодому — лет десять.

Он переехал в готический дворец, где каминные трубы не согревали сырого воздуха и в углах каменных стен оставался слой льда толщиной в два дюйма. Смолоду он строил в своих загородных имениях рыцарские замки, но средств не хватало, и замки выходили игрушечными. Дворец был мечтою его жизни и венцом его царствования. Но покоя не было: в холодном замке сразу же завелись призраки — и не призраки рыцарских времен, уже самой своей отдаленностью освобожденные от причастности к мукам, разложению и крови, — нет, отечественные, домашние: с посиневшими лицами, ввалившимися глазами, багровыми шрамами — Алексей, Иван, Петр. Он был человеком невысокого роста, за которым тянулся на двенадцать тысяч верст чудовищный шлейф власти. Он дорожил этой тяжестью. Сейчас он впервые понял, что может потерять не только власть, но и жизнь.

Нити все стягивались. Уже составлял отреченную грамоту хитрюга-малороссиянин Трощинский, обменивались многозначными намеками наследник и Генерал. Вечером император обсуждал с генералом благоустройство новых апартаментов.

— Великолепно, Ваше Величество, — сказал Генерал. — Но для Вашей безопасности позвольте подать еще два совета. Переставьте часового вон к той стенке — для большего обзора. И второе, — генерал перешел на полусшепот, — заколотите вторую дверь.

Вторая дверь вела в опочивальню императрицы. Мария Федоровна знала о матушкиных предсмертных планах и не сказала ему, мужу. Она была изменница. Это перечеркнуло все — и странную двадцатилетнюю идиллию втроем с графиней Нелидовой, платонической подругой русского Гамлета. У него не было больше оснований доверять жене. Супружеских отношений они также уже не поддерживали.

— Пожалуй, ты прав, — сказал император, не улыбувшись, но все-таки чуть не улыбувшись. Ему полегчало.

Арестуй император графа Палена третьего дня или хотя бы не заколоти дверь — история еще могла бы произойти примерно таким образом.

Беннингсен-Зубовский отряд, в поисках бегущего, как заяц, и скрывающегося в дворцовых закоулках самодержца поднимает шум; верные гвардейцы вступают в схватку с неверными; во дворце перестрелка; солдаты вяжут офицеров-изменников. Солдаты в целом любили императора. При Павле их секли примерно столько же, сколько до и после. Зато при Павле били офицеров — такого удовольствия никакой другой государь не доставлял солдатам. Поэтому сейчас солдаты, по привычке послушавшись своих командиров и пойдя на изменное дело, одумались и, каясь, на ходу, вяжут офицеров — на ходу же соображая: «Будут ли бить?». Солдатские спинные мозги — чудо природы, быстрее и тоньше некоторых головных, подсказывают: будут, но если быстро связать злоумышленников, не до смерти, и даже, может быть, не очень больно. Тем временем сам виновник схватки скрывается на супружеском ложе, коего не посещал уже года четыре; Марья же Федоровна на ходу и вдохновляет, искупая давнюю вину.

Настает утро, и государь, спасшийся для своего народа, является перед спасшимся от такой беды (цареубийства) народом. Народ — солдаты и питерские зеваки-обыватели — приветствуют спасенного кесаря... Или: народ безмолвствует. Но тогда император, смущенный и раздраженный народным безмолвием, ушел бы в покои, где кричал бы и бесновался перед арестованными заговорщиками, окончательно походя на собачонку (Христофор, рыцарь и пес)...

И когда веселые гвардейцы, сломав подпиленную шпагу, принародно секли бы барина, графа Зубова, император с балкона с неподвижной улыбкой глядел на экзекуцию. (Все происходило у памятника — тяжелого Ростреллиева всадника). Второй раз

он испытывал это чувство — оргазм мести: первый — когда короновал костяк убиенного родителя, и убийца, Орлов, нес корону и скипетр за гробом. Второй раз он был императором себе и для себя и теперь, как тогда, предчувствовал последующую пустоту и тоску. Ведь победа была столь полной, месть столь искусной, что и казнить или карать старика не было соблазна — что, впрочем, было и невозможно по высшим интересам... А все же — тогда он почти понял то, что поймет теперь: что малейшее унижение безгранично, а его унижению нет цены и конца и никакая месть не сотрет боли, которую излечит только забвение. Но ему не дано забвения — маленькому императору, маленькому великому человеку.

Княгиню Дашкову, арестованную в подмосковной, везли в закрытой карете в Петербург. Княгиня — к счастью, ей разрешили взять прислугу — была в обмороке от качки по ухабам, усталости и страха: несколько лет назад, еще в новгородской, в ссылке, она встретила страшного человека, заику с с трясущимися руками — он проезжал через ее деревню, и в экипаже сломалась ось. Он ехал из Петербурга, где был ложно обвинен и подвергнут кнутобойству: человеколюбивый государь Петр III, лишенный престола при ближайшем участии княгини, отменил пытку, но кнут остался. От безумца, к тому же недоубитого, можно было ожидать чего угодно.

В это же время из деревни, из опалы скакал в столицу Аракчеев, генерал с лицом сметливого фельдфебеля, воплощение российской хищной и дальнзоркой государственности. В то время ему было тридцать лет — он был молодой, верный и зубастый пес. Наследник, которого хватились в первые же часы, исчез в неизвестном направлении. Константин сидел под арестом.

...Когда ему предложили назначить суд над заговорщиками, он произнес фразу, которая стала бы исторической (будь она сказана): «Я сам здесь отец и судья». Действительно, после четвертования Палена и Зубова он неожиданно помиловал прочих. Петербург, однако, жил по часам, жители, до последнего мещанишки, были на виду. Петербург жил в страхе: милость Арлекина была едва ли еще не страшнее гнева. Вдруг он понял, что дворец с привкусом готических тайн, где отныне он императорствовал, и мечта о великом, вечном порядке находятся, по крайней мере на поверхностный, чуждый взгляд — в смешном противоречии. Прадед строил легкие дворцы с большими окнами. Он не был спо-

собен на эту великанию доверчивость, но хотел сыновней ласки. Он отверг верность подданных, потому, что верности было недостаточно, в результате подданные были ему неверны, а сыновья его стали врагами.

И настал день, когда лед этого ложного благоденствия и пугливого покоя был взломан; этому предшествовали долгие ночные беседы с Аракчевым — в этом честном и верном офицере тайлся великий державный ум. Ночами он развивал перед кесарем свои великолепные прожекты. В умах обоих — царя и подданного — возникала из не слишком вертких военных фраз, как в уме зодчего здание (в уме невольного каменщика — петропольская готика), Новая Россия. Нелепый, придавший русскому дворянству столько гонора указ — несчастная ошибка благородного Петра III, отменялся. Взрослые дворяне мужеского пола служили, как при Петре Великом, рекрутство упразднялось, как основанная на жребии нелепость, зато все без изъятия государственные крестьяне переводились как бы на военное положение... Так в тиши сырого и хладного замка рождалась бы вошедшая в другую историю солдатско-земледельческая утопия. При этом, натурально, господские имения управлялись бы, за отсутствием служащих отечеству хозяев, государственными управителями, кои обеспечивали бы установленный правительством размер повинностей и примерное единообразие и опрятность домашнего быта. Эти унтер-офицерские мечтания накладывались на романтическую натуру императора, переплавлялись в недрах его души, как-то скрещиваясь с тайной мечтой о рыцарском ордене, объединяющем все дворянство империи во главе с государем. И посыпались указы — один за одним, на сей раз, по торопливости, присущей царствованию, почти без предварительного переваривания в канцеляриях — и, свободные от привычной казенной дури, они были глупы особенной, не от мира сего дурью и, как оказалось, совершенно неисполнимы.

Он не знал, что переполнит чашу; переполнило нашествие мальтийцев. Капитул ордена, располагавшийся в Петербурге, призвал рыцарей спасти преданного своим народом гроссмейстера. Смуглые воины в черных плащах, выбравшиеся с английской Мальты, прибывшие в Одессу — маленький порт, основанный в Таврии цареубийцей де Рибасом, — устремились к столице. Мальтийцы наезжали из Германии и Швеции; питерские обы-

вательницы находили их привлекательными. Из страха рыцарей принимали в хороших домах. Патриоты неистовствовали.

Все окончилось как-то неожиданно просто: еще неделю назад город говорил о затянувшемся отсутствии наследника, живущего, по слухам, отшельником в Сибири. Вдруг — вскоре по Рождестве — прошел шепот: Александр объявился в платовском казачьем войске, уже полтора года маршировавшем завоевывать Индию и сейчас обретавшемся где-то в киргизских степях. Войско повернуло назад; Александр объявил об отрешении безумного родителя. По другим же сведениям, наследник обнаружил себя в Таганроге. Таганрогский Александр шел на Москву; второго февраля 1802 года он взял без единого выстрела первопрестольную, где провозгласил себя — Государем, Павла, — низложенным, а Александра Платовского — самозванцем.

Петербург присягнул; покинутый всеми, с кучкой верных — графом Аракчеевым, графом Кутайсовым, графом Кюхельбекером — он бежал в Гатчину, в нерешительном бездействии, как когда-то отец, ожидая своего часа. На третью ночь за ним приехали вежливые гвардейцы. В закрытой карете пленного царя привезли в изменившую ему и покинутую им столицу. «Народ... народ отомстит», — думал он в полусне, перебирая в уме запрещенные им же слова — Отечество, Граждане... При слове «народ» он представлял себе бородачей в красных сапожках и девушек в кокошниках; а граждане — это были горожане, мещане, такие же бородачи в картузах и долгополых кафтанах. Его не повезли ни в крепость, ни в матушкин дворец — отчего-то в этот уже ненавистный ему замок — неужто сын принял его в наследство?

Его оставили в холодной дворцовой спальне. Через полчаса он крадучись подошел к двери; дверь была незаперта. В начале коридора стоял безмолвный часовой. Увидев Павла, он взял под козырек. Лишь в этот момент догадка родилась в душе императора. Прежним, царским голосом он велел позвать дежурного офицера. Через несколько минут он, уверенный в своей силе, не глядя на собеседника, сипя, отдавал приказания:

— Эту дверь — он указал, какую, — пусть заколотят. Да, переставь часового — вон туда... Там обзор лучше... Все.

— Слушаюсь, Ваше Величество, — ответил дежурный.

И, засыпая, щуплый стареющий мужчина, он ворочался в сходящихся кругах эфирной воронки, покачивался, как в колыбельке, в легоньких стеклянных временах; довольно произвольного движения — разбить одну из тончайших оболочек, сломать одну из перепонек.

И так вот он спит, покачиваясь, как младенец, покряхтывая, как старик — а он стар, вправду стар, а за окном позвякивает на ветру волшебный сад — зеркальный и мозаичный, где на розовой площадке, легок и молод, поднял руку он же, из бронзы. Город, названный его именем, в двух шагах от Российского Трианона, где царствует со славой его сын, отдан ему, смирившемуся и отрекшемуся, в вечное владение.

Сейчас, после утреннего кофе, он выйдет в сад, как бы вырезанный из бумаги и все же переливчато-сырой, живой, северный, осенний, в сопровождении таких же стариков, одетых по моде двадцатилетней давности — в пудренных париках, узких немецких камзолах, башмаках без пряжек и полосатых чулках, мучительно обтягивающих вспухшие, подагрические ноги. Два юноши появятся вдруг в конце аллеи — один из них ему известен; это сын старого верного слуги и друга — покойника Кюхельбекера, Карла Иваныча, один из немногих, пользующихся правом неограниченного доступа к экс-императору. Спутник его пониже ростом, быстрый худощавый брюнет.

Ветрено; запахнув поверх генеральского мундира ватный халат, старик восседает за выставленным на воздух мраморным столиком, за коим, в подковообразной галерее, головы цезарей — Домициана, Калигулы, Каракаллы. Молодые люди приближаются, камер-лакей, подбегая к мраморному столику, спешит с докладом, но он останавливает его полувзмахом маленькой белой руки. Ах, как не к месту эти синие курточки с блестящими пуговицами — будто лицедеи из другого спектакля по ошибке ворвались на сцену; как будто сам девятнадцатый век, новый, непонятный, вошел со своей несносной учительской указкой.

Но Вильгельм — Вильгельма он любит; может быть, за то, что здесь, где единственная точка отсчета он — маленький и коре-

настый, длиннорукий и длинноногий Вилли был особенно забавен. Говорит, что в этом — как бишь — Лицее дразнят его Дон-Кихотом. Вот ведь и его, императора, называли когда-то уродом и Дон-Кишотом — в тех проклятых пасквилях, что подсовывали в ящики, установленные по его указу в столице, чтобы вопль уязвленных неправосудием подданных мог дойти непосредственно до Государя. Матушку, небось, этак не звали, ее и стихотворцы в одах как хвалили: мол «не донкишотствуешь собой». И ведь права была покойница, думал старик с невыразимой, нездешней скукой, обегая глазами видимую часть своего волшебного сада.

Вилли между тем представляет своего друга, по обыкновению, заикаясь. Первый слог расплывается в какой-то «пуп» или «пэп», поэтому боярская фамилия Виллиного приятеля вдруг кажется Его Бывшему Величеству чрезвычайно смешной (пиф-паф!).

Вдруг он оборачивается, и парк слышит его глухой, вороний, еще осипший от старости голос.

— Вы дурно воспитаны, молодой человек! — кричит он. — Государь, удалившийся от дел, есть помазанник Господен, сложивший с себя власть, но не благодать, а не шут и не чучело из Кунсткамеры. С какой стати вы вздумали показывать меня своим друзьям! (Он говорит по-немецки, не без удовольствия замечая, что Вильгельмов спутник, кажется, ничего не понимает).

Вконец смущенный Дон-Кихот пытается что-то объяснить про своего друга, который, как и Вилли, стихотворец, и, оказывается, этот смуглый пухлоротый юнец (он некрасив, но в нем есть какой-то огонь, он должен нравиться женщинам) чуть ли не единственная надежда России (эта грубая лесть вдруг произносится по-русски, к вящему смущению этого... пиф-паф). Великая на стихотворцев надежда — Державин покойный, сенатор и коммерц-коллегии председатель, вздорный был господин, невежа и сутяга. Он и сам смолоду баловался виршами, а матушка — та, хоть бумаги пуды всяким вздором исписывала, а в рифму двух строк связать не могла. Вильгельм что-то еще говорит про этого мальчика — про его деда, верного Петру III, взбунтовавшему в 1762 году измайловцев и отказавшемуся присягнуть матушке Екатерине Алексеевне. Павел добреет.

Павел добреет и начинает вспоминать свою юность... Вот и он баловался стихами, и он говаривал о конституционном правлении с графом Никитой Паниным. Тогда был заговор, и Панин

с Денисом Фон-Визеном предлагали ему трон, если он согласится на конституцию. А через год Петр Панин, брат Никиты, привез в чугунной клетке казака Емельку — Лжепетра. Ах, каков был этот казак — черняв, глазаст, сух, мал, с белыми, как смерть, белками! А они — конституции сочиняли...

— Тирания порождает рабов, рабство пестует тиранов... — темное лицо Вильгельмова спутника розовеет, сам Вильгельм быстро, прерывисто дышит, судорожно шевелит пальцами, еще вдвое больше заикается. Что они говорят, эти странные юноши, — общественный договор, либерте, эгалите... Как зажигают их кровь эти когда-то запрещенные им галльские слова, и, пожалуй, сегодня они и ему приятны.

— Вас, что, в этом вашем Лицее всему этому учат? — заливаясь экс-царь. — Хорошо Александр Павлович воспитывает российское юношество! Да он всегда был якобинцем. Ну, а гильотина, а ужасы робеспьеровы — с этим как? Как бы этого и не было...

— Но вы, Ваше Величество, — вдруг говорит этот горячий, щуплый, гибкий брюнет, — разве вы не были российским Робеспьером — Робеспьером наизнанку? Мечтая привести мир к тому, что считали истинным, вы не уважали человечества и нарушали естественный закон.

— Что ты понимаешь в этом! — закричал Павел. — Слушайте меня — я был последним настоящим государем в Европе. Последним, кто мечтал о порядке, основанном на любви и верности, о благородных рыцарских временах...

— Но в России не было ни рыцарства, ни феодализма, — преврал его смуглый юноша. — Одна фамилия правила безраздельно...

— Последним, кто сопротивлялся духу эгоизма и корыстолюбия, обреченным на поражение и потерпевшим его...

— Это романтизм, — вдруг сказал брюнет. — Ваше Величество были романтическим императором.

— Что-что? — переспросил Павел.

— Это исторический термин, — объяснил Кюхельбекер. — Так новейшие немецкие философы называют отвращение от классицизма и пристрастие к готическим временам...

Разговор переходит на литературу, потом, описав круг, возвращается к яицкому самозванцу, коим очень интересуется Виллин товарищ. Между прочим, поминают Лжепавла, явившегося

лет семь назад в платовском войске, шедшем в Индию. Говорят, он был подослан Наполеоном, недовольным двусмысленной политикой русского самодержца после совместной победы при Аустерлице. Это и послужило поводом к окончательному разрыву с Францией.

Потом юноши не то уходят, не то как-то незаметно исчезают, постепенно редеет свита, появляются какие-то новые люди в синих халатах — они аккуратно, складывают в нумерованные мешки головы цезарей, скатывают, как ковер, дворец, обрывают листву, сметают метелкой облака...

Разбуженный переменой часовых на дворцовой лестнице, он лежал на своем одиноком имперском ложе — в белых кальсонах и белом полотняном камзоле, без короткого, похожего на горшочек, парика, в котором судьба ему остаться в истории.

Он подходит к окну, отдергивает занавес и видит, что настало утро, ломкий мартовский Питер тонет в розовой патоке. Не пришли. Не убили.

Вдруг он начинает вспоминать все свое незадачливое правление, день за днем, со множеством не идущих к делу подробностей — как, например, он заставил какую-то няньку сорвать картуз с головы годовалого младенчика, нагло стоящего пред императорской особой с покрытой головой. Как смешно, Бог мой, а дурацкие эти указы — про женские раздвоенные воротнички, про тупей, на лоб спадающий... Еще бы раз все, да по-другому! Он прикрывает глаза, и перед ним выстраивается огромное необозримое «Пе» — сотни, тысячи мальчиков, двухлетних, пятилетних, пятнадцатилетних, с тупеями, на лоб спадающими, с лицами, уныние наводящими, в картузах, треуголках, галльских круглых шляпах... «Сними картуз, дура!» — пробует крикнуть он, но крикает барабан, гудит горн, мычит кларнет — крика не слышно.

Он отнимает ладонь от глаз — светло, совсем уже светло... Там, перед дворцом, стоит большой человек в бронзовом горностае и бронзовом лавре. Он водрузил эту пышную и грузную статую, столько лет ждавшую своего часа, чтобы никто, ни единая душа больше не усомнилась, что император Павел есть единственный наследник Петра Великого, законный сын благородного неудачника Петра III, а не подкинутый чухонец и не ублюдок матушкиного фаворита — Сергея Салтыкова. И он — он знал это: недаром же было с ним печальное благословение гиганта. Было

это двадцать четыре года назад, вскоре после рождения старшего сына — забывшись в карете, он вдруг увидел страшную, в полтора человеческих роста тень и услышал гробовой голос, несколько раз повторивший четыре слова: «Бедный принц! Бедный Павел!»

Как удалось ему незаметно миновать часовых, отчего так безлюдно Марсово поле — огромный серый пустырь, выровненный ритмическими ударами тысяч солдатских сапог? Одышливый кумир недовольно глядит из-под черного лавра.

— Здравствуй, Питер! — говорит император.

Веко металлического коня шевелится, губы всадника расплываются в неуютной, негибкой улыбке.

— Видишь, ухажу... — белая, трясущаяся ладонь гладит не успевшую позеленеть конскую ногу. — Я не смог. Отчего я не смог, скажи, Питер, ведь я хотел быть таким, как ты, следовал тебе, и отец мой следовал тебе, и у него тоже ничего не вышло.

Брови памятника сводит суровость, и видно, как дергается его вздутая щека.

— Что ты сделал? — говорит памятник.

Белый кулачок ударяет по холодному черному металлу.

— А что ты сделал? — кричит Павел. С ужасом он слышит собственный сиплый голос, доносящийся как бы извне, из соседней комнаты. — Ты уложил миллионы мужиков в болотах ради своей адской столицы, своей фальшивой Голландии. Ты завел России этих господ в кружевных воротничках, с туманными глазами, которые пишут эклоги, душат государей, рассуждают об естественном праве, готовятся к посвящению в каменщики второй степени и торгуют людьми. Ты убил своего сына, а меня убьет мой сын, и все-таки я, а не ты, останусь в веках злодеем и тираном. Но и ты не важничай — у тебя ведь тоже ничего не вышло. И потом, у меня есть еще одно преимущество — я еще все-таки жив, а ты — кусок бронзы. Бездушный, безумный кусок бронзы. Ужо тебе, Питер...

И в это мгновение конское копыто дернулось и отшвырнуло императора-правнука. От падения он очнулся и увидел, что лежит на полу своей спальни и склонившийся над ним человек со свечой держит его за руку. Сперва он принял его за Палена, но тут же понял, что это — граф Николай Панин, племянник его воспитателя.

Комната была полна народу — мускулистых военных мужчин; ближе всех к Павлу стоял рослый пожилой господин в генеральских эполетах, которого он тоже сначала принял за Палена.

— Ваше величество! — сказал генерал. — Прежде всего, прошу вас сохранять спокойствие и не пытаться оказать сопротивление, так как в противном случае я не ручаюсь за вашу жизнь.

Теперь он узнал его. Это был Леонтий Беннигсен, возвращенный недавно на службу после недолгой опалы.

— Чего вы хотите? — попытался сказать император, но горло свела судорога, и он не услышал собственного голоса.

Но его услышали.

— Народ требует вашего отречения... — это сказал красивый баритон из угла спальни, и в ту же минуту свеча осветила говорящего: это был граф Платон Зубов, последний в ряду матушкиных принц-консротов, коего, как и двух его предшественников — Ланского и Дмитриева-Мамонова, — называла она «воспитанниками» — все трое были моложе ее сына. Зубова, юношу средних способностей, образовала она неплохо — живучи в ссылке в своей деревне, он на досуге сочинял конституцию, осуществления которой теперь чаял.

— Народ вправе потребовать от государя, не выполняющего своих обязанностей перед народом, освободить место достойнейшему... — сказал Зубов. Панин отпустил руку императора и отошел за спину Беннигсену.

— Кажется, все обойдется... — шепнул Панин генералу Яшвилю.

— Как обойдется? — переспросил Яшвиль.

— Без крови.

— Да, а утром он передумает, и всех нас повесят...

Павел тем временем пытался разглядеть лица заговорщиков, В одном из них он внезапно узнал второго своего сына — Константина.

— А, и вы здесь... — с печалью промолвил император. Его вдруг охватила холодная тоска, превозмогшая гнев и страх.

Это была ошибка. Константин Павлович находился под арестом

за неисправно проведенный парад и не знал о происходящем.

К дверям поставили часового; комната постепенно пустела. С минуты на минуту ждали Палена со вторым отрядом. Дворец охраняли верные семеновцы, но от солдат можно было ждать чего угодно. Внезапно раздался крик — часовой, стоявший на лестнице, оказался изменником. Беннигсен быстро вышел из комнаты. Часового связали в считанные секунды. Беннигсен зашел в пустую караульную комнату, приложил руку к прохладному оконному стеклу, потер лицо. Из императорской спальни донесся грохот и крик.

В караульную вошел Панин.

— Император умер, Леонтий Леонтьевич... — начал он.

— Палена не было, — ничего не выражающим голосом произнес Беннигсен.

Утром бледный Карл Иванович Кюхельбекер, ночевавший во дворце, явился домой и сообщил жене о совершившейся революции.

— Ты должен был умереть там, — только и сказала стойкая Устинья Карловна.

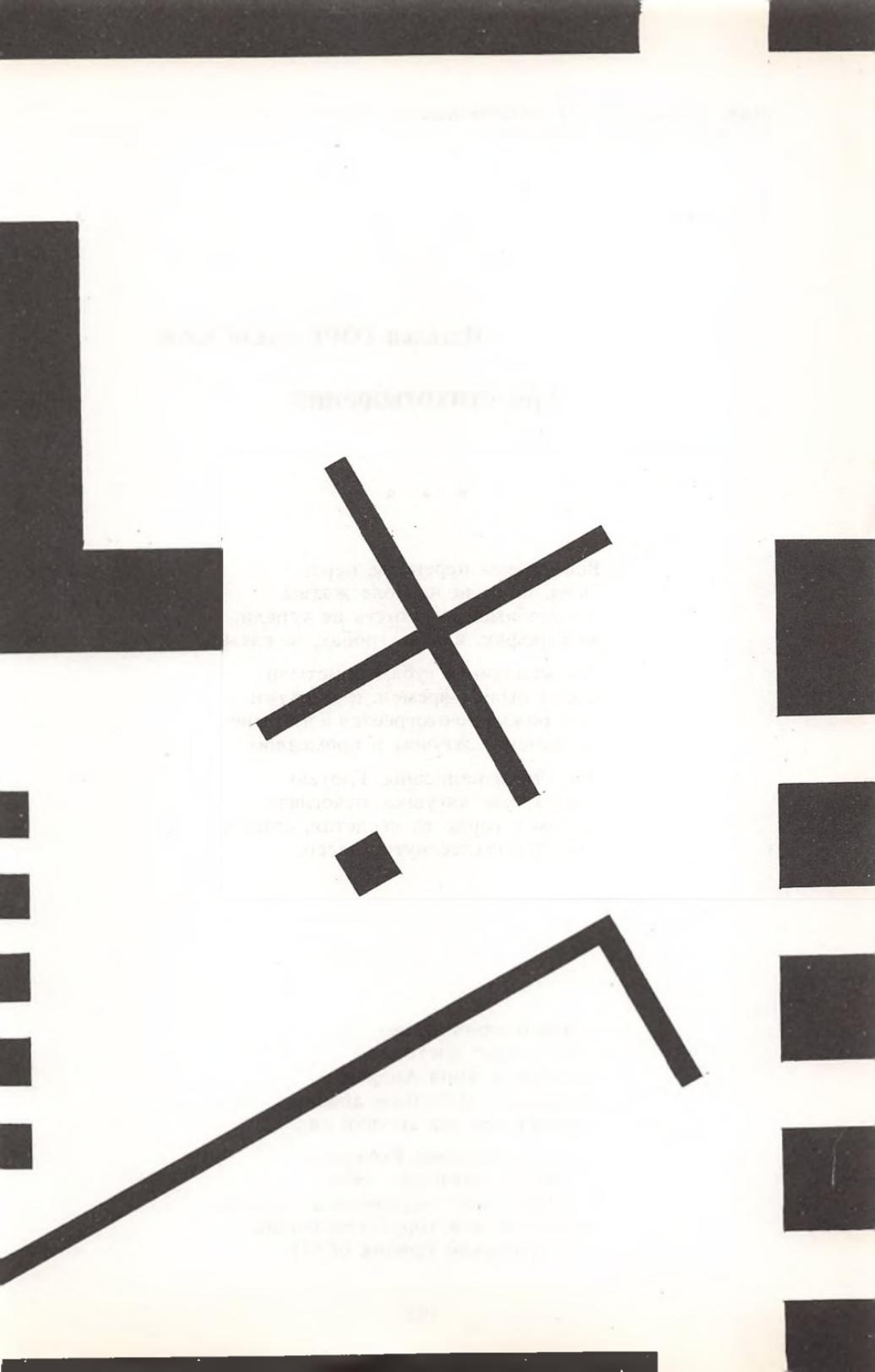
Тем временем сенатор Державин представил молодому государю доклад, где отмечал, что ежели уж Провидению было угодно, чтобы покойный тиран покинул сей мир таким неприличным государю образом, то уж не стоит ломать комедию с апоплексическим ударом, а лучше хоть для виду наказать убийц, на худой конец — убрать до времени из столицы. Александр, прочтя, посмотрел на Державина своим особенным, совершенно без всякого выражения взглядом; этому запечатленному на портретах взгляду он обязан многими своими грядущими дипломатическими успехами; он был не менее сильным и куда более тонким орудием, чем знаменитый еще впоследствии вурдалачий взор его меньшого брата. Державин, убедившись, что толку не будет, вернулся домой и засел за оду на счастливое восшествие на российский престол младого государя, коего рождение он когда-то приветствовал славными стихами, она начиналась так:

— Умолк рев Норда сиповатый...

Сие было стихотворческой хитростью, означая, с одной стороны, март месяц, когда довелось Александру Первому принять российский скипетр, с другой, неявным образом — сиповатый глас и суровость покойного монарха.

Между тем раскольники, благодарные усопшему за некоторые послабления, стали в знак соболезнования присылать вдовствующей императрице свои раскольничьи образа. Иконы эти открыто стояли в ее вдовьих покоях. Пален, будучи зачем-то у государыни, обратил внимание на одну из икон. Будучи лютеранином, он, как ни странно, понял, что в славянской надписи речь идет о мести убийцам супруга. Генерал потребовал убрать крамольный подарок. Царица в гневе побежала к сыну. Палена заставили извиниться. Возмутительная фраза оказалась стихом из Ветхого завета.

Через несколько дней император, придравшись к другой подобной же мелочи, предложил Палену выйти в отставку и пожить в своих имениях. В тот же день он с лаской принял графа Аракчеева, вызванного из деревни, после краткой немилости, покойником Павлом и задержанного было при входе в столицу.



Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Три стихотворения

* * *

Все напевы перепеты, пере-
биты, полегли на поле жатвы,
все любимые, и ахнуть не успели,
во строфах, как во гробах, зажаты.

Все мелодии к губам пристыли
инеем былых времен, и мерзлый
звук рожка не отогреется в пустыне
на хамсине жгучем и промезлом.

Все стихи написаны. Глотаю
воздух, как лягушка, пучеглазо.
Колом в горле та неспетая, спитая,
изнутри захлестнутое лассо.

* * *

Генеалогичное древо
поэзии тряс листопад,
тишайшая Анна Андревна
кидалась в морозные дровни,
и рухал под лед Летний сад.

Гелиоцентричный Коперник
валился с овальных орбит
и, в звездный закутавшись пыльник,
крошился, как торунский перник,
под вяземский пряник обрит.

Что мне! и без благословенья,
и без благодати, и без
открывшегося откровенья
рублю я на рифмы поленья,
и щепки срастаются в лес.

* * *

Но спесь — не в том, что спеть
про степь да степь кругом и дальше,
а чтобы молвить: «Передай же
поклон...», — распластывая песть
в ладонь, сводимый конь
закинет голову на гриву,
и полнолуние к приливу
ковьяльному прильнет, не тронь
крыла души-щегла,
взлетающей — взлетающего
наружу из глухого чрева,
туда, где дальняя легла
доро-о-о...женька до ро-
кового в поле перепутья,
чтобы самой ли спотыкнуться,
коню ли подшибить крыло.

Из польских поэтов

Чеслав МИЛОШ (1911)

ОСОБАЯ ТЕТРАДЬ: ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

Нынче нечего больше терять, мой премудрый, осторожный,
мой ты сверхсамолюбивый котик.

Нынче мы можем дать волю признаньям, не боясь,
что их использует могущественный враг.

Мы только эхо, что несется с топотом частым сквозь
анфиладу комнат.

Вспыхивают, гаснут времена года, но словно в саду,
где мы не бываем.

Да и легче, нам не нужно стараться сравняться с ними,
с людьми, в беге и прыжках.

Вашей Светлости Земля не понравилась.

В ночь, когда зачат ребенок, заключают пакт непо-
нятный.

И невинный осужден, не умея разгадать приговора.

Ни по пеплу прочесть, ни по созвездьям, ни по птичьему
полету.

Гнусный пакт, повапленный кровью, анабасис мстительных
ген гнойных тысячелетий,

От придурков, уродов, помешанных девок и хворых царей.
За ляжкой бараньей и кашей и хлюпом похлебки.

Миром и водой крещенный на восходе Звезды Полюнь,
Играл я на лугу возле палаток Красного Креста.
Время, в удел мне данное, словно бы мало частной
судьбы

В любом городке старосветском («Едва пробил полночь
на башенных часах, когда студент Н.»... и так далее).

Как говорить? Как кожу слов продрать?

Что написал я, теперь как будто не то.

И что пережил, теперь как будто не то.

Когда Томаш привез известие, что дома, где я родился,
нету,

Ни аллея, ни сбегавшего к берегу парка, ничего,
Мне приснился сон возврата. Счастливый. Яркий. И я
летал.

Деревья были даже выше, чем как в детстве, они подросли
за время, что уж не было их.

Утрата родимых околиц и родины,

Блужданье всю жизнь среди чуждых народов,

Да это ж

Всего лишь романтично, то есть выносимо.

Вот так-то исполнилась моя молитва гимназиста,
вскормленного на польских поэтах: просьба о величии,
а значит, об изгнании.

Вашей Светлости Земля не понравилась

по иной, нежели всемирное государство, причине.

Не устану дивиться, что дожил до почтенных лет.

И бывал, несомненно чудесно спасен, за что обетовал
благодарность Богу, то есть тот ужас и меня посети.

Он слышит голоса, но не понимает этих криков, молитв, проклятий, гимнов, избравших его медиумом. Он хотел бы знать, кем был, и не знает. Хотел бы быть один, а есть — внутренне противоречивое множество, которое радуется ему лишь чуть-чуть, а больше смущает. Он помнит палатки Красного Креста над озером в местности Вышки (и не мог бы назвать их по-польски, раз тогда не знал слов). Помнит воду, вычерпываемую из лодки, большие серые волны и словно вынуривающую из них деревенскую церковь. Он думает о том, 1916 года и о своей хорошенькой двоюродной сестричке Эле в форме сестрицы, как она, только что обручившись с красавцем-офицером, объезжает с ним верхом сотни верст прифронтальной полосы. А мамочка его, завернувшись в шаль, сидит перед камином в сумерки с нашим паном Некрашем, которого знает со студенческих лет в Риге, и его погоны блестят. Он лез в их разговоры, но теперь сидит тихо и вглядывается в синие огоньки, потому что мама сказала — если долго глядеть, увидишь там, как едет смешной человек с трубкой.

Что делать нам с дитятей женщины? вопрошают силы,
Пролетая над землей. Пушечные дула
Прыгают на откате. И опять. А там равнина,
Полыханьями полна, бегущим муравейником.
В парке над рекой госпитальные палатки
Около шпалер, клумб и огорода.
А теперь в галоп. Вуаль сестрицы вьется,
Вихрем карий конь, пожниво, овраги.
Бородатые солдаты сталкивают лодку.
Открывается за дымом посеченный бор.
Знание наше не безбрежно, воздыхают силы,
Боль их познаём мы, но не сострадаем.
Мы, под облаками, чтим одно величье,
Матери смиренье, Сути, девственной Земли.
И что нам их жизни, что нам умиранье?

На карачках ползут из землянки. Светает.
На льдистой заре, вдалеке, бронепоезд.

Он идет, да не путем-дорогой, пробираясь ради Бога, а всего лишь комнатами, в которых кипит, сверкает, меняется цвет и звук единожды рожденных форм. Здесь артель кобзарей, взятых в средневековой деревушке, по травянистому склону взбирается на ровное место, откуда пойдут приготовления к атаке, тут Вилия так разлилась, что дошла до ступеней собора, и под резким апрельским солнцем зелено-бело-голубые полосатые лодки увиваются возле колокольни, а там мальчишки, собирая малину, наткнулись на заросшее кладбище с именами Фауст, Гильдбранд. Воистину, что нам их жизнь, что нам умиранье.

Дамы Двадцатого Года, поившие нас какао.
Растите во славу Польши, рыцарята наши, орлята!
Алый ворот застегнут под горло, наши уланы
везжают от Острой Браны.

Дамы из Общества Полек, дамы из ПеОВе*
Отвозил я в музей эти фраки с серебряной искрой,
Табакерки ораторов депутатских палат.
Копыта першеронов стучали по асфальту.
Запахом гнили несло от улиц пустых.
Попивали мы себе спирт, мы, возницы.

«Мать воспоминанья, любовь любовь». От автобуса Владек
вез его двуколкой, «докартом», и никто там не додумался, что
название это значит dog-cart. Шоссе с выбоинами, совершенно
пустое, на продуваемой безлесной высоте, внизу справа озерко,
дальше протока: здесь улегшийся в зеленых полях глазок воды,
там широкое мерцающее пространство меж холмов, покрытых
ледниковыми валунами, заросших можжевельником. Белое пят-
нышко чомги посреди рябящего сияния. Они свернули проселком
налево, туда, где виднелось еще одно озеро, и ложбинкой про-
ехали через деревню, потом снова под гору, в лес, сосны и елки
с подлеском орешника, и лесом почти до самого дома.

«— Кто же обвинит в неточности, кто распознает места и
людей? Все в моей полной власти, всё там теперь принадлежит
одному лишь человеку, что некогда, виленским школьником,
был привезен сюда в двуколке. И либо захочет, либо нет, сказать,
кто был, например, Владек, и что до первой мировой войны изучал
он инженерное дело в Карлсруэ, или кто была тетя Флорентина,
и что еще в ее молодости лес нетронутый, девственная пуща,
стенкой стоял на трех километрах горбов и впадин между этим
и тем, огромным озером, и что она-то и собирала эти французские
романы в желтых обложках: Бурже, Жип, Доде. Что выбрать,
а о чем умолчать, моя воля, и командует мною лишь неприязнь
к фантазированию, как если бы я верил, будто можно воистину
восстановить то, что было. И почему Флорентина? Трудно при-
ходит новое знание: что теперь можно обращаться к ней на «ты»,
хотя тогда я ни за что не осмелился бы, и что она не старая дама,
а барышня, и ребенок, и всё одновременно. Что мне до нее, в кор-
сете и турнюре, не представимой в плотских потребностях, вы-
зовившей дочерей в Варшаву, Париж, Венецию, Биарриц? И, тем
не менее, как раз мысль о ней заводила меня в удельное кня-
жество чистой эмпирии. О том, как она все наладила: не эконо-
м и не прислуга, дочери встают с рассветом, высокие сапоги, кожухи,

* П. О. В. — польская конспиративная военная организация времен
первой мировой войны. — *Прим. переводчика.*

в конюшню, в хлев, отправляют челядь на работы, зимой до вечера присматривают за молотьбой. А три месяца в году не усадьба, а пансионат для дачников, на кухне у Катречки огонь не угасает с четырех утра до ночи, и Владек часами колошматит по клавишам пианино, а они, те гости, что платят, — танцуют. Еще и молчаливую перемену нравов надо было принять, безразличие к тому, с венцом дочери заводят мужчин или без венца, и что, кроме Владека, живет то Ежи, то еще кто. Всё было как было, невысказанное, так что вынужденно воцарявшаяся привычность обращала любой принцип и требование в человеческую выдумку, терявшую силу без «нет» и «да». В костел не ездили, изредка разве, ради Флорентины. И она, с двумя не слишком правверными дочками, была моей скрытой идеей об условности вер и убеждений, которые не могут устоять перед ходом вещей».

В сущности, почему бы ему, ткущему этот монолог, не было довольно того, что познал он там? Тогда он думал, что оказался там случайно и на время, что это лишь предисловие к чему-то, но и позже никогда не было ничего, кроме предисловия и на время.

Тот матерьял косматый, чуть не войлок,
в течение целого века шел на шитье шлафроков,
и не поймешь, конец ли это или начало двадцатого века,
если та, что в зеркало смотрит, его лоскуток откинет
ослепительно-желтый над розово-бронзовой грудью.
И щетка в ее руке не изменила формы,
и оконная рама возможна когда угодно,
как и вид из окна на сгибаемый ветром ясенник.
И кто же она, в этом теле
пребывающая, и в единой минуте?

И кем на самом деле увидена тут она,
если отнято у нее даже имя?
Ее кожа ни для кого, если в третьем лице,
ее нежнейшей кожи нету в третьем лице.
А вот и туча налетает из-за крон,
медным сияньем обведенная, и всё это
сгущается, и замирает, и затмевает свет.

Северная заря, пенье жнецов заозерных.
Еле видные вдаль, последние вяжут снопы.
Что за право воображать их возвращенье в деревню,
как садятся у очагов, и варят, и режут хлеб,
или отцов их по избам до изобретенья трубы,
когда каждая крыша дымилась, словно в пожар,
или всю эту землю прежде, чем пошла на добычу ветрам,

Кшиштоф Камил БАЧИНСКИЙ (1921—1944)

ДОЖДИ (1943)

Дождь — седые осоки, серый шум,
у окна печаль и близость смерти.
Этот дождь любишь, этот шелест струн,
дождь — к миру милосердые.

Идут эшелоны. Без тебя. Доколе?
До ранних рос? До первых гроз?
В леса воды, в озера скорби,
в листья, в сады стеклянных роз.

А ты все ждешь? А ты заждался?
А дождь как жалость — все размочет:
и туч беззвучных вопль ужасный,
и след людской, и кровь побоищ.

А ты все гредишь в мокрой раме,
надгробный камень. Надпись века
то ли дождем, то ли слезами
сползает по незрячим векам.

И то, что любим, — как не любим,
и то, что пуля на излете
и бьет не на смерть, а погубит,
и то что плач, а весь из плоти.

И то, что нет вине прощенья
и что вина вину приводит,
и точно с паперти приходит
в твой одинокий сон виденье.

И слышу в шелесте стеклянном,
как из-под ног земля сбегает.
Все милые в тумане канут,
под тяжестью креста сгибаясь,
одни за хлябью вод растают,
другие в вечном мраке сгинут,
за тем стеклом, что крепче стали,
неузнанные, минут, минут.

И дождь косою полосою,
как острой по сердцу косою,
и тенью скрыты, тенью смыты...
А я с мольбой, с любовью, с боем

выйду к бездонному истоку,
руки воздею под небо боен;
как пес под хлыст пустых побоев.

Не убиенный, не любимый,
несовершенный, несерьезный,
услышу дождь — дождь или слезы,
что Богу нынче все впустую.

Один смотрю во тьму пустую.
И только капли, свыше, свыше,
все безболезненной и тише.

Ц. НОРВИД (1821—1833)

ЭПИГРАММА

Лихие генералы, огромные полки,
Двухнастная полиция — в погонах и без оных,
Да на кого же это войной они пошли?
А попросту на слово, что, впрочем, и не ново.

Збигнев ХЕРБЕРТ (р. 1924)

СМЕРТЬ ЛЬВА

1

Большими прыжками
через необъятное поле
под небом нависшим
декабрьскими тучами
с ясной поляны
в сумрачный бор
убегает Лев

за ним загонщики
сплошную цепью

большими прыжками
с бородою по ветру
лицов вдохновенным

в пламени гнева
убегает Лев
в лес на горизонте
за ним
Боже помилуй
идет остервенелая
облава
идет облава
на Льва
впереди
Софья Андреевна
вся мокрая после
утреннего самоубийства
манит призывает
— Лёвочка —
голосом что мог бы
размягчить камни
за ней
сыновья дочери
челядь приبلуды
пристава попы
эмансипантки
умеренные анархисты
безграмотные крестьяне
христиане
толстовцы
казаки
и всякий сброд
бабы визжат
мужики улюлюкают
ад

2

финал
на полустанке Астапово
деревянной колотушки
у железной дороги
милосердный начальник станции
Льва уложил в постель
теперь уже он не опасен

над полустанком
зажглись огни истории
Лев закрыл глаза
не интересуясь миром
только лихой
поп Пимен
который поклялся
душу Льва затащить
в рай
склоняется ко Льву
и перекрикивая
хриплое дыхание
страшные гулы в груди
вопрошает лукаво
— А что теперь —
— надо бежать —
говорит Лев
и еще раз повторяет
— надо бежать
— куда — говорит Пимен
— куда душа христианская
Лев замолчал
укрылся в тень вековую
вековое молчание
никто не понял пророчества
будто не ведали слов Писания
«восстанет народ на народ
и царство на царство
и падут от острия меча
и отведутся в плен
во все народы
потому что это дни отмщения
да исполнится
всё написанное»
вот наступает время
покидать дома
блуждать по джунглям
носиться по океану
кружить во тьме
ползать во прахе
время гонимого
время поклонения Зверю

Виктор ВОРОШИЛЬСКИЙ (р. 1927)

* * *

В затягивающей трясине
наших глухих вседневных боен
в этой рутине в этой тине —
я еще не был так свободен

Где газ болотный гад ползучий
ползут и душат из колдобин
с губою рваной раной жгучей —
я еще не был так свободен

Бумажных звезд шипами вздетый
на гвоздь на свист на крест Господень
униженный полураздетый —
я еще не был так свободен

Где на кругу трамвай скрежест
и вспышка прямо в очи хлещет
среди соблазнов блазней своден —
я еще не был так свободен

Ибо становится свободой
всё когда чаша перельётся:
воплъ камня почвы дух и воздух
по-над заплёванным колодцем

И ход подсолнуха за солнцем
и чуткий сон и стих свободный
это — замок с пространства сорван
и всё становится свободой

Под веками как под колодой
жизнь шевельнется и проснется
и всё становится свободой
чего мы в этот миг коснемся

Ян Кшиштоф КЕЛЮС (р. 1946)

ПЕСЕНКА О ТОМ, ЧТО БЕЛО

Глянь, на белом снеге
мягких лапок след,
сон прошел тропую — и к соснам.
Может, то, что было,
может, то, что есть,
может, то, что будет,
принес нам.

А что еще бело — и творог, и мел,
на черной копирке бумаги лист бел,
под Краковом юрским предгорий известка,
и Лешек был Белый, и свечка из воска,
на картах истории белые пятна,
и бел мой отец, когда в дверь позвонят нам.

Приведи на память
речную мглу и снег,
цвет черемух, если не спится.
Может, то, что было,
может, то, что есть,
может, то, что будет,
приснится.

И белый орел в королевской короне,
и белая тундра, и Белое море,
и белый погост без креста и лампы,
и белы страницы несказанной правды,
и обелены до сих пор преступленья,
и белой бессонницы бело терпенье.

Глянь, на белом снеге
мягких лапок след,
сон прошел тропую — и к соснам.
Может, то, что было,
может, то, что есть,
может, то, что будет,
принес нам.

И белы, как бельма, кошмарные сны,
и белые ночи, и яд белены,
больничные койки и белые страхи,
и смерть к нам является в белой рубахе,
и белый прожектор над лагерной зоной,
и белой бессонницы белые стоны.

День мне скажет: «Здравствуй»,
«Спи, милый», — скажет ночь,
вечер: «Добрый вечер», а зорька —
зорька отмолчится, вот сукина дочь,
наплела всё это — и только.

Ярослав Марек РЫМКЕВИЧ (р. 1936)

УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА

Где она эта улица Улицы этой нету
Топчут тропу рабочие валенками по снегу
Где она эта улица Знаем только мы трое
Там где как кольца ствольные кости под мерзлотою
Где по стволу подымается кровь. А чья — что за дело
Как у Шуберта птичьего горло белое пело
Там где кости зелеными прорастают ростками
Отделены от вечности шаткими мы мостками
Где он ходит по-прежнему кормит щеглов щегляток
Как на ручье у Шуберта солнечный луч не гладок
Как это горло бело в крови сосед непрочный
Как эта кровь что черною бьет из кости височной
Там где он с Богом под руку выведен на прогулку
В полуистлевшем ватнике под щеголью погудку
Следом охранник тащится спотыкается пьяно
И разыгрался с Шубертом Бог на двух фортепьяно

Светлана ИВАНОВА

ПЛОХОЕ ЛЕТО

Засыпает листва, не умыв лица.
В автоматах ржавеет вода.
Не отомкнуто ярою пчелкой ларца —
Холода, холода.
Ах ты, буднее летечко на перешейке,
Где над яблоней праздничные облака,
Перезябшая кожа листвы-белошвейки
Вся в пупырышках у локотка.
Эти капли, что выстарятся торопливо
В утренний иней...
Рядом — след от баржи, уходящей к заливу, —
Жирный, павлиний.
Но зачем по дворам
И по всем воротам
Твоей стражей короткой
Стоит немота,
Что пришла излизать этим летом плохим
Древесные жилки
И нахлынуть на нас, как невидимый Хлым
Из детской страшилки?
Пожалей же ты нас —
Не пришел еще час
Скрежетать окаянной скобе!
Так зачем же в ночи
Сотрясаешь ключи
И все ходишь и ходишь себе?..

* * *

Д. З.

Белых ягод, которых название
ни тебе неизвестно, ни мне,

все мерещится мне содроганье
в тишине.

Средь великого льда, в кодовалой
снежной нише, в фонарном дыму,
все, что болью еще не бывало, —
я приму.

Я найду их на взгорьях ли, в чаще
москворецких зимовий земных,
с тонкосердою плотью, звучащей
в мертвых них,

их веселье, тщету и отвагу
быть живыми в трущобе зимы,
по отлогу бежать, по оврагу, —
словно мы, —

по внезапному следу, по снегу,
по ступенькам, по лестничке — шасть!
распахнуть эту дверь — и с разбегу
в ноги пасть!..

* * *

Словно вытанцеван птицей
этот денный сад,
узкокостный, белолицый,
сотни лет назад, —

словно ветер осторожный
так — за кругом круг —
ходит здесь дорогой ложной
жертвенных разлук, —

словно след за следом скажет,
что нас ждет, когда
сердцем только воздух нажит,
только тень следа, —

только содовый, соленый,
гробовой сугроб,
в изголовье ли, у лона,
поцелуем в лоб, —

только — выскользнувшей птицей,
канувшей вовне, —
ничему уже не сбыться
в этом смертном сне.

* * *

Сквозь торопливого света песок,
сквозь этот тальк,
с неба стекающий наискосок
суетно так,
словно бы то не крупницы любви
вышней Его,
словно бы выстроен Храм на Крови
из ничего;
сквозь недышащую плоть облаков,
вросших в гранит,
помнящий бешеный цокот подков,
грохот копыт,
медный оскал молодого коня,
павшего там,
в некоем году, где лавиной огня
двинулся Хам;
сквозь расплясавшийся в воздухе тлен,
сквозь этот слой
сердцем царевым воздвигнутых стен,
ставших золой;
сквозь ослепляющий мертвенный блуд
солнца и мглы, —
все нас ведут, и ведут, и ведут
в тартарары!

* * *

Ничего тебе не будет...
Ну да будет тебе, будет! —
не уйти от сих
тонкокожих, пестрокрылых,
вдруг оброненных, немилый, —
кто тут, кроме них?
Кроме ниц упавших, кроме
них, забытых в детском доме
из коры и крон?
Кроме тех, чья кровь немая,
ничего не понимающая,
катится внаклон?

* * *

Так стоят дома ночные
Быстрой лиственной горой,
Что и цепочки дверные
Тянет в дали неземные
Полых звезд пчелиный рой.

Так пружинным крови током
Переполнен и пленен
Сад, свивающийся в кокон,
Сад, держащий круглым оком
На весу безмолвный дом, —

Что древес ночные створки
Раскрываются, скрипя,
И проскальзывает в шелки
Вдох ли, вдох ли — звездный, колкий, —
Допуская до себя.

Но — дремотными дворами
Крадущаяся звезда,
Что над нами? что под нами?
Под железными коврами? —
Не откроет никогда.

* * *

Тот, кто молча идет по карнизу и не
Обладает способностью двигаться вне
Этих стен полуоких,
Кто ночью весной замедляет свой шаг
В миг, когда у деревьев заложит в ушах
От разрывов далеких,

Кто ты, кто ты... В листья тонкогорлую мглу
Ты вонзаешь неслышного шага иглу.
Ах, держись, ради Бога, —
Здесь, где тыльные стороны листьев темны, —
Ради черной весны, вдоль нестройной стены...
Так осталось немного!

Тут всего ничего. Тут всего только весть,
Что стучит твое страшное сердце не здесь,

В сонмах лунного дыма,
Не в сосуде с парящею звездной золой,
А за той сокровенною складкой земной,
Где ничто невредимо.

Где напитан протяжною кровью твоей,
Некто крадется тоже. Но твой соловей
Там его не освищет.

И никто не услышит его мятежа,
И ему не сорваться с его этажа
На безвидное днище.

20—22.06.90

Москва

Ольга МАРТЫНОВА

ИГРА В ПРЯТКИ

Как виноград, растущий
На склонах вечерней горы,
Взволнованно, тихо пьющий
Ночных облаков шары;
Как виноград, дающий
Кровь свою на вино,
Взволнованно, тихо ждущий,
Когда синее упадет руно, —
Так мы живем.
Но горящий,
Бессмертный на склонах неба сад
Утешает ночной, дрожащий
Завитыми лозами виноград.
И нежно в его лучах шевелится
И нервно крыльями водит ночница,
А небесной бабочки хищный взгляд
Для нее — надежный бессмертный брат.
А когда человек на небо глядит,
Он видит только блестящий щит.
А когда в траву его опускается взор,
Чей-то пристальный на него опускается взор.

ПЕРСЕФОНА

Грустно царственной Церере,
Грустно клену, грустно мне...

В соплях, в слезах — разнеженная осень
Глядит в окно.

Она вцепилась черными ногтями
В свое еще зеленое лицо.
«Мне все равно», — как будто говорит,
А ловит, ловит блестящими сетями

Чужую жизнь.

Вот побледнела:

Последний георгин в саду горит,
Она его в свою петлю продела,
И тянет кровь его и глазками косит,

Как будто бы его не замечает,
Как тошно знать, что это означает,
Как неприятно, робко все молчит.
Все белое. И только я смотрю

В ее глаза. Они в меня глядят
И слабый хмель вытягивают в ночь.
Никто, никто не сможет мне помочь.
Покорно, но невнятно и жестоко,
Я говорю (так глупо, не попад):
«Мне очень страшно, очень одиноко».
И звезды опускаются на сад.

1989

ПЕСНЯ

Всюду, Господи, сверкает
От лозы Твоей вино.

Вот оно с куста стекает,
Вот в реке кипит оно,

На устах моих румяных,
Жаждой мучимых Твоей,
Столько этих капель пьяных,
Больше, чем у жизни дней,

Но на языке лукавом
Только пресная вода,
Он в хмельном соку кровавом
Не купался никогда,

Дай напиться мне однажды
И заклятье отведи.
Столько жара, столько жажды
Я ношу в своей груди!

Пьяны горы и поляны,
Пьяны птички и жучки,
Только люди — те не пьяны,
Трезвые у них зрачки,

Коль и мне не выпить с ними
От вина лозы Твоей,
Сделай жажду нестерпимей,
Воду — соли солоней.

* * *

Ворона — креповая повязка
На тополином согнутом рукаве.
Воробьи — в ладони его, как связка
Ключей. И метель в его голове.
И вот — он кладовщик, он застигнут
В траурном движеньи своем,
Когда вверх дном опрокинут
Его (Не его, он его охраняет) дом.
Все — мыши сухое шуршанье
В прошлогодней листве и сама листва,
Гальки мелкое бормотанье,
Корешки, ростки, небо, дождь, трава —
Все опрокинулось и застыло
В состраданьи. А кругом чернота, пустота.
Жаль ему года. И все уже было, все было,
А он должен сверять счета.

1988

**ИЕГУДА ГАЛЕВИ
ПОСМОТРЕЛ
НА НЕБО И УВИДЕЛ
ДЕВУ-НОЧЬ В ПЛА-
ЩЕ, РАСШИТОМ
ЗВЕЗДАМИ, А ОНА,
ЧТОБЫ ПОШУТИТЬ
НАД ПОЭТОМ, ВЫ-
ВЕРНУЛА ПЛАЩ
НАИЗНАНКУ**

Затерянной запятой,
Не находящей места,
Месяц стоит золотой,
Отбившийся от текста,
И темень стоит кругом,
Как будто бы негритянка

Звездным своим плащом
Укрылась, но нам — изнанка,
А теплomu телу — свет
Холодных, колючих литер...

А вдруг ничего там нет,
А только танцует ветер?

Но видел Галеви лик
Черной грозящей девы
И сердцем к ночи приник...

Но, сонмы ангелов, где вы?
И глядя в родную ночь,
Я говорю: Постой,
Я страх могу превозмочь,
Но что там, за запятой?

1989

* * *

Когда ребенок ищет в словаре
Случайно днем услышанное слово,
Он сбивчиво листает: «и», «эль», «ре»,
Назад — вот «пе»... и застывает, словно
Не список наспех вычитанных слов,
А свой цветной пластмассовый конструктор
Он погружает в непомерный лоб
И строит смысл... А все протуберанец
То кажется созвездьем, то цветком,
То минералом, превращаясь зря
Во все слова, с которыми знаком,
И мир дрожит под коркой словаря.

И может быть, когда при свете дня,
При свете ночи, в свете сновидений,
В огне воображения, гоня
По кругу кровь, какой-то смутный гений
Вдруг застывает посреди души,
И человек, неся озноб вдоль ног,
Вдруг застает себя в такой глуши,
Где он не то чтоб даже одинок,
А не рожден, но будто бы врасплох
Его застали взрослые на стыдном,
Быть может, в это время в яйцевидном
Ядре сияющем, грызя карандаши,
Над буквой «че» о чем-то плачет Бог.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Жизни взгляд через плечо,
Детства робкое скольжение
В нежной заводи глухой
Далеко и горячо.
В нашей жизни унижение,
(А не отдых и покой) —
Это жемчуг в черноте,
Зерна белые в навозе...
Дни нежнейшие — не те,
Что блестят в воздушной розе
Северных прозрачных утр.
Сокровенно унижение,
Жизни черный перламутр,
Детства робкое скольжение,
Жизни взгляд через плечо.

2

(ГДЕ ГНУТСЯ НАД ОМУТОМ ЛОЗЫ)

В узкой форточке хлопочет
Августа большая ночь,
Как павлины в зоопарке
Раскрываются кусты;
Гусеница строит кокон,
Чтобы стрекозе помочь
Оттолкнуться от пространства
И сказать дитяти: «Ты
Подойди поближе — омут
Как персидская сирень,
Для тебя она надела
Свой тяжелый сарафан!»

ВЫРИЦА

Мир лоскутный, пестрядевый,
Он же — на экране сна,
Он же — светлый рай медовый,
Светлобокий, как блесна.
Мох растет неаккуратно,
Ходит рыба под водой,
И скрипуче, непонятно
Крикнет птица троекратно,
Невидна во тьме седой.

Дождь прошел, на листьях глянец,
Лужа через край течет...
Вдруг цыганка с возу глянет
И сережками качнет.

Воз проедет, и дорога
Повернет, и ночь придет.
Жизнь, уставшая немного,
Нити грубые прядет,

Время ткет. И пестрядевый
Мир приковывает взгляд;
На лоскутный рай медовый
Свой короткий, свой дешевый
Примеряет он наряд.

1985

ЗЕРКАЛО

Что делать: вспыхнувшая память
Сжигает времени кислород,
Ноздреватым снегом таять
Вдруг начинает перегород-
ка, Что вращала в алые зерна
Дней, лепивших гранатовый плод —
И в пустоте внезапной и черной
Вместо нее зеркальный лед:
И тупо ты каждый шаг повторяешь
Зеркального мертвого двойника,
И тусклое зеркало протираешь,
Не зная: твоя или чья? — рука.

1987

The paradis lost

Где судороги Дафны? где лавра прохлада?
Где в мелком плюще незаметный родник?
Где тяжкая синяя гроздь винограда
Сама по себе стоит целого сада?
Где воздух к свирели безвидной приник?

* * *

Мой мир не населен. В нем воздух так прозрачен,
В нем так свободно звук несет себя, а цвет
Ни тенью ни одной, ничем не обозначен. —
И нету отзвука. Да уж и звука нет.

1983

Ирина НОВОДВОРСКАЯ

КАРЛИК

«Эй, Карлик, на косточку! Вкусная! Батькина!» Великан поднялся, держа далеко от туловища тяжелые руки. Детское его лицо, загоревшее в коричневую, чернильно покраснело, светлые, беспомощные глаза кругло уставились на товарищей. Уперев подбородок в грудь, Карлик проговорил тихо и обреченно: «Не надо, ребята. Шутите другое.»

Парни махнули рукой на не поддерживавшего шутку. А он уселся спиной к костру — колени выше ушей — и задумался, снова и снова — вот уже почти десять лет обдумывая свою вину и не понимая, так ли уж виноват, как виноваты.

Куда к черту ушел угорь? Деда, прадеда ловили. Потом коптели. Продавали и свежий, и копченый. Всей артели всегда хватало и не ей одной — славой края были угри. И вдруг ушли. Чего одна салака — не доход. Ничего не поделаешь — ходили на лов три брата и отец-старик. В общем, управлялись. Жили неплохо. Жены работящие, крепкие. Детишки пошли. Но случилось несчастье: отец и старший ушли в море, а вернулся один старший. Шторм налетел. Сын выплыл, отец утонул. Искали долго — не нашли. Сделали на берегу крест над пустым местом, написали: погиб тогда-то на своем рыбацком деле. Жены у креста развели цветы. Скамеечка, желтый песок расчесан грабельками узором. Вся семья собралась в сорочины. Жены повыли. Братья утерли мужскую слезу.

На другой день младший внук пошел на мыс с удочкой да как заорет: «Большая попалась! Не вытащить!» День был выходной, бездельный. Братья побежали, ну — тащить. Не тащится! Решили — коряга. Малец удрал с ребятами, а братья — делать

нечего, а тут развлечение, — стали нырять. Выволокли чего-то огромное, все угрями утыкано — присосались. Обобрали угрей с утопленника — первый большой улов за годы — и обомлели — в раздутом лице его, обсосанном угрями, узнали родного отца.

Смеркалось уже, а братья все сидели в тишке под высоким берегом, не знали, что делать. Отец был страшен. Жены напугаются, а одна — на сносях. Могила уже есть и крест стоит — честь по чести.

Отгоревали. Стали судить-рядить: редкая рыба-угорь на труп идет. Ему ж все равно, давно мертвый, а семье будет польза — дом поправить, на машину собрать — «Нива» так нужна!

И бросили братья отца в море, привязав веревкой к большому камню. Целый месяц ловили угря на мертвого живца, пока рыбы не обсосали дочиста. На «Ниву» накопили, спасибо родителю. А кости можно и похоронить, тем более документа о кончине пока не дают — труп не найден. Теперь нашелся, слава богу. Можно документы оформлять и права наследства.

Тут беда и случилась. Нашелся дотошный. «Как, — говорит могло так быть, чтобы от утопленника один остался скелет такой чистый? Времени для этого мало прошло и вообще». Про удивление насчет угрей вспомнили. Стали расспрашивать. Ходили, говорят, братья за мыс по ночам, пешком ходили, не в лодке, а потом везли угрей на базар. Ну, правды, конечно, не додумал — кто ж до такого додумается! Однако приехал следователь. Допрашивал на месте. Потом в тюрьму свезли, в предварилровку. В общем, как тут говорят, братья раскололись. Да вину за собой одну знали: что не в колхоз рыбу сдавали, а на базар, от себя.

Потом был суд. Говорили там что-то много про мораль и еще непонятное. Дали всем троим по десятке. Эх, пройдет вся молодость без жен, без детей, без дома, в чужой земле. А за что? — Для семьи старались, ни у кого не крали, своей работали. В Библии сказано: «Живая собака дороже мертвого льва». Отец всю жизнь семье служил, послужил и посмертно. Ему и за это воздастся там — доброе дело.

Сидит Карлик, обхватив голову, думает десятилетнюю свою думу, и конца ей нет, и смысла не видит.

Кости же похоронили потом. Честь-честью. Не все ли равно: червяк в земле, рыба ли в воде — тело-то все равно съедят! А тут — польза. Есть, говорят, люди — тело свое науке завещают,

для пользы — ничего же им, срока не дают!

Мучается Карлик. Ерошит свои белые волосы — седина издали незаметна в соломенных. Там, дома, сын подрост. Тоже рыбак. Да пусть бы на него, на Карлика, после смерти угря ловил. Карлику не жалко. Так и напишет в завещании — больше завещать нечего.

День сегодня несчастный. Каждое воскресенье — несчастное. Делать нечего. Когда валишь лес — думать некогда. Потом пришел в зону, похлебал и — спать. А воскресенье — пустой день. И эти! — как какую кость найдут, кричат: «Карлик! Иди кость есть — вкусная! Батина!»

Август 1987

СНЕГОВИХА

Село Шеланга старообрядческое, большое — две тыщи домов. Много улиц, поросших муравой по гладкой, плотной земле. Вдоль Волги идет не слишком длинная, но нарядная улица Набережная — садами и задами к реке, а окнами — в стекающие вниз другие улицы и дальше — в поля. Почти на горизонте — овраг, поросший лесом, а еще дальше — до края земли — татарская голая степь с распластавшейся на ней — ни кустика, ни травинки — глинобитной деревенькой Кзыл-Байрак.

Село Шеланга — садовое, яблочное. Добротные прадедовы пятистенки с резными воротами, домком-кухней, за которым стояла, амбары, пряные сеновалы образуют замкнутый атриум, а задние, невысокие ворота ведут в малые приусадебные сады. Дворы чистые, мощеные слоистым прибрежным известняком, и та же мурава. Обязательно — большая бочка воды, на ней, на короткой — крючком ручке неглубокий стальной ковшик, отполированный временем. Рядом — кружка: наливай из ковшика — пей. Просто из ковша нельзя — человек поганый. Корова — божья, может пить из бочки. И пьет, вытягивая губы и тоненько посвистывая процеживаемой сквозь зубы струйкой.

В кухнях посуды — двойной комплект: постная и скромная, грех перепутать.

Задняя половина дома — летняя: неоклеенные бревна, звонкие, гладкие. Пахнет сухими травами и, главное, — густым яблочным духом, в котором хмельной аромат аниса, сытный — пудовщины и грушовки, южный, тонкий — ранета и бельфлера теснятся уступая остроуму, морозному духу антоновки.

А за селом, за околицей — сады большие, по гектару, по несколько на семью. Осенью не хватает амбаров, и везут в песчаное Заволжье менять мешок яблок на мешок картошки и тянут до Казани груженные яблоками расшивы. Яблочный запах перекрывает приторную зловонь барды с пивного завода.

По улице Набережной проходит шеланговское стадо в далекие поля за большие сады. Терпит мурава хлесткие удары кнута. Выходят из ворот терпеливые, как мурава, коровы, бестолково толкуются овцы, с разноцветными тряпочками на челках или боках — мета, егозят, покусывая выпроставшиеся из палисадов веточки, шкодливые козы — тут-то и стегает мураву пастух.

А дачники еще спят счастливым полусном, когда все слышат, но не разнимают век, сознательно радуясь отдыху, ощущая вкус легкой пены парного молока, шуршащей уже в хозяйкином подойнике.

Дачникам сдают дома целиком — и зимнюю и летнюю — с террасой — половины. Сами живут в малой избенке — кухне. Сдают немногие — где семья невелика. Дачников мало.

На всю Шелангу единственная городская дача — на улице Набережной, в ряду крестьянских домов, двухэтажная, с башенкой, крытая по бревнам серебряным за временем тесом, с привольем гнутых переплетов в широких окнах за старой сиренью палисада — Снеговихина.

Село Шеланга — степенное и ровное, то, что назвали — середняки. Батраков нет. На все село один Логинов беден. Откуда взялся в трезвом селе пьянчужка? Дом дедов развалил: крыша латана соломой, поваленный забор — одна крапива супротив снеговихинового сиреневого палисада. Перед домом — одна на все село лужа, но зато уж лужа! В ней, как водяные в заглохшем пруду, все в глине и в тине копошатся логиновы дети — по четверке, что ли, рожают их суматошная, вечно битая Лукерья? Только старшая, Вера, пошла, видно, в чинных дедов-староверов: белая, длинная челка — волосок к волоску, белое от стирок платьице с призраками цветочков, белые с призраками голубизны глаза,

строгие, без улыбки. Вере — восемь, как и мне. На ней весь дом. Редко-редко выберется ко мне на терраску поиграть в камушки.

Село Шеланга, хоть поздноватое, входит в эпоху: большие заоколичные сады обобществили. Ничейные, они одичали, яблоко стали давать мелкое — не отличишь анис от антоновки. Только громадная, как апорт, титовка еще висит кое-где, кумачом украшая ветки. Для несортного яблока на другом конце Шеланги построили повидловый завод и на него по улице Набережной возят в глубоких телегах падалицу.

Малые, приусадебные сады пообрезали на две трети. Те, что на Набережной, ближе к Волге, вроде для строительства санатория, те, что внизу, в деревне, — просто так, чтобы всем — мало и одинаково. Стало пестреть село. Раньше из густой, в яблоках, зелени четко выделялись улицы. Теперь, как лоскутное одеяло, зеленели остаточные приусадебные сады, редели, кололись сухими ветвями отторгнутые. В запущенной, горемычной древесине заплодилось жуки и черви, как чума, нападали на хозяйские, еще присмотренные деревья — редкое яблочко без червотчины.

Один снеговихин сад стоял, как прежде, тенистый, просторный, почти до самой Волги — немного его отошло под только что построенную зеленую, в белом кружеве дачку казанского профессора Бузова.

Кто была Снеговиха? — не помещица, тут помещиков не было. Приезжала, как начиналась навигация, и — до последнего парохода. С нею неразлучно жила дочь ее, Машенька Снеговая. Сколько лет было Машеньке, никто не знал: мама моя еще девочкой запомнила молодую женщину с гладко зачесанной черным узлом изящной головкой. Я теперь вижу из волокового окошка кладовки черную, гладкую прическу над высоким лбом, белые, румяные щеки и бархатные, пушистые глаза ее — Снегурушка. Все село величает ее Машенькой.

Из шпионского окошка моего я люблю наблюдать неведомый уклад снеговихиной жизни. К обеду появляется горничная — Капитолина. Смыв в баньке, в конце сада, колхозный навоз и оставив там до рассвета перепачканные бахилы, Капитолина входит в дом в кружевной наколке поверх толстой, как хала, светлой косы, в пристегнутом брошкой малом фартучке и в туфлях с каблуками-кавычками. Ловко, чуть позванивая, укладывает два прибора на смешные козлики-подставки, протирает и так бле-

стящие, голубоватые тарелки с синей печаткой на донце, ставит узкие стаканы с молоком, потную от сахара клубнику-викторию в хрустальных вазочках, сложенные цветком салфетки. Входит Снеговиха в желтоватом, кружевном шарфе поверх строченой батистовой сорочки. Белая седина — без крапинки, уложена высокими фестонами, букли спадают на воротник — точно камья, которой сколот плоеный бант у ворота.

Машенька всегда в сером, гладком или в полосочку, юбка со складочками, черный пояс на узкой-узкой талии, блестят пуговицы серого перламутра и узорная, белого металла пряжка.

Мне не слышно, о чем беседа, но она идет все время — спокойно, размеренно. Иногда Машенька обращается к Капитолине, стоящей за Снеговихиной спиной, и Капитолина уносит миску с большой фарфоровой ложкой и возвращается с блестящим судком или блюдом со стерлядью, или укрытым салфеткою пирогом с вишнями.

А у палисада уже таятся деревенские ребяташки — после обеда Машенька будет играть до сумерек, а они будут стоять у забора, втиснув в щели носы, будто слушают не ушами.

В сумерки Набережная словно тропики: накопившая за день солнце Волга отдает тепло. Густо стрекочут разомлевшие кузнечики. Вечерять на ветки из неведомых глубин старой сирени выползают, и чистят лапки, и летают тучами крупные, длинные, зелено-золотые жуки, называемые здесь шпанскими мушками. От этих мушек в жарком вечернем безветрии стоит терпкий, сильный и странный, почти невыносимый запах — не противный, но почему-то невыносимый. Взрослые говорят, что из этих жуков настаивают «любовный напиток».

Снеговихин дом при свете луны, как снежная глыба, только теплый огонек в окне у Машеньки — она пишет при свечах.

От липкого шпанского духа мы бежим к обрыву, через ночные сады с одичавшей смородиной и мелким крыжовником, к которому не прорваться через крапиву.

На бузовской даче — третий мир: удачливая, плотная молодежь толпится на опоясавшей дом веранде, разом лопается дружный смех, гремят граненые стаканы, падают в петунии бутылки, граммофон поет целый вечер: «Утомленное солнце...», кто-то целуется в кустах. Там всегда много народа, сменного, громкого, загорелого. Набиваются толпой в ялик, отчего он оседает по верхнюю

дощечку, плывут на ту сторону, горланя и визжа, оставляют к вечеру на серебристом свее заволжского пляжа арбузные корки и вишневые косточки.

Бузовская дача — оптовый покупатель: вишню — ведрами, мед — рамками. Гости ли, хозяева — не разберешь — торгуются с рыбаком, с татарами, приносящими овальное масло в капустных листьях. Почему-то этих шумных людей в деревне не уважают. К Снеговихе относятся иначе — даже битая, замызганная Устинья надевает специальный, чистый передник и умывает лицо, относя к Снеговихе через улицу укрытую белым полотенцем корчагу с молоком, а татары из дальней деревни приносят ей масло по убыточной цене и, ласково улыбаясь, величают: «Апа». А старик Нестеров, привозя ей мед с заволжской своей пасеки, подолгу беседует со старухой, положив коричневые руки на крахмальную скатерть и изредка прихлебывая «анисовку», держа двумя пальцами тонкую хрустальную ножку.

Туда, на самую нестеровскую пасеку, в заволжские леса долетает, несясь над водой, беспокоящее пчел «Утомленное солнце», и старик Нестеров, засмелев от «анисовки», сетует, что на бузовской даче нет, видать, других пластинок или народ кажин день не тот — тем же бы надоело.

«Утомленное солнце» я с чувством пою про себя, ходя туда-сюда по узкому проулку между нашим-любанюшкиным и антонихиным садами. Я вижу еще не виданное мною море, огромный, коричневый, в полгоризонта сегмент южного солнца и от него, как от луны на Волге — полоска света и тоненький в ней, девчоночий мой силуэт.

«В этот час ты призналась, что нет любви...» Мне очень-очень грустно. Я не думаю, кто — она и кто — он. Для меня все едино: весь мир и это недвижимое море, и огромное, плоское солнце, и узкая дорожка от него.

И это я стою в светлой от него полосе, и мне грустно от любви, от печали, без любви, без печали... И я слышу уже не заигранную пластинку, а сильную и печальную машенькину музыку.

Ночной ветер, упругий и прохладный, летит по проулку от дальних заволжских лесов, напоенный хвоей, медовым луговым дыханьем и голубой свежестью ежевики.

Декабрь 1986 — май 1987

Александра ПЕТРОВА

* * *

Все тоньше пленка небесного шара;
хлынут вниз заоконные вязы.
На стекле разрастается озеро пара;
вода соберется у глаза.

Разбредутся предметы по разным углам,
связь прервется меж стулом и стулом.
То, что есть отражение в недрах стекла, —
видно физика нас обманула.

Звук сорвется как в пропасть на паре шагов.
Лишь его искажённое эхо
бумерангом заденет значение слов,
что меж яблоком дышат и веком.

1990

* * *

Шары деревьев надулись ветром,
а мы-то думали — ещё не пора.
Мы скоро вернёмся в город-петрос,
к чертёжной доске воскового Петра.
Яблоки падают в траву, на крышу сарая.
Солнце спицей зацепилось за велосипедное колесо.
Ты крутишь его, увлекая из этого рая,
и вдалеке, словно море, съедает тебя песок.

1990, Мюнхен

* * *

М. Х.

Ворона спит, качаясь, в клетки березы.
Окно раскрыто, там белое небо лежит под наркозом.
Под яблоней мальчик стоит, глотает слезы:
Я имя свое уронил с золотого возу.

Повешена слева пустынная рама рощи,
больницы и сада белилами замер росчерк,
почти незаметно, что воздух из жидкого воска, —
лишь пламя когда отразится и ляжет косо.

Но эта прозрачность, наверное, односторонняя.
А с той стороны и не вспомнят, коль имя уронят.
И душен там гул, даже тени там тесно, хоть места там много.
Нас тоже туда позовут, так что вещи свои ты оставь у порога.

А здесь только яблоко шорхло сорвется и ворон
(возьми свое царское имя, мой мальчик) найдет тебе вора.
Он был и ушел, и где его след? — лишь трав хруст.
Возьми свое имя, мой мальчик, и царствуй. Ты — Август.

1988

Кинозал

М. Р.

Снег запорошил картины всех укоризн и усталого быта.
Это экран в зале, где лампы погасли, рампа разбита.

Полупустой, но все-таки зрители есть, хоть их уже мало.
Щелкают стулья, и снова кто-то выходит из зала.

В чуть засветленную тьму, в сукно из сквозного тумана
дверь приоткрыта. Кто-то взглянул на часы, сказал: еще рано.

Чье это время звенит в не подставленной каплям ладони?
Там, за порогом, слышишь, вода прибывает, и лодка тонет...

Полно сидеть тебе, милый Протей, нарисуй же на этой мелованной
ткани
то, что ты видишь на том, настоящем экране.

Может, удастся еще укороченный выдох.
Может, за этим экраном есть дополнительный выход.

1988

* * *

Буксует воздух. Человек отбросил
на город свой прозрачный силуэт,
почти достигнув выдуманной тверди.
Теперь оттуда видно — смерти нет.
Чего ж ты все по-прежнему о смерти?

Ведь, словно стрелки на часах, совпали
все вертикали и горизонталы.

1989

Аркадий РОВНЕР

СОШЕСТВИЕ ГОЛУБИНОГО ДУХА

В августе Эндрю вернулся из Парижа, где он прожил лето, настреливая у туристов подешевевшие франки, жуя американские хамбургеры и покуривая травку. С торчащими из-под брюк угольными от грязи лодыжками — не мылся, чтобы не смывать ауру, — он лежал, растянувшись на скамейке, просыпался, засыпал вечером, утром, ночью — когда попало, вскакивал по нужде, справлял ее тут же за углом и снова растягивался на скамейке. Спал упоенно.

Курево и еда приходили легко. Убедившись в его безобидности, полицейские и консьержки ему не докучали. Девочек тоже было достаточно: то туристка в коротенькой юбочке привяжется к нему с неизменным разговором о зодиакальных животных, который закончится в подворотне, где, приставив ее к стене, он задерет ей юбку, а то нарциссическая наркоманка разбудит его пассами лунатических рук, шарящих у него под рубахой то, чего она там не потеряла. Днем прибывало алкашей и суровых наркоманов, вербовавших его в свои бреды и фобии. Убедившись, что не клеится, они, впрочем, быстро отваливали.

Он пригрел двух философов — вишнуита из Калькутты с торчащим изо рта верхним резцом и восторженным приветствием: «Друг, ты еще здесь?» и навеки перепуганного русского, практиковавшего, как и Эндрю, философию неделания. Вишнуит, жадно присасываясь к закруткам и потягивая из алюминиевых банок теплое пиво, упоенно проповедовал восточное эпикурейство, называя его Ведантой. Русский же ничего не проповедовал, а привязался к нему по-родственному, пустил рядом корни. Он разглядывал Эндрю с нескрываемым недоумением и сочувствием,

будто спрашивая, ради чего на свете человек с собственной страной и шизоидной пенсией станет прозябать в Париже на лавке под каштановым деревом.

Эндрю поселился на Монмартре на площади, замощенной ровным красивым булыжником, с полудюжиной театральных каштанов, с гедонистическими старухами, с изящной французской детворой, с фонтаном в нише и с лужей перед фонтаном, с панорамой крыш и куполов вечного города и с небом над ними в скользящих кружевах облаков. Машины сюда не заезжали, так как им негде было развернуться.

С утра по крутой улочке группами и поодиночке, пыхтя и отирая потные затылки, ползли через площадь туристы.

Позевывая и почесывая угольно-черную лодыжку, запивая огрызок вчерашнего сэндвича водой из фонтана, заспанным невразумительным взглядом Эндрю косился на старух, на крыши, на монпарнасскую башню вдалеке, проверяя, все ли на месте. Убедившись, что ничего не пропало, вытягивался опять на скамейке и закрывал глаза.

Большую часть дня Эндрю проводил с закрытыми глазами, опуская заслонки по всякому поводу — спал ли он, ел ли он, думал ли. На туристов он старался не смотреть, чтобы не стошнило. Разговаривая, он жмурился, избегая глаз собеседника. С женщинами он тоже делал все с закрытыми глазами, уступая им инициативу и перспективу зрения. Даже в темноте он предпочитал оставаться с закрытыми глазами, ибо для него была важна не внешняя, а его собственная темнота.

Он просыпался среди ночи и лежал неподвижно, прислушиваясь к тихому пению желудка, к легким всплескам дыхания, к пульсированию в правом более хрупком виске, к ломоте попусту набухшего члена. Какие-то вязкие картинки всплывали в его непривязанном воображении. То он видел себя ночью в лесу среди чернокожих ровных стволов, и сам он тоже был стволом и потемневшей от старости корой с цепкими паукообразными корнями. То он был заключенным в маленькой черной камере без окон. То он был завален рухнувшим домом в огромном бетонном подвале. Ерунда, а прилипчивая, въедливая, и ему приходилось отдираТЬ от себя эти рельефные картинки, возникающие перед ним в часы ночных бдений.

Он воображал себе женщину, но всегда как часть себя без

малейшего намека на телесность и форму. Женщина его желаний пряталась у него под мышкой, скользила вдоль позвоночника, сворачивалась калачиком в кратере его живота. Она была не больше ладони, она, может быть, и была его ладонью. Но он не был головным мастурбантом, кубла ханом эротических маний. Женщина его желаний не имела внешнего облика — так мы не помним, не знаем, не хотим знать нашего собственного лица.

Забывшись утром, он просыпался поздно пополудни оттого, что солнце, пробившись через негустые кроны, слепило его сквозь закрытые веки, щекотало переносицу. Сидя на скамье со скрещенными ногами — голова Эндрю гудела от пересыпа, ломкая хрупкой пьяной легкостью, — он вытирал со лба капельки пота, тяжело вздыхал. В это время к нему подступал бес пополудня, чинил всякие пакости, подзуживал, требовал немедленных действий. Эндрю отмахивался от него, как от комара. Тот гудел в самое ухо, потом как будто отлетал, но только для того, чтобы вернуться опять и, неожиданно подкравшись, вогнать свой хоботок в самую жилу его страха.

На этот час приходилось больше всего посяганий на него: подступали алкаши с соседних скамеек, липли какие-то недовывулпившиеся панки, недобитые битники. Бойкие девочки выясняли у него кратчайшую дорогу к Сакр-Кору, а заодно и историю его жизни. Бились, жужжали в голове какие-то забытые слова, пытались наполниться смыслом.

Он закрывал глаза: в темноте не было ни людей, ни мыслей. Его успокаивал визг детей, носившихся между скамейками. «Друг, ты еще здесь?» — окликал его вишнунит, и индусская речь его была влажная и затягивающая, как плеск воды в каменной раковине фонтана. Шепот русского возвращал его домой в Глостершир, в забытый мир пасторальных пейзажей и барочных облачных флотилий над ними. Осторожно выглядывая из-под приспущенных век, он просеивал сквозь рыжеватые ресницы сценки позднего пополудня. Старухи на скамьях под каштанами ловили ускользящие золотые песчинки дня, просыпающиеся в узкое горлышко парижского неба. Туристы жадно жевали фрукты и бутерброды, высматривая, где бы присесть и, незаметно скинув обувь, растереть распухшие ступни. Он успевал разглядеть персидский ковер тени и полусвета на булыжнике, калейдоскоп брызг вокруг фонтана, снующие челноки птиц. Он улыбался приятелям, рус-

скому и индусу, — «Друг, ты здесь?», — усевшимся у его ног прямо на булыжнике, разложившим на газете свой немудрящий обед — хамбургеры и пиво, отложившим в сторону его долю. Дети порхали среди этой идиллии, прятались друг от друга за фонтаном, деревьями, за спинами старух и туристов, в невинности своей не знающие разницы между ними. Солнце выхватывало из тени и полутени искрящийся бриллиантами срез булыжника, бархатную сумку, розовое колено. Солнце слепило из лужи перед фонтаном. Плеск, скрип, шарканье, цоканье, шелест — звуки переплескивались волнами, перекатывались в колодце между стенами ветхих декораций. Разноголосый шум наливался, набухал, креп, грозя смять и смести хрупкую шелуху пополудня, отзываясь ударами в висках.

И Эндрю начинал шепотом вспоминать арабские стихи, звуки, когда-то наполненные значением, а теперь лишь бессмысленно прекрасные:

— Ал хамлу лиллай рабби л алламин...,

и вишнуит истово подхватывал его шепот, вплетая в него гортанные завитки и округлости своего калькутского наречия:

— Ар рахмани р рахим малики явми д дин...,

а русский, испуганно гримасничал, отгонял набегавшую детвору, расчищая дорогу первым падающим в шляпу сантиметам.

Как мотыльки на огонь, налетали туристы, декламаторов обступали в два-три-четыре ряда, задние напирали на передних, юркие протискивались вперед, забирались на скамейки. Накрыв ладонями лицо и прижав к надлобию подушечки пальцев, Эндрю выпевал страстные и клекочущие строки с долгими напряженными паузами, несущие в себе весть о суровой расправе над лицемерами и о милости простодушным в неотвратимый день Страшного Суда.

— Ияка на буду ва ияка наста ин...

И опять вишнуит — «Друг, ты еще здесь?» — исступленно подпевал ему своим умильно-гнусавым голосом, мешая языки и мелодии, а русский торопливо выгребал из неглубокой шляпы монетки, оставляя несколько мелких и одну покрупнее: впечатлением скудности регулируя жалость и щедрость туристов.

«Ар рахмани р рахим», — поднимался к небу страстный призыв, кочевнический крик, сдерживаемый и внезапно вырывающийся огонь. И совершалась инвокация духов неба и земли, четырех сти-

хий и семи планет — таинственным сочетанием пауз и заклинаний, якорь взлетал вверх — прочь от толпы, от спектакля под деревьями на монмартрской площади. И небо откликнулось на призыв, струна натянулась между тремя бродягами и розоватым облаком над ними, и на площадь стали опускаться — стая за стаяй — голуби. Глухо хлопая крыльями, они садились на булыжник вокруг потемневшей лужи, расплескивали воду, пили из струи. Туристы заслонялись от птиц, отворачивались от брызг, смеялись, торопились бросить мзду в черную шляпу перед пасторальной группой, осиянной сошествием голубиногo духа, и побежать дальше.

Толпа между тем уже струилась двумя полноводными потоками — вверх и вниз через площадь, образуя водоворот, пеструю шумную толчею на пути в Сакр-Кор, а вечернее, в облачных кронах небо над площадью было такое же бездонное и безмятежное, как при Бурбонах. Опустив плотно веки, оставленный всеми, но убаюканный невидимым дрожащим потоком, Эндрю бормотал стихи, и в них так легко и радостно жаловались звуки, так высоко взлетало сердце, что казалось все можно вернуть и все принять в бесконечной свободе и оставленности.

«Друг, ты еще здесь?» — спрашивал шепотом голос индуса.

Геннадий ФАДЕЕВ

Я ЖИВУ

Вот он сидит передо мной, и лицо его — в морщинах глубоких и настолько неправильных, как если бы его вылепили из хлебного мякиша, который зачерствел и растрескался. Еще оно похоже на измятый и разглаженный лист бумаги с небрежно нарисованной на нем рожицей.

Где-то после сорока с лица человека уходят неуловимо-тонкие переливы, и остается главное, основное выражение, как с мелководья после весеннего разлива уходит вода и обнажается дно. Увы, здесь это главное — не ум, не воля и даже не тупость, а какая-то застывшая, безнадежная неопределенность.

Мы живем с ним вдвоем в четырехместном номере санатория, уже вторую неделю, и за это время я узнал его настолько, что смогу без запинки рассказать любую его историю, круг которых так же нетороплив, безыскусен и однообразно-сер, как обочина пыльной дороги.

Прошлая жизнь для него давно уже не река событий, а островки на реке, каждый из которых исхожен, измерен и выплывает из-за поворота непременно вслед за предыдущим. Рассказы его вытерты от частого употребления, как локти старого пиджака.

Вот он приходит с обеда и, садясь на койку, говорит:

— Сегодня был хороший борщ. И сметана такая густая, неразбавленная, полную ложку положили.

Сейчас он сыт, а значит, доволен. Здесь хорошо кормят, и для него этот санаторий — вершина жизненного пути.

— В семьдесят втором году — говорит он — я был у сестры. Вот там я сметаны наелся! У них своя корова, — он смотрит на меня.

— Конечно, — говорю я, — свое — не магазинное.

— Утром — ведро молока, — говорит он, — и вечером — полтора ведра. На два пальца сливок сверху.

Я киваю.

За нашими окнами — вершины желтых берез.

— За грибами сходить, что ли? — вслух размышляю я. — Да какие тут грибы! Поганки одни.

Он кивает и говорит:

— Я в пятьдесят девятом был с женой в Рыбинске. У нее там родня. Целый бочонок у них соленых грибов. Рыжик, груздь, волнушка — все!

— Это его «Рыжик, груздь, волнушка — все!» я слышу уже раз в десятый, и неизменно слова сопровождаются отталкивающим — от груди — жестом правой руки.

— Мы с женой отдельно живем, — говорит он немного погодя, потому что слово «жена» вызвало из тумана его памяти очередной островок, — стираю сам, еду покупаю сам.

Иногда мы берем с ним на двоих в сельском магазинчике неподалеко от станции, куда пешком по дороге два километра и километр — по лесу, бутылку водки или две — портвейна, и он старется не отдавать деньги. Я не настаиваю — денег у меня больше. Однажды я встретил у магазина знакомого по санаторию и мы проболтали минут сорок. Не дождавшись меня, дед пошел разыскивать: он решил, что я собрался выпить бутылку в одиночестве.

После отбоя мы садимся за стол, раскладываем купленные в магазине консервы, хлеб, а иногда буфетчица Людмила дает нам помидоры и ветчину. Мы с ней в хороших отношениях, потому что я — единственный молодой мужчина в санатории, а ей — тридцать четыре, хотя она утверждает, что двадцать девять.

Не торопясь, мы выпиваем нашу водку — или вино, — и где-то после третьего чоканья я, наконец, решаюсь осудить моего собутельника. И я начинаю судить его по всей строгости общественной и личной совести. Материал для судебного разбирательства всегда при мне: сосед перебирает свои истории, как горсть ракушек на берегу моря.

Например, он говорит о какой-то старухе-пенсииерке, его заклятом враге:

— У нас в деревне таких баб звали — «Черт». Я ей говорю: «Черт ты!» И все.

«Черт» — это самое страшное ругательство у них в деревне.

Пятнадцатилетним, перед самой войной, он попал в Рыбинск, а оттуда, на барже — в глубокий тыл, на военный завод.

Он рассказывает это так:

— В Рыбинске дали буханку хлеба. С баржи не отпускали, даже на пристань. Не мылись. Я раз искупался — у меня пиджак украли. Коменданту пожаловался — нашли. Лег спать — весь чешусь, до крови расчесал — вши. Две недели плыли. Под бомбежку попали. Рядом со мной двух баб — насмерть. Кормили плохо: хлеб да селедка. Приехали — всех в баню, и баб, и мужиков — вместе. Меня молодая баба мыла — сам не мог — лет двадцать ей. Долго мыла, потом повернулась задом и говорит: «Потри спинку!» А я ослабел — кормили плохо — ничего не могу. Он беспомощно улыбается.

Его оставили санитаром при госпитале, а баржу с людьми отправили дальше.

— Кормили плохо, — говорит он, — вот такой — он показывает двумя пальцами — кусок хлеба утром, на обед — что останется от раненых, вечером — пустой чай. Зато столовские жрали!.. И медсестры. Во! — он выставляет руки на полметра перед грудью, показывая, какие упитанные были медсестры.

— Всех разогнали, — говорит он, — главного врача расстреляли.

После того, как госпиталь расформировали, он стал работать на военном заводе.

— Жили в бараке, — рассказывает он, — по семнадцать часов работали. Я раз у станка сознание потерял. Очнулся — и опять работать... Кормили плохо, — объясняет он причину своего обморока.

От этого невыносимого железного уклада тылового завода, где люди, как я понял из его слов, сводились к одной-единственной функции — производителей оружия, от этой безнадежно голодной жизни он сбежал — не куда-нибудь, а на фронт, потому что война — это лучше. Это легче. Потому что смерть от пули не так тяжела, как смерть от голода, семнадцатичасового рабочего дня, холода в бараке и непрерывного усилия — жить.

Конечно, он не говорит этого, да и, даже если б и хотел, не смог

бы сказать. Я сам отыскиваю мотивировки его поступкам. Он же говорит:

— Лейтенант нас спрашивает: «Куда бежите?» А я ему: «На фронт!» Он ничего и поделывать не может — отпустил... Вот так.

Мы чокаемся. Я вижу, как по его плохо выбритой (так и хочется сказать — выщипанной) шее вверх-вниз ходит кадык. Он берет кусок колбасы, запихивает его в рот и долго жует беззубым ртом. Потом он достает смятый, желтый от старости, в табачном мусоре, платок и вытирает пальцы.

— А ты женат? — в который раз спрашивает он.

— Женат.

— Дети есть?

— Нет, — говорю я и отворачиваюсь.

Он кивает.

У меня нет детей. И, наверное, не будет, потому что жены, кажется, теперь тоже нет...

— Я тоже бездетный, — говорит он, — у жены дочка от первого мужа. Начальником цеха работает. — Ворует, — помолчал, добавляет он, — спирт. Два мужика у ней было — обоих споила! И сама скоро сядет, — он победно смотрит на меня.

Я киваю, не слушая. Мне становится вдруг тошно и тоскливо от того, что я сижу здесь, в этом тускло освещенном номере захудалого санатория, с наполовину выжившим из ума стариком, пью водку и боюсь оглянуться, потому что за моей спиной — черное окно, и я сам загнал себя сюда, и не на кого, а главное — некому жаловаться... Потому что все, что мне осталось от — еще недавно такой лучезарной! — жизни, — это жалеть его, ведь, может быть он — это и есть я, только немного погодя...

Я кладу голову на руки и вижу, как дед, украдкой налив, торопливо глотает водку, проливая на рубаху.

...Неделю назад, возвращаясь со станции, я наткнулся у края маленькой опушки на выводок волнушек. Отстегнув капюшон и держа его за шнурок, я зачем-то собрал их, старательно нагибаясь за каждой. Потом я сел на упавший, голый, без коры, еловый ствол и закурил. Капюшон лежал у моих ног, и одна волнушка торчала из-за его края, как розовое детское ухо, зябко и беззащитно.

Было тихо. Быстро темнело, низкие тучи должны были вот-вот пролиться дождем. Я ждал, стараясь не упустить момент, когда

он застучит по опавшим листьям, но первая капля, упавшая на руку, заставила меня вздрогнуть. Вторая стукнула по волосам, третья попала за шиворот — и только тогда я услышал еле уловимое, почти беззвучное теньканье, будто рвались, одна за другой, тонкие ниточки, связывающие этот чахлый, полумертвый пристанционный лес — с н е б о м...

И тогда я заплакал. Я и сейчас, кажется, плачу... Старик ведет меня к койке, стаскивает ботинки с моих ног, укрывает меня одеялом.

— Дед! — шепчу я, — Ведь не может же быть, что мы просто сдохнем, а?

— Конечно, не может! — отвечает он голосом ясным и сильным. — Мы же хоть чего-то стоим в этой жизни! Нам же зачтется!..

— Ведь и мы тоже играли в тот песочек на берегу реки — ты помнишь, какой желтый был песок! Он был самый желтый в мире, правда?

— Правда... А в воде, у самого берега, в тени кустов, стояли большие серые рыбы и шевелили хвостами... Я помню... — шепчет он. — Я все помню... Спи.

И я засыпаю.

Наутро я встаю опухший, невыспавшийся, опоздавший на завтрак и смутно вспоминаю, что ночью просыпался, курил и пил воду из графина на столе.

Сосед мой говорит, входя в комнату:

— Людмила спрашивала про тебя, — и, помолчав, добавляет: Баба — во! — он показывает большой палец.

Людмиле тридцать четыре года. Она толстая, и с похмелья эта мысль вызывает у меня отвращение.

— Мы с женой в Рыбинске познакомились, — говорит дед, — после войны. Меня туда от завода послали. Общежитие у них там грязное. Кормят плохо. А она там была комендантом. У нее свой дом. Я к ней в гости пошел. Взял бутылку. Выпили, а она говорит: «Чего ты пойдешь в общежитие! Ложись со мной!» Она разведенная. Так весь месяц и прожил у нее. А потом поженились.

Через некоторое время он добавляет:

— Мы с женой отдельно живем. Стираю сам, еду покупаю сам.

— Завтрак хороший был, — говорит он, глядя, как я одеваюсь, — салат из помидоров со сметаной, каши пшенной полная

миска, с маслом. И компот. Хлеба даже осталось.

Я одеваю сапоги, и он спрашивает:

— Куда пойдешь?

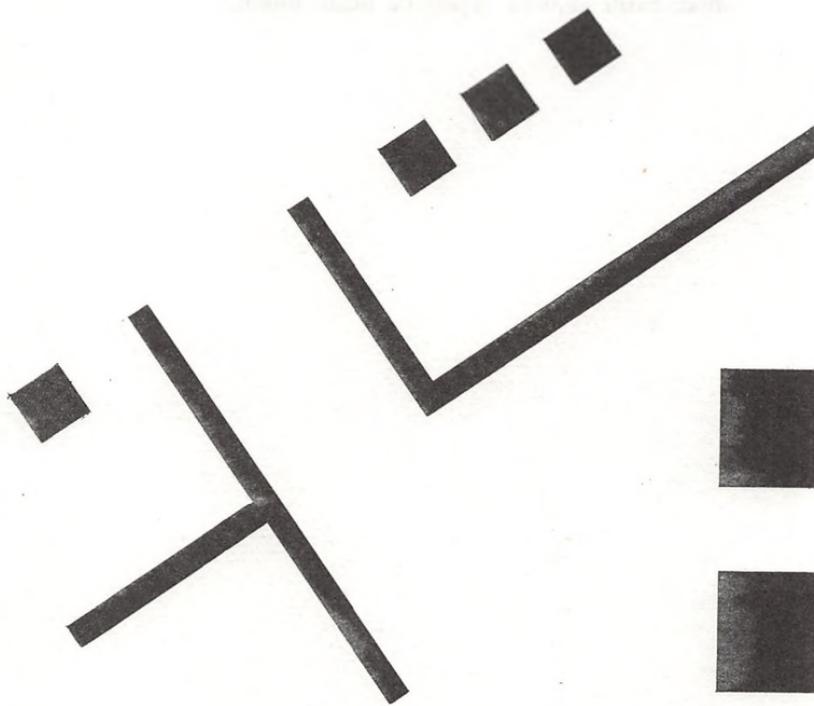
— На станцию, — отвечаю я, — может, пиво привезли.

— У нас в деревне, — говорит он, когда я уже стою в дверях, — пиво сами варили. Крепкое было пиво!..

1986



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

ДИСПУТ

1-й мистик:

Мне Бог сказал, что Он не человек
А заколоченный ковчег

2-й мистик:

Мне Бог сказал, что Он могучий газ.
И студень из бесцветных глаз

Математик:

Он — совершенный мозг,
Он — всемогущий лоб
Из формул мост,
из чисел небоскреб

Колхозник:

Неправда! Бог — небесный человек
Он попросился на ночлег
Ко мне сегодня

Богослов:

Вот умаление Господне
Бог стал ничтожен, нищ, убог
Но даже в рубище, Он — Бог

Хасид:

Бог в повседневности, в миру
Он — гость у бедных на пиру

Моралист:

Бог в милосердии
и в сборе нужных средств
Чтоб для несчастных выстроить дворец
Из серебра и хрусталя
Гордиться будет им земля.

Моралист:

Бог — вне добра. Он — ужас, гибель, гнев
В морях — Левиафан,
в степях — свирепый лев.

Гуманист:

Что Бог? Он жил, страдал, исчез
Недолог Божий век
На лестнице существ
Отныне выше прочих — человек.

Новый мистик:

Да! Человек — Отец,
а Бог смиренный Сын
А не творец и скрытый властелин.

Алкоголик:

Я снова горько пьян,
но не судите строго
Подайте мне баян,
я вам спою про Бога

Ему дают баян. Он поет:

Когда лежал я на панели
Печальный призрак подворотен
Зарюю крыши заалели
И я услышал глас Господен
Господь сказал мне тихо: Встань
Иди и пей любую дрянь
С любыми бабами греши
Пока алмаз твоей души
В ладони Божьей

Культуртрегер:

Кто алкоголика ничтожней?
Спасенье в творчестве,
а пьяный духом нищ
Он не алмаз, а вредный прыщ
На Божьем теле.

Скептик:

А вы спасенья захотели?
Но не все ли для Бога равно
Что мы делаем:
пишем, изобретаем
Сторожим катера,
или пьем в подворотне вино
Под названьем гнилуха:
мужское свирепое зелье
В нем вязкое солнце и злое веселье

Новый богослов:

Да, Бог всегда молчит.
Он без ушей и глаз
Он путнику в ночи

поводыря не даст
Голодному в ладонь
он не насыпет крох
В вещах погас огонь.
Нам не поможет Бог.

Просто верующий:
Но брезжит свет во тьме
и в этом смысл вещей:
И нищему в корчме
дадут тарелку щей
И на пути слепой
найдет поводыря
Бог рядом. Он с тобой.
Ты сотворен не зря.

1-й мистик:
Мне Бог сказал, что Он не человек
А для земных существ ковчег.

2-й мистик:
Мне Бог сказал, что Он — могучий шар
И в недрах вещества — пожар

Председательствующий:
Увы, нам истина не светит
Она пугливей, чем испуг
И как библейский скорбный ветер
Спор возвращается на круг.

Конец

Диалог о грехе между старичком Григорием Сковородой и обезьяной Пишек

Сковорода: Говорил сосуд с мочой
Доброму сосуду
Я сияю, золотой,
Уподоблен чуду.

Говорил Мельхиседек,
Старец иудейской,
Что подобен человек
Кому грязи мерзкой.

Говорил казак Петро,
Внук Мельхиседека,

- Что тигриное нутро —
Время человека.
Дал творению Господь
Благости излишек.
Отчего ж преступна плоть,
Отвечай мне, Пишек?
- Пишек: Ева оному виной.
Страшен мир двупольный,
Происходит грех земной
От прабабы голой.
Возлюбила грязь и плоть
И зиянье срама,
И разгневался Господь,
И случилась драма.
- Сковорода: Заслужили Божий суд
Люди-бедокуры,
Где ж спасенье? Не спасут
Греки-эпикуры
Вся материя больна,
Как праматерь Ева,
И черна, как мир, вина
Потребивших с древа
Пьянство, сытость, блудострасть
Панствуют повсюду,
И в коронах блудовласть
Сладословит уду.
Потеряли люди стыд
В суете греховной
Где же, Пишек, заблестит
Нам алмаз духовный?
- Пишек: О, в навозе сей алмаз,
В черноте паскудной
Разгребь и прямо в глаз
Засияет чудный.
Как черна сковорода
С белыми блинами
Черен мир — но не беда
Божья правда с нами.
- Сковорода: Ах, сияющий обман,
Время человек
Чуден мраморный болван
Обольститель греков.
Афинейское свое
Гнет афинорожий,
Не познав, что мир — сырье
Для машины Божьей

- Пишек: О, не будь, дружочек мой,
Носорогом школьным,
Не грози сковородой
Еллинам фривольным
Не гляди, что любят фалл,
И похабны рожи
В сих олимпянах играл
Божий пламень все же
- Сковорода: Ах, мартышечка моя,
Дорогая Пишек,
Есть в проблемах бытия
Черных дыр излишек
Не заткнет старик Сократ
Грецкими словами
Ах, премудрость — страшный сад
С черными плодами.
- Хор с неба: Празднен разума вопрос
Чушь — дела земные
Перед тем, что спас Христос
Атомы больные
Не ищи, Сковорода
Мудрости сосуды
Стань юродом навсегда,
Обличая уды
Будь в немудрости мудрец
Просияй в народе
И тебе сплетет венец
Божий птах Еродий.

Февраль 1973

В СТРАХЕ И ТРЕПЕТЕ

1. УБИТЫЙ МОЛНИЕЙ

Он был не вор и не грабитель
Он ставил свечи всем святым
Но с неба Бог его увидел
И подшутить решил над ним
Не в ореоле властелин
Он жил колхозником безвестным
И был убит огнем небесным
Ильей-пророком в день Ильин

2.

Нас гладит Бог железным утюгом
Он любит нас с ожогами на коже
А мы скулим и жалуемся: «Боже,
Ты был нам братом, сделался врагом»
И как молиться? Петь хвалебный гимн?
Когда Его железо нас ломает
И дивный свет невидимый другим
Живую боль не унимает

3.

Как Божий молот нас дробит
Живые кости сокрушая
И не исчезнет от молитв
Беда железная, большая
И верных правде искушая
К неправым Бог благоволит

4.

Летят болезни из мешка
Судьбы.
И кружится над нами
Их невидимая стая
Кому назначена какая
Какими клювами, когтями
Вонзится в плоть
Кого надумает смолоть
В железной мельнице
И сам Железокур
Кружится с ними ржав и хмур

5.

О лик случайности — хозяйки кирпичей
Вниз падающих с крыш
на головы прохожим
Летающих прямо в нас из Божьей пустоты
Вот собралась толпа. Убит!
Неужто ты!
Нет. Слава Богу нет. Лишь на тебя похожий

1979

ПИСЬМО К БРАТУ

Брат мой, брат мой любимый
я на свободе, а ты в застенке
Завтра ты будешь казнен
за свидетельство о Распятом
Господе, Спасителе нашем

Брат мой, брат
ты меня презираешь, я знаю
Статую кесаря
я поклонился как Богу
Жертвой задобрил
его некрещеную глыбу
Да, покривил я душой
но ведь эти обряды — проформа
Все ведь знают
что кесарь не Бог

Брат мой, брат
оказался я слаб, но послушай
Всякий ли в силах как ты
пострадать за Небесную Правду?
Выдержать пытки?
Неужто Господь изваял
Нашу плоть для мучений?

Брат мой, брат мой
ты в нимбе багряном войдешь
В область воскресших,
а я, недопущенный, сгину
Горько и страшно мне брат
и вчера от тоски безответной
В горы ушел я,
чтоб раненой птицей подобно
Умереть одиноким

Долго бродил я в горах
в одиночестве скорбном и вспомнил
Как в наш город недавно
приходил проповедник лукавый
Александриец ученый.
С каким говорил он презреньем
О погибших за веру!
«Глупцы, — повторял он, — ослы!
Подражали Христу,

А Христос-то не мучился вовсе
В призрачном теле
взошел он на дерево пытки
Боль не коснулась Его»

Помню как ты задрожав
закричал: «Уходи чужеземец
Еретик кривопутный,
слуга сатаны, убирайся
Хуже язычника ты,
лжеязычной хулителей наших
Нет тебе места средь нас».

Молча, плечами пожав,
восвояси ушел проповедник
С гневом мы все христиане
заклеймили его криворечье
Но вот вчера, проходя,
в смертной тоске, по тропе,
над обрывом манящим
Вдруг я подумал:
А что если прав чужестранец
Не страдал наш Спаситель
И вся наша вера напрасна

1984

ПОЕЗДКА К БРАТУ В ПСИХБОЛЬНИЦУ

Было безумие, было безумие, было
Взгляд бессмысленный брата
сквозь меня, сквозь больничную толщу
Взгляд через толщу, наскрозь
через стены, в Ничто нежилое
Скважина... в разуме гвоздь...
Хрупкий разум гвоздящие звуки
(Где-то кузнец в звукокузне
словно гвозди кует эти звуки:
Скважина... сквозь... и наскрозь)
Было безмолвие... белая молния... было...
Молния белого сквозь
пласт обихода пронзая

Копие мировое
 пронзя острием разуменье
Нынче Пасха Господня
 ты помнишь об этом, мой милый
Воскресенье Христово
 ты помнишь об этом, ты помнишь
Как ходили к заутрене
 в храм многолюдный, а после
Шли к друзьям православным,
 садились за праздничный стол
Ели кулич освященный,
 Неужто не помнишь, припомни
Не отвечает... забыл.
Бука... пустой полузверь
 в полосатой больничной одежде
Что же нам делать теперь
 и зачем ты обрушился, Боже
Мощью своей на него?
«Слишком крепко он верил, —
 сказал атеист-психиатр, —
Слишком рьяно молился
 в церквях ошиваясь подолгу
Причащался, постился
 на клиросе пел, ну а толку
Бог ему не помог,
 но не боги, а вы виноваты
Проморгали психоз
 завихренья наитием свыше
Называя облыжно
 и вот результат заблужденья»
«А быть может он счастлив, —
 сказал санитар отделенья
Счастлив в мире недужном
 и нашему миру не нужно
Претендовать на него».
Увели пациента
 окончилось время свиданий
Я ушел из больницы
 дул ветер дурной над Россией
Где-то пьяный народ
 загорланил зазорную песню
Нынче Пасха Господня
 кто помнит об этом сегодня?
Разве что мусорщик тот
 что в троллейбусе лез целоваться
Троекратно, с таким же ханыгой как сам?

Ветер выл непогожий
в тот день когда Божьи сыны
К Богу пришли
и пришел Отрицающий с ними
И сказал Отрицающий:
«Знаю раба Твоего
Скотовладельца счастливого
не за мзду ли он любит Тебя?
Испытай его, Боже,
хворобой сгуби его стадо
Сокруши его ребра
и вызови язвы на коже
Только разум не тронь,
ибо что за резон Миродержцу
Пререкаться с безумным».

СОМНЕНИЯ ВОЛХВА

Е. Пудовкиной

Нет, ни за что не поеду
и рассказням вашим не верю
Что за младенец грядущий?
Стар я уже и устал
Трудно без помощи слуг
нынче мне сесть на верблюда
Знаю: в гостиницах грязь,
на дорогах — разбойники, воры
Нет, не поеду, увольте.
Впрочем, в каком это месте?
Ах, в Вифлееме. Не слышал.
То-то должно быть клоповник
и глухомань. Не поеду.
Впрочем, звезда, говорите,
новая вдруг появилась
На небосклоне горит...
Может быть, знаменье вправду,
Может, слухи не так уж нелепы.
Может поехать?..
Эй, слуги
Где мой любимый верблюд?

1981

Ольга СЕДАКОВА

ЗНАК, СМЫСЛ, ВЕСТЬ*

(из дневника)

Новая теория знака и знаковых систем оставляет в стороне свое глубочайшее основание, а именно то, что между знаком и значением располагается существеннейший зазор. «Вот те раз, — скажет любой читатель семиотических трудов (не говоря уже об их авторе**), — разве не с этого, не с установления произвольности, немотивированности, конвенциональности знака и начинается семиотика?»

Но зазор, который я имею в виду, представляет собой другую проблему. Как ни странно, здесь, собственно, не существенно, условен, безусловен или частично мотивирован знак в отношении к тому, что он означает. Конвенция или внутреннее сходство (так называемый знак иконического типа) или какой-то другой механизм переключения вещи из ряда «быть» в ряд «значить» — важно само это переключение, сама способность сознания к нему и причины или цели, по которым оно пускается на такую авантюру. То есть, знак требует внимания в своем герменевтическом или, если угодно, экзистенциальном плане... Поскольку понимание — вещь

* Примечание автора: эти заметки связаны с тем, что я была ученицей, а потом и участницей филологического круга (но не только филологического: там занимались и историей, и музыкальным, и искусствоведческим анализом, и множеством других вещей), известно как структуралистская школа. Я бесконечно благодарна великим ученым и удивительным личностям, составившим эту школу (школу не только авангардной науки, но и человеческой и гражданской доброкачественности, «культурное гетто» в черном бархате советской ночи), школу, содержание и масштаб которой доньше гораздо лучше представляют за рубежом, чем у себя на родине. И эти заметки ни в малейшей мере не полемика с семиотической теорией, а просто попытка взглянуть на дело еще с одной стороны, со стороны, так сказать, космической и комической.

обыденная больше, чем научная, я начну с обыденных примеров и далеко от них не уйду.

Ощущение быстро, легко перекинутого моста через неизвестную бездну к чему-то иному отличает в обыденности то, что мы полагаем для себя знаком, от незнакового (кот лежит — это не знак, кот умывается спиной к двери — к гостям; понятно, в разных культурных конвенциях знаковыми окажутся разные куски реальности: может быть, какая-то культура не выяснила, к чему кот умывается, зато хорошо знает, к чему он лежит, — но, как говорилось выше, ни конвенциональность, ни плюрализм знаковых систем не входят в нашу тему). И мера инакости того, к чему отсылает вещь, есть по существу мера ее знаковости. Например, если полет ласточек (низкий) отсылает к скорому дождю или тот же кот — к гостям, в какой мере это знак? Уже тем одним, что какой-то предмет ради сообщения о другом опустошается от собственного смысла, которым не менее, чем тот, другой, имеет право и привычку обладать, уже тем, что перед ним посылается вестник, «означаемый» предмет приобретает не просто значение, но значительность, ожидается и принимается как событие. В случае ласточек и дождя и, осмелюсь сказать, умывания кота и прихода гостя мера эта не очень велика. Скачок от одного к другому почти ничего не делает со скакнувшим сознанием. Знак же, подлинный знак, возвещает всегда — кроме того, что в каждом конкретном случае возвещает, — еще и разрыв автоматичности в сознании, обогащение опыта (зна-ть, зна-к, зна-ние). Но есть и другое измерение знаковости, кроме «значительной прерывности», которой едва хватает на ласточек и кота. Эта мера — осознание связности того, что предполагалось несвязным, хотя и в одном ряду расположенным. Такая связь сама по себе предполагает присутствие «предмета» иного ряда — хотя бы такого, как сообразованность мира (из которой, конечно, рано делать выводы о его целенаправленности и еще менее — об управляемости). Вот этого измерения знаковости хватит на кота и ласточек.

Но знаку в полноте знаковости сознание не может противиться, оно может его неправильно понять, но вообще отказаться понимать не может, — как не может не принять во внимание, что ему зачем-то погрозили пальцем. Я нарочно выбираю человеческий, осмысленный и направленный жест как образец знака. Другие знаки в силу большего разрыва между средством извещения и

самой вестью более значительны — но этот легче понять, вернее, труднее не понять. К другим знакам необходима расположенность сознания, его большее бескорыстие, с обыденной точки зрения, а в самом-то деле — его бóльшая корыстность, умение видеть личный интерес в более широком кругу вещей, судьбу и событие выносить за постылые стены происшествий с человеком в человеческом мире. Но, что труднее не понять в угрозе пальцем и легче, допустим, в анатомии лягушки, — это, во-первых, авторизованность знака: потому что с какой бы стати что-то отказавшись от себя, стало означать другое — если бы не третья воля? Во-вторых, это адресованность знака, без которого такие неравные отношения вещей, равных по всем признакам, так же нелепы. В-третьих, это провокативная роль знака: на него нужно чем-то ответить (отказ от ответа, естественно, столь же значащ). Знак извещает и дает задание. «Система знаков» — система вестей и заданий, вестей и другом, чем то, что непосредственно присутствует, и заданий, данных чем-то другим. В таком свете положение о всеобщей знаковости человеческого мира (если сказать: человеческой культуры, это автоматически исключит «натуральный» мир, хотя именно он-то в своих четырех стихиях и располагается по силовым линиям «пятой стихии» культуры, подобной магнитному полю — образ Флоренского) выглядит очень обнадеживающе. Это не набор взаимозаменяемых синонимов, как поневоле получается в семиотических описаниях, где, скажем, в такой-то примитивной культуре «красное» значит «жизнь», а «белое» — «смерть». Такая символизация ничуть не повышает конкретности «красного» и «белого», потому что и эта «жизнь», и эта «смерть» столь же конкретны. Пока они не соотнесены со смыслом, с иным, они — те же вещи среди вещей, что «красный» и «белый». Иное — не вторая реальность («потустороннее», «мистическое» и т. п.). В таком случае оно вовсе не было бы вполне иным. Как оно и не вполне иное в разных «мистических» рецептурных системах, удваивающих это не-иное, сообщая двойнику разве что привкус приятного ужаса. Отношения между знаком и смыслом там не более таинственны, чем у ласточек с дождем, они только более секретны. Что сказать про «иное», кроме того, что оно иное? Еще можно сказать, что оно нужное в глубочайшем смысле. В открытом или в секретном, в простом или высоком узнается его «знак», — какая разница? Все полно этих быстрых мостов, исчезающих тут же, как ими

воспользуются, этих мгновенных захлопывающихся ворот: чудес, наконец. Знак, смысл, весть — все это чудо, а про чудо можно сказать, что оно губительно так же, как и что оно спасительно. Нельзя только сказать, что оно ничтожно, обращено к ничтожному. Еще меньше можно сказать, что оно бесцельно.

Потому-то уже опознать что-то как знак — великое приобретение сознания.

2

Что касается обозначающего, то по какой-то природной склонности смысла к повышению (так же, как под жизнью мы понимаем обычно, если отдать себе отчет, только возрастание «от небытия к бытию», как кто-то писал, — разве не «смертью» кажется горизонталь?), все «означаемые», все «смыслы» невероятно уступчивы — и сразу же, в момент осознания готовы стать означающими. Например: такая-то примета означает несчастье. Несчастье с неопределенным артиклем. Вот оно случилось, определилось. И кто же остановится на этом, не попробовав дальше означить, то есть еще ближе подтянуть к центру это означаемое? Скажем, так: это наказание за то-то; это предвестие еще чего-то или урок чего-то, и т. д. Эта гонка смысла, «субстанциальное движение» знака, подобное полету ракеты, порождающей ракету, порождающую ракету, кончается там, где слов нет, где, как говорится, «трудно выразить». Не кончается, а в засловесной области продолжает тот же полет из летательных аппаратов. Причем речь идет не о более глобальном смысле — а о более центральном, более внутреннем, требующем новой одежды внешнего...

29—30 июля 1982

Игорь ВИШНЕВЕЦКИЙ

Из «Книги воздуха»

1. ИМЕНА

Звукам своим научи меня:
полон твой слух
шелеста сонного имени,
светлой травы.
Видю: растет непосеянный
чертополох.
Лепетом жарким обвеяны
люди и львы.

Узок воздушного пламени
жалящий плен,
ста языками слизнувшего
кожу с рамен.
Это ли дом нестроенный,
это ль язык,
праха, внезапно прозревшего,
клекот и рык?

1990

Маленькая ода

Ты заставляешь засыпать без снов,
ты сердце одеваешь пеленою,
когда твои наклонные лучи
через меня идут, как свет сквозь линзу,
когда они ломаются и влажным

петушьим гребнем в воздухе цветут.
Становится вином Господне млеко,
я поднимаю дремлющее веко,
я вижу вспышки цвета там и тут.

Я только эхо на пути лучей,
я искривленье смысла, я прозрачен,
и оттого-то, светлого светлей,
я лишь намеком легким обозначен.
О Меланхолия! когда твоя
властительная сила наполняет
сосуды сна по самые края,
для зрячего довольно и намека —
взгляни, как искривляются лучи! —
вот чудо, жгучее, как речь пророка,
вот счастье, неподвластное тебе,
вот память, воплощенная в судьбе,
вот к Имени воздушные ключи.

1988

* * *

Цвет зеленый и желтый цвет,
бедность красок и жизни грусть.
Я их помню десятки лет,
как о Вилли стихи, наизусть.
О, английский блаженный глагол!
Точно числа в игре отгадал:
Thou givest life — в спину слева укол.
Деревянный в чернилах пенал.
На доске нарисован круг.
Шелестит карандаш. Я иду
на выский и резкий звук
трех деревьев, поющих в саду.
Облака серебристой пыли.
Тополя. Млечно-серый рай.
Why do you cry, Willy,
why do you cry?

1988

* * *

Быть может, это я пришел сюда
именовать предметы и явления,
а ты растешь из тающего льда
и убываешь плачущею тенью,
о музыка, о зрячая вода!

Но как назвать мне ту, что вне ладов,
вбирая гул иного измерения,
над шелестом ветвей или стихов
встает уже немусикийской тенью,
ту, что уже не слышит наших слов?

1990

* * *

Все, что я слышу: гул,
который вечно и днесь.
Не кровь по артериям, веткам,
не горло и сердце, а весь
от горящей ступни до десницы
вместе и лед и огонь.
Пламя сожгло ресницы,
стала стеклянной ладонь.

Пламя бежит по кругу,
сжимается узкий круг.
Как Эвридику-подругу,
потеряешь и тело и звук.

Врастают ступни Орфея
в полупризрачный лед.
Время остановилось,
время еще идет.

1988

* * *

Покуда талый звук внутри тебя
растет как млечный куст, как душно-белый,
в сто тысяч влажных дудок вострубя,
довременную пленку разорвав
и наливаясь цветом у предела,
где сохнут, осыпаются слова,
как чешуя — тысячелистым став,
ты осязаешь звуки изнутри,
ты чувствуешь неставшее тобою,
и замирает кровь твоя — смотри:
как воздух отвердела немота,
спирается дыхание горловое
и звуки умирают, но сперва
в небытии сливаются цвета.

1990

* * *

В. Ш.

О город осьмикрылый, осьмиротый,
летучий камень, зрячие пустоты,
когда и в полусмерти с сонных крыл
не смоешь поржавелой позолоты —
о желтизна расплавленных светил!

Я говорю: есть душная основа
всебытия вне имени и крова
поверженного — алчущее форм
зияющее знание, имя-слово,
орлов небесных теплокровный корм.

Я говорю: сокрытое навеки
Природы ощущение в человеке
живет и вне — тройчатками корней,
ветвей и листьев, в огнепарном млеке
равенством снов и дружеством теней.

В жилище духов, в дышащее тело
устувшего пока еще несмело
вливается волнами рокот двух
стихий — воды, разлитой без предела,
и пламени, щекочущего слух.

И только псы саисские на страже
среди гробниц, покрытых белой сажей,
где тепел след Орфеевой стопы,
не видят, что раскрылись крылья, даже
не взламывая хрупкой скорлупы.

1989—1990

2. ПРЕВРАЩЕНИЯ

Вечерняя песнь

В сумерках летних, в преддверии
времени тихих как вздох,
когда светокрылые звери,
твой наполняя слух,
на неземном наречии
путая ло и ли;
бременем легким на плечи
время и воздух легли;

там, где волнится глубокая
цветомиров межа;
не различает око
воздух и влагу уже
сквозь полосу сине-белую
памяти на языке
вестников девятикрылой
тенью скользнул по щеке

голубь.

В каком покое
это небывшее к нам,
шелест листвы раздвигая,
сходит под ровный шум,
под многоустый лепет,
многоголосый гул,
будто воздушный опыт
новую жизнь вдохнул

в беглые знаки и линии
жизни еще слепой;
значит, томительной лени
сломана скорлупа,
значит, лучистая сила
плещет в короне дней;
это с надзвездных подуло
благо твое — беловой.

Вот и спустились звери,
и наступает срок;
все, что ты сердцем измерила, —
вытяни руку, шаг
сделай теперь; так близко,
что, не смыкая глаз,
можно глядеть на диск и
жизни горящей час.

1989

Нагорные строфы

1

Лети, чешуекрылая, лети,
вся белая, одетая очами, —
припадочное горное дитя,
скользя по-над тяжелыми, почти
крахмальными камней касаясь; имя

немеет на губах; лети, лети —
жизнь, смерть, психея хрупкая; сухими
губами прошепчу: «Как остр глоток
блаженной жизни, данной мне шутя
тобою, точно солнечный прищур
воды в холодном озере! Меж нами
встают в текучем воздухе рядами
легчайшие рои сновидческих фигур.
Лети, лети, моргай, сияющий глазок,
подернутый, как белой пленкой, снами».

2

О, только бы не расплескать того
трепещущего, тщетного мгновенья,
когда родное бьется существо,
завернутое в кокон воплощенья,
и кокон тяжелеет, из волокон
воздушных сотканный — бесплотный кокон,
и падает, и вот уже крыло
проглянуло сквозь солнечное диво,
и стала выпуклой и яркой как стекло —
свет, молочай, вода — движенья перспектива.

3

Скажи, скажи, на что тебе щепотка
зияющего блеска, будто лодка
на озере, просвеченном до дна,
и огненные залежи и клады
грядущего; и нет иной награды
тебе в тот самый миг, когда одна
двукрылая ты мечешься, чем нити
косых лучей, связавшие с тобой
весь жар и лед, весь обморок событий,
кору арчи и камни под водой.

4

Закрыв глаза, я вижу рыжий свет,
и кожу пальцы ультрафиолета
сдирают с рук и плеч; любой предмет
не совпадает с образом предмета,
припомнившимся мне. Я говорю,

но речь несовершенна, цепenea,
пройдя сквозь мякоть губ, к календарю
привязанная — день и час, творя
себя из падших форм, дыханье серебра,
и бабочкой становится психея.

5

Моя ли речь рождается, как та
Орфеева заветная примета,
как мреющего воздуха тщета,
молва морей мерцающего цвета,
или сошла — почти уже назвал,
но нет, не выдам тайны; меркнет око,
и слово превращается в кристалл.
Гляди, как бьется бабочка, глубоко
прорезавшая долгих снов ряды,
осевшая на дно и там, беглянка,
из глуби цветосвета и воды
мерцающая вестница, белянка,
запутавшая в гаснущем следы.

1989

Фанские горы. Таджикистан

3. АЛФАВИТЫ

Элегия

Ты, воздух, все свое: лазурь, лазурь...

Г. Д.

Зацветает младенческий тополь,
и поют золотые валторны
по-над парком, и душно от капель
под плакучими кленами, зерна
грозового случайного света,
как кристаллики льда, исчезают
в струях влаги, и в сумерках где-то
две валторны играют.

Может, в куполе синем и дымном
что-то есть, кроме влаги и жара,

что блеснет письменами твоим темным,
очертаниям зыбкого пара,

что-то есть, если сумерки зренья
разливают зеленое зелье,
что-то дышит за хрупкою гранью —
память времени, сердца похмелье.

И тогда я шепчу, опоенный:
«Мое зренье неведомой силой
возврати в этот сад нерожденный,
что возрос над воздушной могилой».

1990

* * *

Пора забыть ненужную тоску
и возвратиться в сумрачные ниши
добытия, к слепому языку
змеи, крота или полевки-мышы.

Пора вернуть судьбе заемный грош
и стать трубой травы велеречивой,
испаринной дождя, одевшей рожь,
лиловых облаков вспененной гривой.

Все то, что отделяет мир внутри
от внешнего, — лишь смутное протри,
как вдруг увидишь празднично и зорко
забвенья глиноземные лари,
и лопнет слюдяная створка.

1990

* * *

Е. В.

Покуда воздух мнет и лепит
из глин зеленых, лучевых
полдневный гул, покуда трепет
растет на волнах дрожжевых,
невоплощенное — прекрасно.
Сухие ящерики бегут.
И расширяется всечасно
согласных дышащий сосуд.

А ты вступаешь в мир обратный
из незвучащей пустоты,
еще мгновенье и — понятно,
что шепчут куполу листы.

1990

Есть многое, чего не скажешь вслух,
боясь коснуться влажных очертаний,
что бьется в двух мирах и дышит в двух
сердцах в еще бессолнечном тумане

сознания, что шепчет и поет
и оперяет сонные начатки
зеленокожей влаги и пустот,
рассеянных в летучем беспорядке.

И светится, как шестипалый гром,
двойного зренья зыблемый остаток —
над внутренним и внешним бытием
всебытия воздушный отпечаток.

1990

* * *

Легче белого шелка,
исписанного наугад
письменами Синая,
качнулся полуденный свет.

То соперница рая,
раскрыв маслянистый агат
тяжко дышащих створок,
качнулась назад.

— Я сквозь кокон гляжу,
и двоится каждый предмет.

И природы наряд —
соблазнительный морок —
шелестит и щебечет,
и капли блестят.

1990

* * *

Так воздух сжался надо мной,
что я казался млечной запятой,
что я казался ижицей иль ятем
трепещущим листьям — но как сказать им,
деревьям, закрывающим глаза
волнящимися, влажными перстами,
на языке деревьев ни аза
не выучив, бессильными губами,
как им сказать...

1990

* * *

Та стрекоза на тонкой нити
сухого дня,
быть может, буква в алфавите
воды, огня —

то над рекою голубея,
двоясь в реке,
а то — прозрачная психея
на стебельке.

Не разобрать, какие звуки
встают гурьбой,
когда в предчувствии разлуки
с самой собой

ты к муравьиной кромке бора
летишь во мрак,
сгорая в звуках разговора
как Ъ.

1990

Леонид АРОНЗОН

Леонид Аронзон родился в Ленинграде 24 марта 1939 г., в 1963 г. окончил Педагогический институт, около пяти лет преподавал русский язык и литературу в вечерних школах. Начиная с 1966 г. писал сценарии научно-популярных фильмов. В 1958 году женился на Р. М. Пуришинской, которой посвящена большая часть его лирики.

13 октября 1970 года жизнь Леонида Аронзона трагически оборвалась.

При жизни поэта его стихотворения практически не печатались (кроме нескольких, написанных для детей). После 1976 года появляются зарубежные публикации. В 1979 году Еленой Шварц составлена книга избранных стихотворений Л. Аронзона, которая легла в основу сборника, вышедшего в 1985 году в Иерусалиме усилиями И. Орловой (Ясногородской) (Maler Publications). В 1990 вышла первая книга Аронзона на родине (Л., издание Комитета литераторов, сост. В. Эрля).

Ранние произведения Аронзона по поэтике мало отличаются от стихов других молодых питерских поэтов начала шестидесятых, хотя уже в них чувствуется его незаурядный талант. Как и другие, он осваивает в эти годы наследие «серебряного века», не избегая электики и наивного щегольства. Много общего у раннего Аронзона с совсем ранним Иосифом Бродским. Однако начиная примерно с 1964 года пути поэтов резко расходятся. Основной темой поэзии Бродского становится противостояние высокого и низкого плана бытия, толчеи предметов и существ и холодного, равнодушного Космоса, что на уровне стихотворчества выражается, например, в противопоставлении необычайно широкой лексики — и жесткого, «книжного» синтаксиса, регулярного стиха. Путь Аронзона совершенно иной — ему дорог мир в его сиюминутном, нерасчленном единстве: «Боже мой, как все красиво — каждый раз как никогда»... Если Бродский — поэт-метафизик,

то Аронзон — поэт-визионер. Сущность мира открывается ему не в результате длительных медитаций, а как случайное экстатическое откровение, сущность которого не слишком-то выразима человеческим языком, а если выразима, то одним-единственным, быть может, давно известным словом. Отсюда поразительный лаконизм — но и поразительная смелость! — поэтического словаря Аронзона; отсюда его пристрастие к банальным поэтизмам («Красавица, богиня, ангел мой...»), которым он с редким искусством придает новое, экзотическое звучание; отсюда пронизывающая все творчество поэта тема молчания, которое лучше и выше, чем речь.

Молчание победило речь в слишком буквальном смысле: путь Аронзона оборвался рано, и его дар, видимо, еще не в полной степени воплотился в написанных стихах. Тем не менее и этого достаточно, чтобы считать его поэзию одним из значительнейших явлений русской поэтической культуры последних десятилетий.

В. Ш.

* * *

Все лицо: лицо — лицо,
пыль — лицо, слова лицо,
все — лицо. Его. Творца.
Только сам Он без лица.

1969

Послание в лечебницу

В пасмурном парке рисуй на песке мое имя,
как при свече,
и доживи до лета, чтобы сплести венки, которые
унесет ручей.
Вот он петляет вдоль мелколесья, рисуя имя мое
на песке,
словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас
в руке.
Высока здесь трава, и лежат зеркалами спокойных
небыстрых небес
голубые озера, качая удвоенный лес,
и вибрируют сонно папиросные крылья стрекоз голубых.
Ты идешь вдоль ручья и роняешь цветы, смотришь
радужных рыб.
Медоносны цветы, и ручей пишет имя мое,

образуя ландшафты: то мелкую заводь, то плес.
Да, мы здесь пролежим, сквозь меня прорастает,
ты слышишь, трава,
я, пришитый к земле, вижу сонных стрекоз, слышу
только слова:
может быть, что лесничество тусклых озер нашей
жизни итог:
стрекотанье стрекоз, самолет, тихий плес и
сплетенье цветов
то пространство души, на котором холмы и озера,
вот кони бегут,
и кончается лес, и, роняя цветы, ты идешь вдоль
ручья по сырому
песку,
вслед тебе дуют флейты, рой бабочек, жизнь тебе вслед,
проводя тебя, все зовут, ты идешь вдоль ручья,
никого с тобой
нет,
ровный свет надо всем, молодой от соседних озер,
будто там вдалеке из осеннего неба построен высокий
и светлый собор,
если нет его там, то скажи, ради Бога, зачем
мое имя, как ты, мелкоколосьем петляя, рисует
спокойный, небыстрый и мутный ручей,
и читает его пролетающий мимо озер в знойный день
самолет.
Может быть, что ручей — не ручей,
только имя мое.
Так смотри на траву по утрам, когда тянется
медленный пар,
рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой
безлиственный парк,
где ты высохшей веткой рисуешь случайный, небыстрый
и мутный ручей,
что уносит венки медоносных цветов, и сидят на плече
мотыльки камыша, и полно здесь стрекоз голубых,
ты идешь вдоль ручья, и роняешь цветы, смотришь
радужных рыб,
и срывается с нотных листов от руки мной
набросанный дождь,
ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь
и идешь.

Апрель 1964

* * *

Вроде игры на арфе чистое утро апреля.
Солнце плечо припекает, и, словно старцы-евреи,
синевородые, в первые числа Пасхи,
в каждом сквере деревья, должно быть, теперь прекрасны.
Свет освещает стены, стол и на нем бумаги,
свет — это тень, которой нас одаряет ангел.
Все остальное после: сада стрекозы, слава.
Как, должно быть, спокойны шлемы церквей, оплывая
в это чистое утро, переходящее в полдень,
подобное арфе и кроме — тому, о чем я не помню.

5 апреля 1964

* * *

Лист разлинованный. Покой.
Объем зеркал в бору осеннем,
и мне, как облаку, легко
меняться в поисках спасенья,
когда, уставив в точку взгляд,
впотьмах, беседа со мной,
ты спросишь, свечкой отделясь, —
не это ли есть шар земной?

1963(?)

* * *

Не сю, иную тишину,
как конь, подпрыгивая к Богу,
хочу во всю ее длину
озвучить думами и слогом,
хочу я рано умереть
в надежде: может быть, воскресну,
не целиком, хотя б на треть,
хотя б на день, о день чудесный:
лесбийская струя воды
вращает мельницы пропеллер,
и деве чьи-то сны видны,
когда их медленно пропели,
о тело: солнце, сон, ручей!
соборы осени высоки,
когда я в трех озер осоке
лежу я Бога и ничей.

1966 (?)

* * *

О, как осенняя осень! Как
уходит вспять свою река!
Здесь он стоял. Ему коня
подводят. Он на коня садится
и скачет, тело удлиня...
Во всех садах осталось листьев
еще на два таких же дня.

Потом уснул. Но и во сне,
небес и вод не разбирая,
скакал то сам, то на коне,
из края в край, один, по краю
ночного берега Невы —
она не шла из головы!

Однако мрак и непогода,
его встречавшие тогда,
и ныне здесь. Тоска и воды —
все так, как было до труда.

Конец 1968 или начало 1969

* * *

Боже мой, как все красиво!
Всякий раз как никогда.
Нет в прекрасном перерыва,
отвернуться б, но куда?

Оттого, что он речной,
ветер трепетный прохладен.
Никакого мира сзади —
все, что есть, — передо мной.

Весна 1970

* * *

В часы бессонницы люблю я в кресле спать
и видеть сон неотличимый
от тех картин, что наяву мной зримы,
и, просыпаясь, видеть сон опять:

старинное бюро, свеча, кровать,
дубовый стол, две двери, и за ними

в пустом гробу лежит старуха вини —
я к ней иду, чтоб в лоб поцеловать.

Однако ночь творит полураспад:
в углу валяется забытый кем-то сад,
томя сознание, падает паук,

свет из окна приобретает шорох,
лицо жены моей повернуто на юг,
и все — в печали, нет уже которой.

Март (?) 1968

СОНЕТ ДУШЕ И ТРУПУ Н. ЗАБОЛОЦКОГО

Есть легкий дар, как будто во второй
счастливый раз он повторяет опыт.
(Легки и гибки образные тропы
высоких рек, что подняты горой!)

Однако мне отпущен дар другой:
подчас стихи — изнеможенья шепот,
и нету сил зарифмовать Европу,
не говоря уже, чтоб справиться с игрой.

Увы, всегда постыден будет труд:
где, хорошея, розаны цветут,
где, озвучив дыханием свирели

своих кларнетов, барабанов, труб,
все музицируют — растения и звери,
корнями душ разваливая труп!

Май, вечер 1968

ЗАБЫТЫЙ СОНЕТ

Весь день бессонница. Бессонница с утра.
До вечера бессонница. Гуляю
По кругу комнат. Все они как спальни,
везде бессонница, а мне уснуть пора.

Когда бы умер я еще вчера,
сегодня был бы счастлив и печален,
но не жалел бы, что я жил вначале.
Однако жив я: плоть не умерла.

Еще шесть строк, еще которых нет,
я из добытия перетащу в сонет,
не ведая, увы, зачем нам эта мука,
зачем из трупов душ букетами цветут
такие мысли и такие буквы?
Но я извлек их — так пускай живут!

Май, день, 1968

* * *

Напротив низкого заката,
дубовым деревом запряган,
глаза ладонями закрыв,
нарушил я покой совы,
что, эту тьму приняв за ночь,
пугая мышь, метнулась прочь.
Тогда, открыв глаза лица,
я вновь увидел небеса:
клубясь, клубились облака,
светлела звездная река
и, не петляя между звезд,
чью душу ангел этот нес:
младенца, девы ли, отца?..
Глазами я догнал гонца,
но, чрез крыло кивнув мне ликом,
он скрылся в темном и великом.

Сентябрь. 1967

* * *

Что явит лот, который брошен в небо?
Я плачу, думая об этом.
Произведением хвалебным
в природе возникает лето.
Поток свирепый водопада
висит в сиянье радуг,
Повсюду расцвели ромашки.
Я их срываю, проходя.
Там девочки в ночных рубашках
резвятся около дождя.
Себя в траве лежать оставив,
смотрю, как падает вода:
я у цветов и речек в славе,
я им читаю иногда.

Река приподнята плотиной,
красиво в воздухе висит,
где я, стреноженный картиной,
смотрим на нее красив.
На холм воды почти садится
из ночи вырванная птица,
и пахнет небом и вином
моя беседа с тростником.

Март 1968

* * *

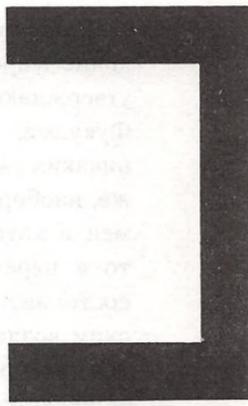
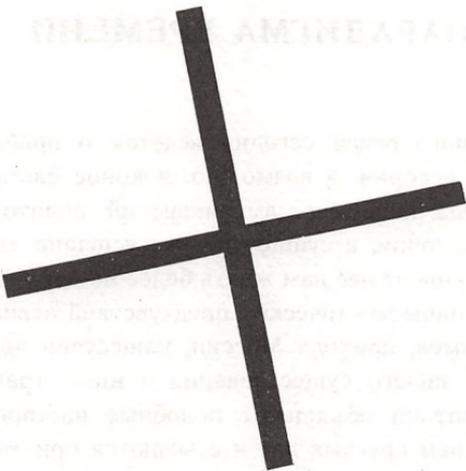
Широкой лавою цветов, своим пахучим изверженьем
холм обливается, прервать уже не в силах наслажденье:
из каждой поры бьют ключи, ключи цветов и Божьей славы;
и образ бабочки летит как испаренье этой лавы.

Май 1968

Публикация и подготовка текста В. Эрля

CHICAGO, ILLINOIS

MEMORANDUM



Виталий КОВАЛЕВ

ПАРАДИГМА ВРЕМЕНИ

Слишком много речей сегодня ведется о приближающемся конце мировой истории, а возможно, и конце света. Некоторые утверждают, как, например, американский политолог Фрэнсис Фукуяма, что история, в сущности, уже успешно завершилась и никаких сюрпризов от нее нам ждать более не приходится. Другие же, наоборот, полны мистических предчувствий невиданных перемен и катаклизмов, прихода Мессии, нашествия инопланетян, а то и перехода нашего существования в иное, трансцендентное состояние. Скептики объясняют подобные настроения магическим воздействием круглых дат и ссылаются при этом на прецеденты в прошлом, когда на закате каждого века возникала паника, не является ли он последним. В общем, **б у д е т** ли наш век последним, имеются большие разногласия, но практически все сходится на том, что таковым он **м о ж е т** стать, и причиной тому можем послужить мы сами и без вмешательства каких-либо других сил. В самом деле, главнейшей приметой современной эпохи является то обстоятельство, что жизнь человечества находится в его собственных руках, тогда как в былые времена ею распоряжались, как говорится, небеса. Это ли не проявление настоящей свободы в подлунном мире, свободы, которой никто, кроме человека, не обладает и которая, быть может, единственно возносит нас над всеми остальными существами?

Однако человечество, впервые получив власть над собственным бытием, не испытывает от этого заметной радости и не торопится применить на практике свою свободу. Все дело в том, что наша свобода сегодня повернута к нам своей изнаночной, отрицательной стороной: мы вполне вольны оборвать свое земное

существование и располагаем для этого огромным арсеналом зловещих средств, но если все-таки мы выбираем жизнь, то продолжать ее в том виде, в котором она была до сих пор, мы уже не можем. Истощаются импульсы, порождавшие социокультурное многообразие прежних обществ, всякая человеческая деятельность обнаруживает внутри и вовне себя непреодолимые пределы, и движение вперед по пути бесконечного прогресса становится явно невозможным. Приходит конец количественному росту, внешней экспансии, экстенсивному расширению как главным признакам исторического развития. Пространство оказывается образом бессмысленности, и смысл сосредоточивается на феномене времени. Время начинают понимать как универсальную форму реализации идеального содержания, как предел всякой реальности, который, будучи таковым, снимает также и себя самого.

Проблема времени — очень важная и очень мучительная для человека проблема. Время приносит нас в мир, дарует нам любовь и ненависть, познание и заблуждения, и оно же отнимает все это у нас безжалостно и неумолимо. Все, что ни прорастает к бытию, подпадает под власть времени, так что в известном смысле время и бытие одно и то же. Но время не менее показывает себя как присутствие ничто в каждом явлении, как сила, приводящая его в конце концов к гибели.

Из всех живых существ человеку принадлежит высшая привилегия — привилегия страдать. Животные не способны страдать, они — мучаются, и муки их обычно скоротечны. Но человек, в отличие от своих меньших братьев, живет во времени: его отягощает память о прошлом, удручает настоящее и страшит будущее. Те короткие мгновения, которые именуют человеческим счастьем, наступают тогда, когда мы не замечаем времени, или, точнее, живем лишь настоящим. Трагизм нашего бытия коренится в бессилии перед прошлым и будущим: первое нам не воскресить, не сделать сущим, наличным, второе — не предугадать. Эта расщепленность времени есть не более чем расщепленность нашего существа на несходящиеся планы духовной и материальной жизни, что и составляет основание нашей несвободы. Власть времени над человеком, таким образом, представляет собой подчинение духа реальности, свободы необходимости, творчества внешним обстоятельствам, и вполне очевидно с философской точки зрения, что человеческая история имеет своей целью освободить дух

из-под ига времени, а также есть сам процесс этого освобождения.

А. Бергсон утверждал: «Время — это сотворение нового или вообще ничего». Текучесть, непрестанное изменение вещей, положений, отношений, изменчивость как таковая и есть время. Но что такое изменение, как оно вообще возможно? Материализм, в том числе и современный, не идет дальше признания данности изменений, оставляя вопрос о его природе без ответа (если не принимать всерьез беспомощную игру этой философии с чуждыми ей по существу категориями диалектики). Идеализм, какие бы оттенки он ни принимал, по сути отождествляет изменчивость сущего с духом, идеальным началом, т. е. внутренней движущей силой всякой реальности. «Чистое изменение, истинная длительность есть нечто духовное» (Бергсон). Отсюда следует, что время является не чем иным, как действующим в реальном мире духом, «чистой самостью вовне себя» (Гегель), которая на высшем уровне своего проявления выступает в форме человеческого сознания и мышления. Нет ничего более динамичного и меняющегося, чем мышление; оно-то и есть чистое движение, или самодвижение, еще не адекватное себе в природных процессах и достигающее самотождественности в сфере нашей мыследеятельности. Время— это абсолютная деятельность, которая, отталкиваясь от своей противоположности — косной материи, утверждает себя в качестве истинной реальности. Именно поэтому время представляет собой идеальную, не фиксируемую чувствами сторону любого развития и движения, является показателем наличия в реальных предметах абсолютного движения, которое как перво- и самодвигатель есть то, что должно называть Разумом.

Время можно еще понимать как становление, момент встречи и взаимоперехода противоположных тенденций друг в друга, их текучую, мерцающую границу, их отождествление, слияние и различие в одном и том же отношении. Время нельзя рассматривать ни как только логическую категорию, ни как только феномен сознания, ни как только некоторое свойство или способ бытия природных вещей. Время возникает тогда, когда осуществляется переход, перетекание друг в друга моментов логических, духовных и природных, когда они появляются и исчезают каждый в другом. Так что время оказывается не чем иным, как тем всеобщим условием, благодаря которому достигается **единораздельность** трех обозначенных абсолютных, т. е. неуничтожимых,

сфер бытия. Внутри каждой из этих сфер, взятых в их отделенности друг от друга, времени, как оно только что было определено, нет, а есть лишь — соответственно их понятию — **идея времени** в логической области, **образ времени** в сознании и **длительность времени** в природе.

Время во всей полноте своей сущности предстает как живая, **фактическая диалектика сущего**, постижение которой требует не только чисто мыслительного схватывания, но в такой же мере работы всех других духовных способностей, а также внешнего существования познающего субъекта в качестве природного тела. Ясно, что такой предмет, как время, не может быть постигнут отдельно ни средствами одной философии, ни только путем конкретно-духовного приобщения, ни уж тем более посредством физического изживания временной длительности. Между логическим, дискурсивным мышлением и непосредственным, живым созерцанием, между познанием понятийным, спекулятивным и духовно-практическим вживанием в предмет должен быть проложен мост, который бы сомкнул крайности человеческого существования, и, стало быть, тем самым тайна времени была бы разгадана.

О времени нет науки. Есть всякого рода философствования о природе времени, но науки, т. е. точного, построенного на аксиоматико-дедуктивном принципе знания о характерных особенностях времени, создать не удалось. В современной физической теории время механически присовокуплено к пространству с целью описания посредством конструируемого таким образом четырехмерного континуума их действительного единства. Но фактически это физическое пространство-время есть лишь разновидность пространства, из которого признаки времени, как они проявляются в окружающем нас мире, элиминированы. Гегель говорил о нефигуративности времени в его отличии от пространства, о том, что временные моменты находятся в таком тесном единстве, что их нельзя разъять для последовательного внешнего изучения. Время в более строгом смысле есть нечто, не столько измеряемое, сколько **измеряющее**, задающее масштаб изменений, и уже поэтому его нельзя «пристраивать» в качестве рядоположенной координаты к пространству. Пространство имеет смысл как протяженность времени, само же время по отношению к пространству есть его длительность. Эта интегрированность

пространственно-временных характеристик была замечена наукой и выражена в теориях о многомерных континуумах, где есть суммирование, но нет подлинного единства. В действительности же реальное пространственно-временное многообразие банально трехмерно, но первые две его координаты, составляющие плоскость, суть собственно пространственная компонента, а глубина, третья координата, созидающая объемность вещей, является временным измерением последних, которое только и дает им телесное, физическое бытие. Трехмерность реального мира подтверждается возможностью разрыва пространственной плоскости и временной глубины при условии достижения телом скорости света, что вытекает из уравнений Лоренца. Странно, что осознание подобного следствия почему-то до сих пор не поколебало предрассудка науки о «чрезмерности» пространства-времени.

Время как некий наличный параметр процессов и явлений пытаются исследовать в основном физика, но она неспособна постичь его природу, так как ей неведомо его основное свойство — необратимость, поскольку оно, это свойство, противоречит тем основам, на которых покоится здание всего естествознания. Правда, в новейших исследованиях в области синергетики и в смежных с ней науках заметны попытки установить связь между естественно-научным и гуманитарным пониманием времени, хотя, разумеется, и им присущ обычный для науки редукционизм. Время властно вторгается в абстрактные «красивые» построения естественных наук и делает все более очевидной ограниченность и односторонность этой формы познания, ее дополнительность по отношению к гуманитарному знанию. Отрадно слышать из уст ученых слова, подобные следующим: «Отрицать время, т. е. сводить его к проявлению того или иного обратимого закона, означает отказаться от возможности сформулировать концепцию природы, согласующейся с гипотезой о том, что природа породила живые существа, и в частности человека. Отрицание времени обрекает нас на бесплодный выбор между антинаучной философией и отчужденным естествознанием» (И. Пригожин, И. Стенгерс).

Необратимость времени означает прежде всего его направленность. Время есть вектор, которому подчинены все изменения в природе и в культуре. Эта направленность процессов имеет характер универсального закона, вытекающего из существования конеч-

ной цели мирового развития, которую можно представить как абсолютное изменение, мышление, свободу. Однако есть и противоположная этой устремленности составляющая эволюция, которая представляет собой «нежелание» вещей изменяться, их стремление оставаться равными себе, неподвижными. Не подлежит сомнению, что последняя тенденция преобладает в природных явлениях, где она приводит к циклическим траекториям и линиям развития. В человеческой истории явно превалирует движение к абсолютной цели, поэтому время как определенно выраженная направленность эволюции свойственно лишь человеку. Сам же всеобщий ход мирового развития слагается в результате этих борющихся тенденций, причем наблюдается все возрастающее усиление одной из них — влечения к изменению и соответственное ослабление другой.

Время Вселенной — единый направленный поток происходящих в ней событий, и следует четко отличать его от простой длительности. Собственно говоря, консервативная, инерционная сущность вещей, о которой шла речь выше, и есть сама длительность. Все, что утратило признаки развития, но продолжает существовать, всего лишь длится, т. е. находится как бы вне времени. Таковы галактики, удаляющиеся от нас и друг от друга, звезды в нашей Галактике, планеты, вращающиеся вокруг Солнца, растения и животные, словом, все то, что не есть человек и чей прогресс давно закончился. Время, таким образом, есть отрицание длительности и утверждение вечности, которая прорывается сквозь монотонный ход нашей жизни мгновенными всплесками неожиданных происшествий и впечатлений.

Конечно или бесконечно время? Время едино и потому бесконечно; оно же способно делиться на периоды и моменты, что говорит о его конечности. По словам И. Канта, «бесконечность времени имеет только то значение, что все отдельные периоды времени возможны только путем ограничения единого времени, лежащего в их основе; поэтому первоначальное представление времени должно быть дано как неограниченное». Но время поистине есть ограничение абстрактной длительности, и к тому же, согласно кантовскому определению, неограниченное ограничение, следовательно, будучи пределом, время содержит предел в себе самом. Время можно сравнить с бегущей по поверхности мира волной с растущей по экспоненте частотой колебаний. Очевидно,

что подобный рост не имеет ничего общего с бесконечной, не знающей завершения экстенсивностью, а свидетельствует об интенсивном самоуглублении, **свертывании мирового процесса**. Факт свертывания времени подтверждает наличие предела внутри времени, зафиксировав который, мы получили бы единственную возможность определить также и внешние границы временного ряда.

Всякое изменение в вещах привносит элементы их нового смысла, или, лучше сказать, уточняет их общий, единый смысл. Время в этом сгущении, уплотнении смысла является изменением изменения, или мерой процесса изменения. Но что такое мера? Согласно Гегелю, мера — это живое, подвижное единство количества и качества, их осциллирующее соотношение, поэтому все вычисленные наукой меры (константы) суть числа иррациональные. Мера выражает связь между континуальным содержанием того или иного явления и возможностью его внутреннего структурирования. Так, к примеру, число π представляет собой зависимость между окружностью как некоей качественно определенной фигурой и ее диаметром, который выступает ее количественным определителем и ограничивает реальность окружности в пределах величины $0 < D < \infty$. Итак, мера связывает внутреннюю изменчивость данного качества с его сущностным пределом, с его переходом в нечто принципиально иное. Что касается времени, то его следует понимать как связь между изменениями в мире и изменением мира в целом.

Свертывание времени — это, конечно, пространственный образ **ускорения времени**, или, как было сказано, меняющегося изменения. То, что время нелинейно и бег его постоянно убыстряется, кажется, почти никем не оспаривается, но не многим ясны выводы, которые неизбежно следуют из этого эмпирически установленного факта. На два, наиболее важных из них, я хочу обратить внимание. Во-первых, если имеется ускорение времени, то, значит, существует предел, к которому оно стремится тем быстрее, чем ближе к нему находится (я чуть было не сказал «находимся», потому что на острие времени находимся именно мы). Во-вторых, ускорение это вполне определено, поскольку является растущей определенностью, и его, следовательно, можно измерить. Также понятно, что предел ускорения и мера ускорения времени взаимно должны определять друг друга.

Теперь в полный рост встает труднейший, по мнению многих,

неразрешимый вопрос: исходя из чего, из каких ориентиров, мы можем точно определить меру ускорения времени, а вместе с ней и предел времени? Для этой цели, по-видимому, требуется найти ряд периодов в ходе мирового развития с убывающими временными значениями, но вся соль в том, что чисто эмпирически, индуктивным путем эта задача не может быть решена, поскольку границы между прошлыми качественными эпохами эволюции сильно размыты как постепенностью переходов, так и разрушающей работой протекшего времени. Я уже не говорю о неизбежной доле субъективности в выборе критериев для вычленения исторических периодов. Где же выход и есть ли он на самом деле?

Надо четко уяснить соотношение философских и научных подходов для разрешения нашей проблемы. Для того чтобы постичь время как единый, по заданному закону ускоряющийся процесс становления Разума, необходимо осознание приоритета телеологического принципа, который не устраняет детерминистический подход, но делает его подчиненным, вторичным, инструментально реализующим познание целевой причины. В науке телеологический принцип уже пробил себе дорогу, приняв форму антропного принципа, и его можно успешно применить к задаче определения временных периодов. Антропный принцип в сильной формулировке существование Вселенной, какова она есть, и всю совокупность регулирующих ее жизнь законов объясняет наличием человека как цели, благодаря которой могла возникнуть именно такая, а не какая-нибудь иная Вселенная. Если дело обстоит таким образом, то человек в качестве вершины эволюции и ее цели, будучи ее неотделимым продолжением, содержит в себе в свернувшемся виде всю конкретику пройденного миром пути и является ключом к разгадке тайн мироздания. Моделью макрокосмоса следует признать микрокосмос, а никак не наоборот.

Антропный принцип призывает нас сосредоточиться на том этапе мирового процесса, где время действительно бежит, — на человеческой истории. История — ничтожно малый отрезок времени Вселенной, ее периоды более определены, чем природные, и границы между ними менее стертые самим временем. Притом временные рамки исторических эпох стремительно уменьшаются и, следовательно, резко возрастает возможность их точного определения.

История, как и любой другой процесс, имеет свою середину,

т. е. такую точку своего развития, где происходит как бы ее преломление, выходение наружу ее сущностного содержания. В современной философии и культурологии получила распространение идея К. Ясперса об осевом времени истории, эпохе возникновения философии как высшей формы познания в трех практически изолированных друг от друга регионах древнего мира. Осевое время Ясперса (середина I тыс. до н. э.) в самом деле было началом преломления исторического процесса, поскольку именно тогда дух как действительный субъект истории проявил свою свободу по отношению к внешним условиям. Но завершением этой эпохи, а значит, истинной серединой истории является время явления Христа, свидетельствовавшего об абсолютной свободе духа. Вся Европейская цивилизация возникла и развивалась как осуществление провозглашенного Христом принципа свободного духа. Итак, обозначим начало нового Летоисчисления в качестве генерального водораздела истории.

Однако явление духа в середине времен исходило все-таки извне истории, было божественным благовествованием, но не было выстрадано самим человеком и поэтому осталось внешним для него фактом, не сделало его поистине свободным. Человек должен был утвердить себя изнутри, должен был понять себя как действительно свободное существо, а это достигается в разделении и даже противопоставлении трансцендентного и имманентного, божественного и человеческого, идеального и материального. Решительное отпадение человеческой души от Бога и начало строительства человеком своего, независимого от потусторонних сил царства приходится на рубеж XVIII—XIX вв. Человек теперь проявляет себя не только создателем условий своей жизни и учеником у объективного разума, но и сам становится сознательным творцом основополагающих духовных скреп своего бытия. На смену христианскому Евангелию приходит «Коммунистический манифест».

К чему привели отрицание высшей, надмирной цели и, как результат, господство конечных, сиюминутных интересов, мы сегодня с горечью отмечаем. Материализм, поклонение идолу потребления, земные кровожадные боги и массы, отдающие им свою ненужную свободу, власть бездушных пустых абстракций над опустошенными душами — вот во что обернулось человеку его желание быть истиной себе самому. К концу XX века челове-

ство вступило в полосу жесточайшего всеобъемлющего кризиса, потому что стало материально единым, но полностью растеряло прежние духовные ориентиры и не приобрело новых. Будущее — абсолютно темно и непредсказуемо, прошлое — отторгнуто. Человек все более начинает ощущать себя заключенным в настоящем. Между тем, в жаждущих истины душах просыпается вера в высший смысл и счастливый исход общей судьбы. Высокий идеализм проникает в сознание людей. Этот поворот истории произошел где-то в начале 80-х годов нашего века.

Мы, таким образом, посредством философского анализа выделили из потока исторического времени три главнейшие вехи, разделяющие целые эпохи в развитии человеческого духа. Длительность этих эпох такова: первая — 1800 лет (0—1799 гг.), вторая — 180 лет (1800—1979 гг.), третья — ? (1980—? гг.). Сразу бросается в глаза, что уменьшение длительности периодов происходит ровно в 10 раз, а постоянной величиной периодов, лишь помноженной на 10 в той или иной степени, является число 18. Но самое удивительное впереди. Оказывается, что если попытаться возникший у нас ряд продлить дальше в направлении уменьшения степени, то он как бесконечно убывающая прогрессия будет стремиться к пределу, на шкале исторического времени соответствующему 2000 году. Это означает, что к 2000 году количество исторических периодов должно достигнуть бесконечного значения! Если не обращать внимания на поразительное совпадение с мистической и давно напророченной датой конца света, то, помимо всего прочего, мы должны признать 2000 год точкой Омега, где время, достигая бесконечного ускорения, снимает само себя.

Выполнив обратную проделанной нами операцию, т. е. опрокинув ряд периодов в прошлое, мы получим возрастающую прогрессию, которая, казалось бы, не имеет завершения. Но будет разумным остановиться на периоде в 18 млрд. лет, так как он в сумме с предыдущими дает 20 млрд. лет, что очень близко к определенному современной наукой возрасту Вселенной. Вопрос о начале времени, конечно, превосходит компетенцию науки, это дело философии, а философия считает началом то, что обычно воспринимается как конец, ибо в конце осуществляется вся полнота развития, которая, выступая своей сугубо формальной стороной, имеет вид абстрактного начала, возникновения как такового. Точка

Омега есть действительное начало времени, и она распространяет свое влияние до некоторого предела, в окрестностях которого ее определенность претерпевает существенное размывание. Почему временная определенность иссякает именно на отметке 20 млрд. лет от Омеги — это уже дальнейшее углубление нашей темы, и философские аргументы в пользу такого утверждения имеются, но у нас нет возможности их здесь развернуть.

Теперь попробуем графически изобразить ход времени в известной в математике системе полярных координат. Примем 2000 год (точку Омега) за полюс системы, а предшествующее этому пункту время в 20 млрд. лет — за радиус-вектор, лежащий на полярной оси. Тогда один период будет соответствовать одному обороту (2π) радиуса-вектора вокруг полюса, а время, остающееся до точки Омега, — величиной радиуса-вектора. График, построенный по заданным правилам, будет иметь вид логарифмической скручивающейся спирали с коэффициентом убывания, равным $1/10$. Вот формула этой спирали: $\rho = \rho_0 (1/q)^\nu$, где

ρ_0 — полярный радиус, ограниченный начальной точкой данного витка спирали, q — коэффициент убывания спирали, α — угол поворота радиуса-вектора.

Логарифмическая спираль, открытая Декартом и названная затем швейцарским математиком Я. Бернулли «изумительной спиралью» (*spira mirabilis*), является точным математическим образом ускорения. Известно, что в природе она встречается гораздо чаще других видов спирали, и это наводит на мысль, что все спиралевидные объекты, от моллюска до галактики, созданы по единой модели, имеющей форму логарифмической спирали. Я утверждаю, что парадигмой всех пространственных форм (представляющих собой, кстати, лишь застывшее время) и всех времен внутренне связанных цепей событий является ускоряющееся по закону логарифмической спирали время. Время есть порождающая, формирующая действительность сила, действующая по определенной парадигме, которую можно выразить как закон ускорения времени. В самом общем виде этот закон гласит: «СВЕРТЫВАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЛОГАРИФМУ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МОМЕНТАМИ ВРЕМЕНИ». Закон представляется уравнением $t_3 = t_0 (1/q)^{\psi/2\pi}$, где t_3 — эволюционное время, т. е. количество времени, отсчитываемое от данного момента до

точки Омега, t_{30} — количество времени от начального момента данного периода (витка) до точки Омега, q — коэффициент свертывания спирали времени, α — угол между начальным моментом периода (витка) и данным моментом.

Рассмотрев спираль мировой эволюции, нетрудно подсчитать, что сейчас идет **десятый виток** времени, который закончится в 1998 году. Затем мы увидим, что первый виток закончился 2 млрд. лет назад и что это было, по нынешним представлениям, время зарождения жизни на нашей планете. От появления жизни до сформировавшегося гомо сапиенса свернулось пять витков эволюции, так что границы собственно человеческой истории не превышают 20 тыс. лет. Бег времени набирает бешеный темп, и человечеством к концу 1999 года будет пройден путь, качественно равный (6 витков), всему предшествующему развитию мира. Но совсем не укладывается в голове, что за последний интервал времени в 0,2 года произойдет качественных изменений в неизмеримо большее число раз, чем когда бы то ни было раньше.

До сих пор я говорил о витках времени как о целых единицах измерения качественных поворотов развития, но, согласно вышеприведенной формуле, витки можно делить на дробные части, и это позволяет определять менее существенные по сравнению с целыми витками переломы и периоды времени. Прежде всего виток делится по формуле на две части, находится его середина, которая, в силу асимметрии времени, сдвинута к концу витка, а t_3 середины меньше t_{30} данного витка в $\sqrt{10}$ раз. На графике это деление совпадает с полярной осью спирали, рассекающей ее на две неравные части. Затем каждая часть, в свою очередь, делится на две части, которые также делятся на два периода и т. д. Подобное членение витка можно производить сколь угодно долго, но ясно, что такое занятие имеет смысл лишь до некоторого предела, обрывающего понижение качественной (новационной) составляющей времени. Существует минимальный интервал длительности (постоянно сокращающийся по мере ускорения времени), в рамках которого лишь подготавливается качественное изменение. Когда протекает некоторое количество времени-длительности, образуется квант качественного, содержательного времени, т. е. элементарная порция изменения смысла развития, эволюции, истории. В соответствии с парадигмой времени, **квант эволюционного времени** равняется $t_3 \frac{t_3}{512\sqrt{10}}$, где показатель

степени 512 обозначает предел деления витка времени: $512=2^9$. Иными словами, виток допускает лишь 9 актов деления, вследствие чего он распадается на 512 квантов эволюционного изменения. Поскольку коэффициент свертывания времени — число 10 (хотя и обратное себе самому, т. е. $1/10$), то именно десяткой определяется внутренняя дифференциация витка: имеется 9 делений + сам виток целиком. Здесь опять открывается огромное поле удивительных свойств парадигмы времени, исследованных мной, но мне остается, к сожалению, лишь намекнуть о них по причине ограниченности замысла статьи.

В качестве примера укажу на то, как проявляются периоды величиной в $1/4$ витка. Так, середина первого витка истории была достигнута в 4324 г. до н. э., когда появлялись первые приметы древнейших цивилизаций, середина первой половины витка — в 9247 г. до н. э., когда начиналась неолитическая революция, середина второй половины витка — в 1556 г. до н. э., когда в Эгейском бассейне обозначились истоки античного мира. Также были изучены внутренние градации других витков эволюции и истории, и все узловые точки мирового развития совпали с переломами спирали времени.

Парадигма времени дает возможность окинуть время Вселенной одним взглядом, даже если оно еще не завершило свое течение, поскольку, как верно замечено Кантом, «различные времена — это только части одного и того же времени». Нас немало волнует прошлое, и знание закона времени позволяет значительно уточнить и наполнить новым смыслом наши представления о нем. Но ведь будущее, оно тоже отныне не задернуто от нашего взора беспроглядной пеленой! Что касается настоящего витка времени, то 3 сентября 1993 года будет пройдена его первая половина, а 10 июня 1996 года — третья четверть. Несомненно, именно в районе указанных дат следует ожидать значительных исторических событий, причем самое крупное из них то, что произойдет в 1993 году, так как именно тогда должно наступить преломление хода всего периода.

Нельзя считать случайным, что идея о парадигме времени открывается нам именно в данный момент истории: наверное, должна была исполниться такая полнота времен, когда темпоральный поток стал бы непосредственно созерцаем мыслью. Фактура теперешнего времени имеет такую степень однородности,

что становится возможным скачок в абсолютное, сверхреальное состояние, которое на человеческом языке именуется Свободой. Но все же загадка времени сегодня сводится к загадке нас самих: кто мы, откуда пришли и куда идем? Постигая время, мы тем самым ускоряем его бег, а также решение своей кардинальной бытийственной задачи.

Москва, 1990

Виктория АНДРЕЕВА

не зная воздуха огня и света
безжалостно жестоки дети сей земли
их игры злы и помыслы порочны
глоток — о! — воздуха
эссенция огня — ты — яков-аризель
горящий Божий гнев
в пустыне авраама
ты задохнувшийся
закланый словно зверь
глоток — о! — воздуха
короткая расправа
ты — ангел огненный помилуй и прости
ты задохнувшийся без воздуха
во мраке
мрак перекрывши свет
петлей тебя настиг
змеею жалящей в пяту
замкнувши круг на слабой шее
в потоках света
ты — колесо огня
ты — лестница иаковлева
ты — иаков

окаменелый мир
коричневый и серо-бежевый
застыл подъемами крутыми к небу
мышцею взбугрившейся напрягся
как иаков-богоборец

* * *

ты — формы слепок
в лаве естества
в землящемся потоке превращений
ты — натяжение векторов без тени
ты — тень усилий без труда
ты — голос пересекший высоты

незримые строенья и стропила
ты — заземления постыдная картина
падение высокого листа
ты — нисхожденье
 вниз хожденье
ты — снисхожденье
к дремучим планам бытия
где нужен знак
остужен голос
дыханья синего без дна

* * *

вчерашний день бессмысленных забот
смысл наступающую праздничность сомненья
и перейдя границы униженья
я снова Леты мерю мерный ход
заглядываю в сумрачный зрачок
испытываю праздник Гераклитов
поток огня средь водных прозелитов
протуберанцев огнеметный шок
жара и холод свет и мрак на дне
сливаются в мучительном единстве
сгорание — единственная призма
в которой разность видится вполне
и языки огня что лижут чашу дня
и звездные лучи что режут тело ночи
река времен свивается клокочет
свергаясь в огнеметные края

* * *

Белою лилию с розой
Алою розой мы сочетаем

Вл. Соловьев

синий парус несетя над бездной
солнца посланник ветер летит
запахов брызги волны покоя
мелькание веток смещение орбит
белые звезды в зеленых объятьях
желтые луны повисли меж них
и птеродактиль малины весь в ятях
шмелями облеплен густо звенит
ангел покоя в птичьих трелях
крыльев стремительный лет
чашу с зеленым настоенным зельем

бережно-грустно несет
белая лилия — вздыбленный стебель
света струящийся столб
зелени дар разлетается спектром
в желто-оранжевый сноп
красные грани белые срезы
лета сверкающий хор
розы молчания с лилией белой
смелый плетется узор.

Михаил ДЕШАЛЫТ

* * *

Один раз в столетие бывает весна
с пригорками желтыми как галл рыжий
с полянами желтыми сотнями лун
крупных над горизонтами
огромных цветов ветра ждущих
яркими венчиками

Тугие мокрые травы
стебли литые

Тучи земле цветущей в поклон
до поцелуев
до поклонения
легкие беглые струи

Торжество без патетики
соединение с человеком
через волосы его равные
веткам гибким молниям мелким
радостным всплескам жизни
и мысли

Ни хмельного ни забубенного
ветер свободный душистый
в пространствах сферой
без усилий

привольно

разлит

без усилий

привольно

свободнорожденный свободновдыхаемый
влажный ароматный свежий

Все краски мира вбирают цветы

Не оставляют созвездия ароматов

кто скажет что звезды мол благовонны
кто отринет цветок?

красота весна и свобода суть едины

Май самый юный и самый зрелый
по-весеннему зрелый
 младенец по-летнему
Но когда он — наш
 когда его можно к груди прижать
 когда он — мой
 напоенный легкостью
 осыпает землю
океан зеленый
соединиться легко
 с мирами
 с чужою душою
 витражами души — любовью
преобразиться в сиреневый куст
 естественно так же
 как с соловьями слиться
 воплотиться в флейту
Вазы дома, книги
 весною иначе дышат
Дети видят золото ацтеков
 золото инков
 на полянах Ховрино
До июльских одежд раздеты взрослые;
 боги — они,
 самое ценное что есть в весне
Кто еще так умеет летать
 посещать Луну Гималаи
Кто еще так умеет
 должен
 обнимать
 опускаться до мантии
 в свободном полете
 без сердцекружений
 в черемухах сладких
Кто еще так глядеть умеет
 лепестками огромными
 перераспределяя лучи в грозу
Кто способен дышать беспредельно
 тысячелетия
 свежестью мая
 в черемуховую жару
Бледнее самого раннего утра
 протягивать к милой руки
Цветы не срывать гибкой кистью
 лепестком быть
 дуновением
 южной завязью яблони

легкой свежестью северной
не быть грустью
Рябины белые
каштаны желтоватые
придорожье золотое в золоте грозы
одуванчики чуть матовые золотом
фракийским
Спокойно все
волненья где-то далеко
внутри
так быть должно
теперь уж не вишневый май
с замираньем первым
с ветром белым
Ветер растворенный
целоплотный
облекает купола
здания разгоряченные
треплет аромат цветка
сережки в листьях
солнцем опаленные
Шмель и бабочки
и люди
в платьях в пригоршнях несут
слова,
ощущенья мая
«как свобода
как свобода, боже, хороша»
Расцветанье Расцветанье
Опадание душистое
Соприкосновенье всех ветров
переплетение дыханья
свет движенье как аналог голосов
майского приволья
к бытию сведение
к бытию свободному народов
ко всечеловеческому осмыслению
чистоты весенних гроз
к оцветению земли большим венком
по сердцам,
ветрам весенним направлению
Будь из золота привольный мир
Ну еще весны
из благодати грушевой
из волны сияющей ручья
распыленного жарой в сияние
в облачко сцепившееся с тучей

цветы соберем тебе опять
игрушки будем убирать
мылом душистым мыть лицо
диван гирляндами качать
Не просыпайся долго спи
Зеленоглазые коты
померкнут в звездах
И в глаза набегут
с разбега волны
Вздохни поглубже крепче спи
И мама будет горячо
дышать через твое плечо
вдыхать и платину луны
и сны и мысли и стихи
и сны и синеву и сны
стихи и платину луны

Все спит и улетаем мы

* * *

Насквозь через все окна апреля темнота
И руки и глаза не просят света
Луна желта
Антенны безучастно сигналы принимают
Цветок во мраке усиливает трепет волн из
от небес

Роса густая утром
станет воспоминанием весенним

Прибьет в далекий край
морской и влажный ветер сказанья с Кипра
Какие сны ты видишь в эту ночь?
Мой интерьер виденьями живыми полон всегда
Все чаще — это сущности
Тени цветные разума
Цветов и обожанья воплощенье
Раскрашенный
в 4 миллиарда помещений
резной корабль
на миллионы миллионов окон

В любом отсеке
сердце
А значит Фидия триглифы и метопы
На фризах от звезды и до звезды
чуть видной лазерною вязью

завязывают поясы

стихи

Пойди поди по раскаленным гребням
По окантовке нестерпимо белых туч
По зубьям по расправленным дождя
при солнце ярком
Возьми меня зеленый мрак цветов
Ведь за глаза за самые раскрытые глаза
за темные ресницы
меня вытаскивают
на вершины
из земного
боги
на пиках света
на сожженье прежних форм
на нежность
всеувиденье
на горечь веку

Виктор Павлов

О РОЛИ ОПОСРЕДУЮЩЕГО ТРУДА

Моей Надежде

Наверное, еще никогда за все время своего существования русский народ не испытывал такой жгучей потребности в осознании своей судьбы, как в течение второй половины XX века, как сегодня, как сейчас.

И, наверное, еще никогда национальное самосознание нашего народа не имело столько препятствий для своего выражения. Потому что еще ни разу в российской, а, может быть, и в мировой истории правящие круги не использовали в таком невиданном прежде масштабе социальные механизмы, порождающие видимость, кажимость, иллюзии.

Уже много лет титаническая псевдодеятельность по созданию мифов стремится скрыть сущность процессов и явлений, реально происходящих в стране и за рубежом. Эта псевдодеятельность опирается на устаревшие модели развития общества и составляющих его элементов, тем самым препятствуя разработке новых, адекватных моделей.

* * *

Вопросительная стадия национального самосознания фактически уже преодолена. Мы находимся на этапе резкого отрицания существующего порядка вещей, обличения пороков системы.

Вслед за этим неудержимо наступает этап принятия массами нового порядка жизни и труда. Сегодня, сейчас, на наших глазах творится новая философия, которая создает новую модель нашего общества и хоронит старую идеологию.

* * *

Биотия — живое, изучаемое биологией, — в период своего безраздельного господства выработала, казалось бы, абсолютно совершенные средства своего воспроизведения. Однако, невозможность живого выйти за рамки пространства и времени не позволяет живым объектам создавать абсолютный дубликат, хотя они к этому и стремятся.

* * *

Социотия — система объектов, неразрывно связанных с идеальным, главное свойство которого состоит в бесконечном по количеству и абсолютно совершенным по качеству дублировании себя. Постигая идеальное, мы можем удержать его для воспроизводства знаками — буквами, цифрами, формулами, графиками, нотами и т. д. Эти знаки, как и все материальное, не могут быть продублированы абсолютно в связи с привязкой к пространству и времени.

Но значение или смысл, как проявление идеального, на которое указывает знак, воспроизводит себя абсолютно каждый раз, независимо от материальных условий. Так, например, значение предлога «или» останется абсолютно неизменным и независимым от того, что оно будет выражено буквами различных алфавитов, знаками математики или логики.

* * *

Такое совершенство могло возникнуть только скачком, и со временем открылась обширная среда, опосредующая отношения социотии с биотией и другими явлениями материального мира — это сфера психического. Психическое воспроизводит себя только в совокупности с биотическими и социотическими объектами.

* * *

В наблюдаемом нами ближнем космосе идет сотрудничество биотии и социотии и одновременно борьба между ними за господство. Мы отвлекаемся от других явлений нашего мира, например, геотии. Сочетание основных указанных элементов составляет человека и, прежде всего, человека трудящегося.

Труд — это деятельность человека по созданию и воспроизведению бесконечного количества разнообразных, но максимально одинаковых объектов.

* * *

В каждом акте труда можно выделить, как минимум, три элемента: биотический (физическое усилие), социотический (интеллектуальное усмотрение), психический (объединение всех элементов трудового акта).

Гармоническое сочетание этих элементов в лице одного работника создает синтетического производителя или совокупного работника, например, крестьянина.

Преобладание какого-либо элемента труда в ущерб другим является основанием разделения трудового процесса на роды труда, а работников на социальные группы или классы.

* * *

Труд появился с возникновением социотики, ибо идеальное стало гарантом повторения операций человека с материальными предметами. В бездонных структурах идеального начали усматриваться первые модели и начала вырабатываться система знаков для закрепления этих моделей. Так появился генетически первый род труда, а вместе с ним и класс непосредственных производителей идеальных ценностей. Его предмет труда — идеальные модели, орудие труда — интеллектуальная интуиция, усмотрение, созерцание.

* * *

Предметы труда этого весьма малочисленного, но социально необходимого класса давали возможность появиться и утвердиться следующему классу — непосредственных производителей материальных ценностей и услуг. Ведь, очевидно, что без освоения мозгом рабочего хотя бы самой примитивной модели через чертеж, график, рисунок, он не в состоянии повторять свое физическое усилие.

* * *

Трудности с обменом плодами труда были неизбежны: с точки зрения участников трудового акта представитель другого рода ничего не делает и не заслуживает оплаты. Тем более, что при обмене материальные продукты труда были налицо, а идеальные модели были «расташены» по головам работников в самом начале трудового процесса.

* * *

Это вызвало необходимость фетишизации, освящения деятельности непосредственных производителей идеальных ценностей, что явилось ничем иным, как завуалированным поднятием платы за свое участие в трудовом процессе, за выработку идеальных моделей труда и быта.

* * *

Трудности производства и обмена породили еще один вид труда, который мы называем трудом, опосредующим труд непосредственных производителей. Суть этого рода деятельности состоит в том, что ее предметом являются сами личности непосредственных производителей, ее орудием являются психические волевые усилия, а результатом — полноценный трудовой акт непосредственных производителей, и, в конечном итоге, продукт труда, который становится полноправным участником обмена.

* * *

В самом деле, для того чтобы стать полноправной частью трудового процесса, деятельность опосредующих работников должна носить непосредственный характер, т. е. они должны находиться под реальным контролем непосредственных производителей, и доказывать им своим трудовым участием право на свою долю продукта труда.

Трудовой процесс этим опосредующим элементом был, казалось, стабилизирован, но в силу человеческого несовершенства этот же фактор мог становиться разрушительным и периодически таковым становился.

Опосредующий элемент труда подобно идеальному укрылся в разнообразных одеждах, например, наследственных институтов. Опосредующий труд заменялся насилием над непосредственными производителями, тем самым трудовой акт подвергался деформации, что вело к появлению форм псевдотруда и рано или поздно приводило к разрушению той или иной общности людей.

* * *

Наконец, в трудовом процессе появляется и неуклонно растет в количественном и качественном отношении совокупный работник или синтетический производитель. Идеальные модели его трудовых операций все усложняются. Волевые усилия работник направляет сам на себя. К этой социальной группе относятся мелкие собственники, участвующие сами в физическом труде — крестьяне, лавочники, владельцы-водители транспорта, владельцы бензоколонок, прачечных и т. д.

* * *

В эту же группу входят и те непосредственные производители идеальных ценностей, что замкнули на себе опосредующие элементы труда и стали владельцами адвокатских контор, разнообразных инженерных бюро, врачебных кабинетов и т. д.

Наконец, к этой группе относятся низшие чиновники государственного аппарата, гармонично сочетающие основные элементы труда.

* * *

Весь строй нашей жизни заставляет начать анализ с истоков социального существования, когда собственности со всеми ее производными еще не видно.

Если политический разброд и экономическая разруха преодолеваются относительно быстро, то глубочайший социальный кризис потребует смены нескольких поколений для его преодоления. Ведь сама природа человека, прежде всего человека трудящегося, подверглась деструкции.

Внедрение в наше сознание одностороннего принципа клас-

О РОЛИ ОПОСРЕДУЮЩЕГО ТРУДА

совой борьбы, вытеснение подлинного опосредующего элемента из трудового процесса, замена его той или иной формой насилия, разорвало естественный обмен социальными навыками в нашем обществе, плодотворное сотрудничество социальных групп.

* * *

Необходимо пояснить, что к этим выводам меня привел эксперимент, поставленный волею судеб на самом себе. В юности повезло поработать на стройках Заполярья бетонщиком и каменщиком, а во время обучения философии прошел еще через десяток профессий.

В конце концов, я был поставлен перед жестким выбором: или я капитулирую перед Системой и становлюсь дипломированным производителем интеллектуальной псевдопродукции, или отказываюсь от всяких надежд на научную карьеру, да и гуманитарную деятельность вообще, и занимаюсь снова физическим трудом.

Случай помог найти третий путь. Меня пригласили каменщиком в студенческий строительный отряд. В конце сезона я уже был командиром отряда, а на следующий год стал во главе артели из нескольких десятков работников. Эксперимент был «чистым» — я работал и работаю на свой страх и риск без всякой подстраховки.

Мне пришлось в своей предпринимательской деятельности наряду с волевой работой одновременно моделировать наши трудовые акции: быть инженером и бухгалтером, юристом и экономистом. Разумеется, не обходилось без ошибок, но страна получила миллионы рублей прибыли, работники покупали дома и машины, а я обрел внутреннюю свободу, достаточную чтобы уважать себя в этом искореженном мире.

* * *

Испытав на своем опыте социальную необходимость опосредующего труда, его цементирующую роль для всех участников полноценной трудовой акции, я смог по-новому прочитать труды основоположников коммунистической идеологии.

К. Маркс невольно отразил успехи нашей современной цивилизации, начавшейся с высвобождения от «феодалных, патриархальных, идиллических» пут опосредующего труда. Впервые в истории человечества трудовой процесс приобрел естественный характер, стал тем, чем он должен быть — производством бесконечного количества разнообразных по функциям одинаковых предметов.

Вовлечение в производство во все большем масштабе непосредственных производителей идеальных ценностей привело к ускоренной смене серий товаров, к расширению и уточнению их функций. С другой стороны, принципы производства материальных предметов внедрялись в сферу науки и культуры с тем, чтобы максимально быстро довести их достижения до потребителя.

* * *

Это привело к невиданному доселе накоплению богатств, созданных совместно работниками разных родов труда. Но владельцами и распределителями этих богатств стали первоначально работники опосредующего труда, которые вкладывали в основание трудовых акций свой капитал. При успешном исходе дела эти работники получали не только свою долю зарплаты, но и процент на вложенный капитал.

С социальной точки зрения богатство, собственность вовсе не является необходимым атрибутом работника опосредующего труда. Как и все участники трудового процесса, они, конечно к этому стремятся и имеют предпочтительные, казалось бы, шансы.

Но юмор ситуации состоит в том, что они при этом вовлекают в жесткий, целеустремленный процесс работников других родов труда. Однако другие работники получают оплату на промежуточных этапах создания конечного продукта, а работники опосредующего труда получают свою долю сполна на финише. Этот риск вынуждает их к тому, что критикам удобно называть «эксплуатацией».

* * *

К. Маркс обрек весь этот нормальный процесс на уничтожение, вместо того, чтобы предположить реальные рецепты его усовершенствования. Кроме работников опосредующего труда, он приговорил к смерти все виды и роды труда, так или иначе имеющие отношение к собственности и ее созданию. Вопрос, по Марксу, решался просто — работники физического труда уничтожают все элементы труда, предполагающие собственность, и сами начинают собой управлять, имея при этом «величайшую экономию» и сознание абсолютной безгрешности.

Передовые страны, вопреки пророчествам Маркса, сумели обуздать могучие творческие силы, вызвавшие раскрепощение опосредующего труда, заключить их в правовые формы. Большую роль при этом сыграло рабочее движение во главе с профсоюзными и социал-демократическими партиями.

Российская социал-демократия избрала другой путь. Теория Маркса была распространена в России философствующими журналистами. Среди них оказались несколько прирожденных работников опосредующего труда, например, В. И. Ленин.

До поры свои волевые потенции они упражняли в узком кругу партийных функционеров и «сознательных» рабочих. Их вера в возможность путем тотального насилия достигнуть благоденствия для одного класса была непоколебимой. Они яростно отвергали любую критику своих воззрений под предлогом продажности критиков. Сегодня с горечью перечитываешь программу управления громадной, богатой страной, изложенную Лениным летом 1917 года в книге «Государство и революция».

«Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы» — так может написать толь-

О РОЛИ ОПОСРЕДУЮЩЕГО ТРУДА

ко человек, совершенно не задумывающийся над тем, что такое реальный трудовой процесс.

Судьба интеллигенции определена коротко: «Эти господа (инженеры, агрономы и прочие) работают сегодня, подчиняясь капиталистам, будут работать еще лучше завтра, подчиняясь вооруженным рабочим».

И, наконец, главное, роковое заблуждение: «Громадное большинство функций старой «господствующей власти» так упростилось..., что эти функции станут доступны всем грамотным людям, что эти функции вполне можно будет выполнять за обычную заработную плату рабочего»... *всеми по очереди...*

* * *

Коммунистам выпал исторический шанс, и наступило время для желанной мирной бесплатной работы на обездоленных. Однако, то небольшое количество людей, способных к опосредующему труду, которое стало работать с новой властью, в большинстве своем не имело практических навыков. В то же время за дело управления взялись массы совершенно неподготовленных к этому людей.

Последние статьи В. И. Ленина показывают, что он мучительно размышлял о причинах провала управления страной коммунистами. Он уже признает наличие труда «управленческого», под которым, правда, понимает труд «канцелярский», он уже согласен с тем, что чиновники государственного аппарата должны быть «высококвалифицированными», «с высоким жалованьем». Наконец, он согласен следовать «лучшим западно-европейским образцам» в создании госаппарата, как будто в прежней, да и в новой России работать-то никто не умел?!

* * *

Но партия не желала его слушать. Для ее большинства сложилась очень удобная система. Захваченная монополия на опосредующий труд привела к тому, что этот самый живой, «оплодотворяющий» элемент труда последовательно уничтожался во всех сферах.

Нация еще давала определенный процент людей, способных к опосредующему труду. Но если они не принимали Системы, их ждала тюрьма. Если же они принимали правила игры и поднимались наверх, то их способности извращались. Значительная часть этих людей внедрялась в производство идеальных ценностей, где, используя творцов этих ценностей, как рабов, они завоевывали места лидеров и соответствующее общественное положение.

Последняя перестройка оказалась таким же обманом, как и все предыдущие, начиная с НЭПа. Уже сегодня беспощадно удушаются все формы, возникшие на базе самостоятельного опосредующего труда.

Конечно, рано или поздно прогресс победит, но сколько сил народных будет потрачено бесполезно, сколько богатств уйдет на ветер...

Единственное, что внушает оптимизм, это доведение до совершенства в передовых странах международной системы опосредующего труда, что доказали события в Персидском заливе. Именно это может сыграть решающую роль в судьбах нашей страны.

Борис ПОНИЗОВСКИЙ

**ПРЕМЬЕРА АЛЬТРИЮИЗМА
ИЛИ СОМНЕНИЕ В ПРЕМЬЕРЕ**

«Человек хотел бы дожить до земного оправдания». Я не спешил, сомнение в премьерере.

*

...в начале было слово, слово-человек, человек — в перспективе, иди к этому человеку — и слово будет равно тебе...

*

...Я пишу

...Зудит телефон возле локтя...

...Фантазия двери. В ритме не моего рока...

Сдаюсь: «Ключи снаружи...»

В проеме тот, кто не нужен, и кто-то за ним...

...Я сижу, — показываю собою бездыханного старика...

...Тот, кто за ним, поворачивает его щеку и говорит, будто о нем: «Фу, ты брат брут брит!...»

...Это я бородат. Запирают меня, трутся задом о филенку...
Пиши...

*

Спешу: хора, олень-самец, ударит копытом, к лунке склонятся специалисты по гольфу.

*

В кресле меня отвезли направо, в кресле-налево. Направо с этого дня видео-салон, два налево — артистическая и реквизиторская — наш театр. Направо — на земле милиция, налево — на земле прачечная... Зато я впервые видел американские ленты: фильм ужасов-лукав, комедия страшна, нервами, патологией комиков.

*

Из рокировок тупичка на втором этаже следим, в кого — в слона, коня, офицера — продвинул жители свои помойки.

*

Авгий звонит с утра и к ночи, не знает, когда работает сизиф в подростковом клубе.

*

Художник показывает, каким набухшим и жирным весной становится ненадолго реквизит, какими пузатыми ненадолго бывают кошки, как долго делает он спектакль. Актер ему в спину цедит: «Трассирующая пуля, летящая... в бесконечность»...

*

Любой день — произведение, только в юности силы тратят на стиль...

*

Тщание: зритель, работаю за режиссера, а тут театровед говорит, что и он зритель. Он подарил мне мои старые бумаги. Умозрительный карандашный театр. Он: «Скажи себе магическую формулу: представим себе, что это существовало... Тогда мы выпустим туда актера...» Тема слов Иосифа Бродского — «из забывших меня город» — утешает... Я — Игрек часто слушая театроведа Зет по телефону...

*

Реально действующий наш театр:

«Данет» — МАСТЕРСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО АКТЕРА, ПРЕДМЕТА И КУКЛЫ...

раскроем противоборство в названии вида театра:

...«МАСТЕРСКАЯ» — изменчивости... Каждый день мы перестаем понимать, что такое театр и находим его в открытом творческом процессе...

...«ДРАМАТИЧЕСКИЙ АКТЕР» — прагматик от Драматургии...

Нам нужен актер-автор...

...«ПРЕДМЕТ» вовлекает персонажи наших прогматиков и авторов в социальные конфликты и исчезает, столкнувшись с образным воплощением или разрушением себя... Явление предмета — наднациональный язык, игра с ним — выход к архетипу, ворожбе, обрядовости... Литературная драматургия создает «слово — предмет», как конкурента...

...«КУКЛА» — лестный образ предмета. Если кукла интересуется драматического актера, увлекает его, то она партнер его.

В импровизации с куклой залог ее ролей...

А К Т Е Р Ы Мастерской триедины: авторы спектаклей — проектов, соавторы фантазий режиссера, сознательные исполнители литературной драматургии...

А В Т О Р - А К Т Е Р владеет «точечным театром», каноном импровизации: Самое важное для себя в кратком мгновении на мнимом пространстве...

Р Е Ж И С С Е Р сторожит язык в актерской переменчивости, в

бытовой дискретности, в театрализации быта, в документах народного и средневековых театров, в ревности к современникам. Он разведует начала и их симметрию в Мастерской. Он прежде всего зритель и ученик, для солидности-методолог и концептуалист. Только для его укрощения в Мастерскую взят театр ленинградца-драматурга Олега Юрьева...

Х У Д О Ж Н И К И у нас — лаборанты внесценического текста. Их перфоменсы раздражают зрительское чувство актеров. Они провоцируют Актера на непосредственный язык с Предметом, опосредующим культуру.

Мини-группы Мастерской тяготеют к кому-нибудь из художников.

Для ориентации с ними работают модельер, график, прикладник, структуралисты и традиционалисты. Двое художников воспитаны в театральной эстетике, пятеро философски относятся к ней.

М А С Т Е Р С К А Я ищет вариантность моно и поли-спектаклей. Тишина для Мастерской — древнее психологическое пространство, музыка — как молчаливый партнер.

«ДаНет» — мы назвались бездумно... Позже вспомнили, что в Евангелии от Матфея есть предостережение (гл. 5, ст. 36—37): «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого...» Павел Флоренский в «Столпе и утверждении истины» писал: «Мы не должны, не смеем замазывать противоречия... Пусть противоречие останется глубоким, как есть...» Сергей Аверинцев пояснил этот текст: «Столкновение «да» и «нет», перепады жары и холода — единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса»...

«Да» и «Нет» — позиция зрителей, между ее полюсами — Мастерская.

У зрителя опыт — это память на встречи с иноязычными, с инакомыслящими. Без опоры на такую память нет театра интеллигенции.

* * *

На листах разных ранних лет от 52 до 60 года странные волнующие меня записи: «Ранняя встреча, вера, нервы (восторг), «Конек-горбунок», Фабр, Стерн, Хлебников, Малевич, Чехов, Митрохин, Черняков, Мельников».

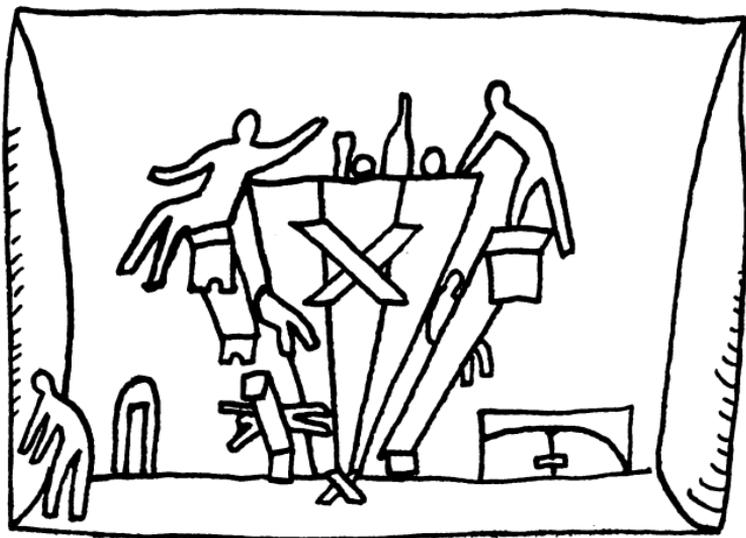
...«Высокое чувство узнает связь всего со всем... «Начало всегда и везде, во всем, от всего...» «...У Вахтангова все скачет по этажам... «...В частях, задержанных на долгое время, видишь целое... (?)», «...Духовное подозревается человеком в начале и остатке, духовное в остатке бесконечно...» И вдруг: «Театральный институт может на первом курсе смешать все факультеты»...

«Контактная теория...»

Но вот семь табличек. Решительное блуждание в семиотике режиссерского пространства... зрителя...

...Традиционный театр...

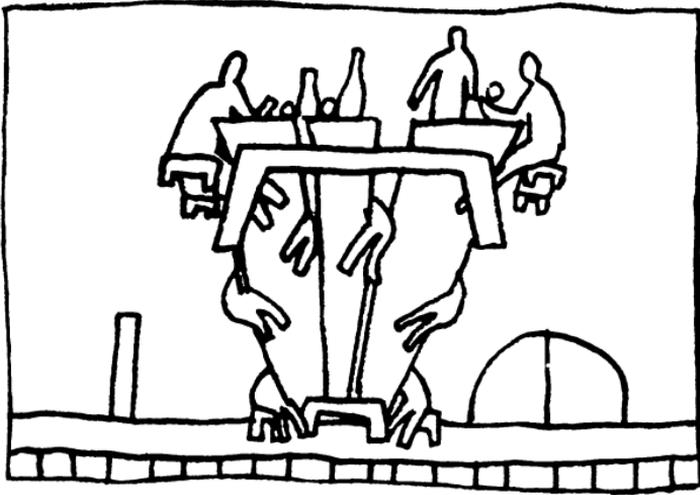
1. «Пир во время чумы». 1952 год; Сторона «А»



...Есть вход и выход кулис... ..Сверкающая белая стена. Низкая узкая дверь для втискивания боком Негра. При втискивании на стене размазывается грим Негра грязен вход, пятнист он. В эту же дверь втаскиваются им мертвецы... Ворота для телеги высоки, мертвецы резко садятся при вкатывании телеги в ворота.

...Широченный стол нависает над первыми рядами зрительного зала. ...Двое пирующих на стульях по краям торца столешницы в перспективе могут сходиться на планшет сцены, встречаться с негром, «помогать» ему, впечатлением от этого делиться с пришестьствующими. ...Двое на стульях по краям торца, нависающего над зрительскими рядами, они умрут на этих стульях. ...Персонажи повисают, проваливаются в щели, действуют на «авансцене» столешницы, среди снеди и утвари. ...Стол, подвешенный на цепях, может опускаться и вываливаться в зал умирающих...

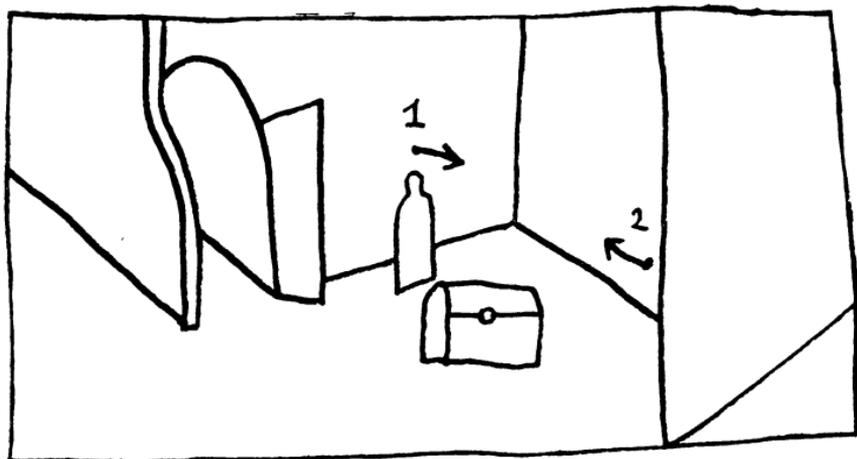
...Оборотная сторона этой же таблички. (Сторона «Б» 1962 г.)



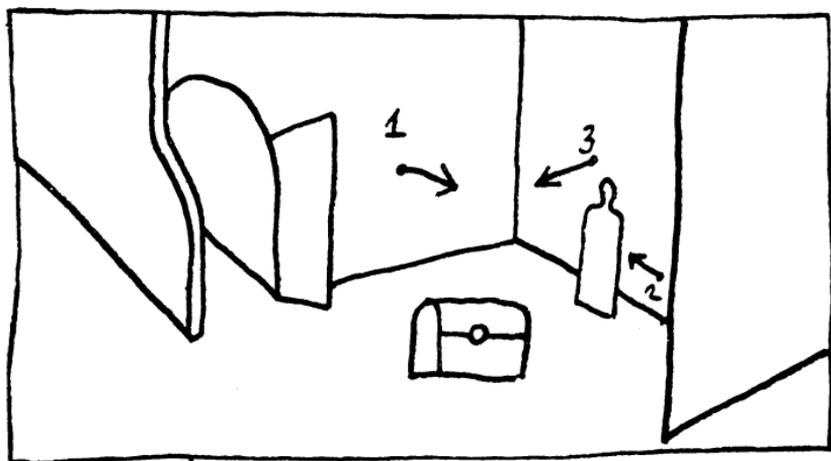
...Стены «кабинета» мощны и не дают выхода со сцены ...Эклектика: боярская палата, гусарская одежда, современная утварь и одежда тех, кто сваливается на планшет сцены. ...Дверь и ворота в нишах. ...Ворота так низки, что заставляют снимать трупы с телеги, пропуская только ее, трупы накапливаются поодаль и т. д. ...Вход для пирующих прямо на столешницу, скрыт от зрителей... Падать можно на планшет сцены и с планшета в оркестровую яму... ...На столе светоаппаратура для вакханалии теней. ...Пир по отношению к чуме за стенами палаты и пир по отношению к «чуме» застолья... — Обратил внимание, что стихи трагедии играютя и от последних строк к начальным...

Премьера альтрюизма...

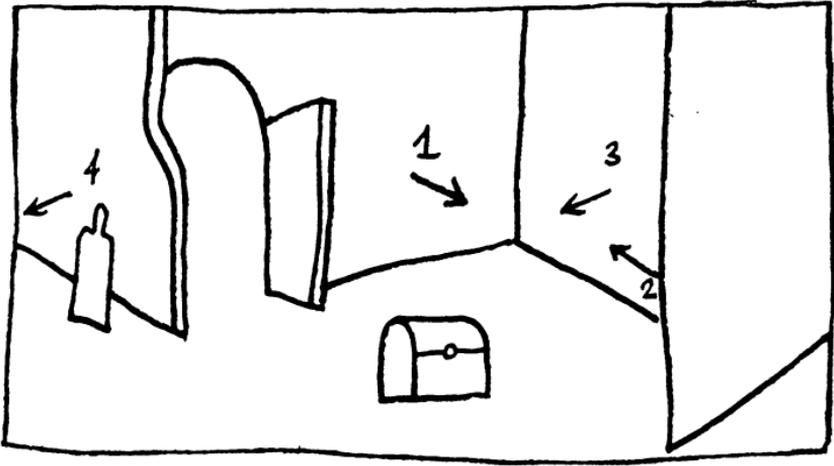
2. ТАБЛИЧКА 1953. «Контактность»; направление внимания в интерьере. (Решение юношеской пьесы).



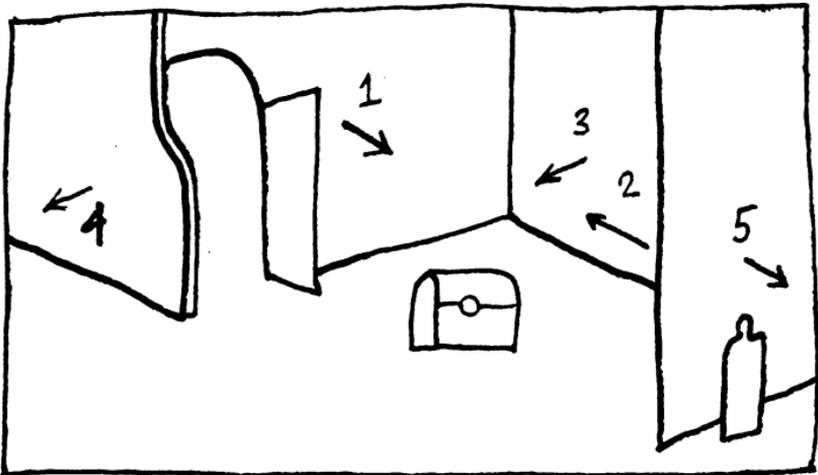
Собеседники 1 и 2...



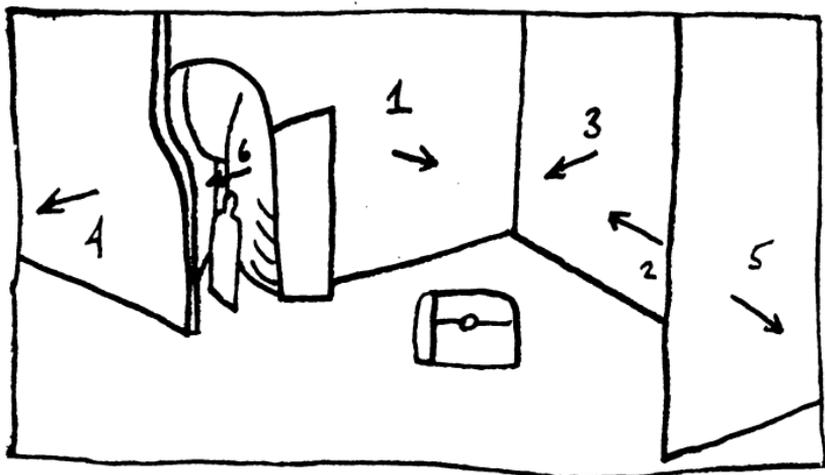
...Беседа 3-го с ...



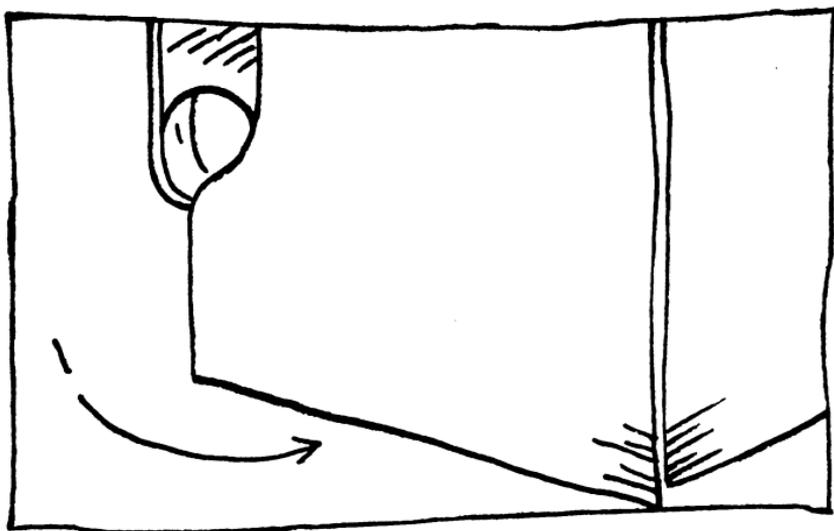
.....с 4-ым...



...Беседа 5-го с...

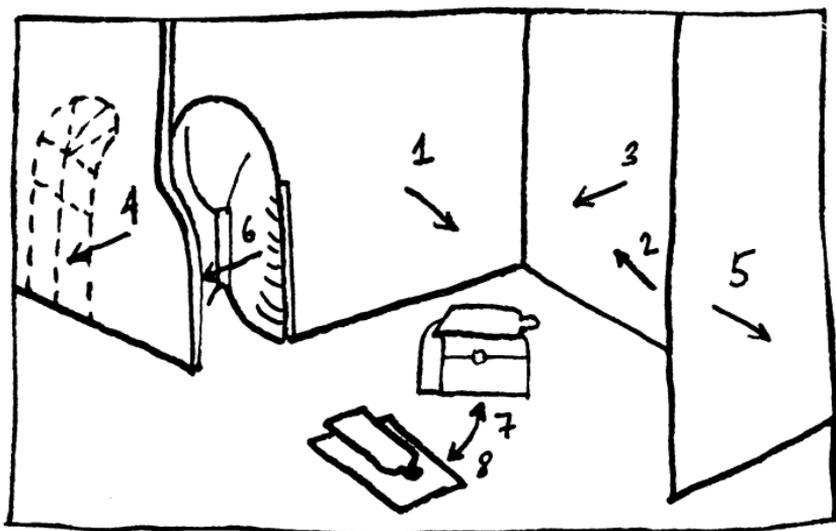


.....с б-ым...



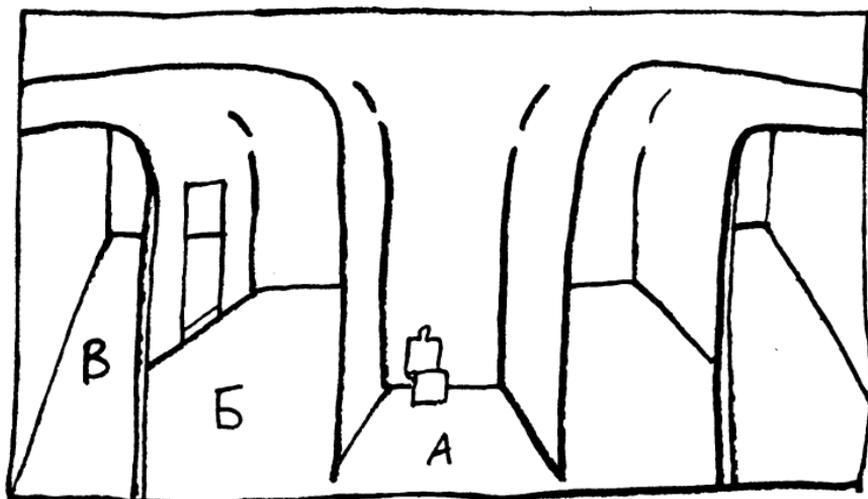
...Беседа Хозяина (7) на сундуке с Гостем (8), пришедшим последним (лежит на двери).

Отражение света из окна возле Гостя-4. Само окно, естественно, по логике этого интерьера находится за Гостем-2 на стене Гостя-3.



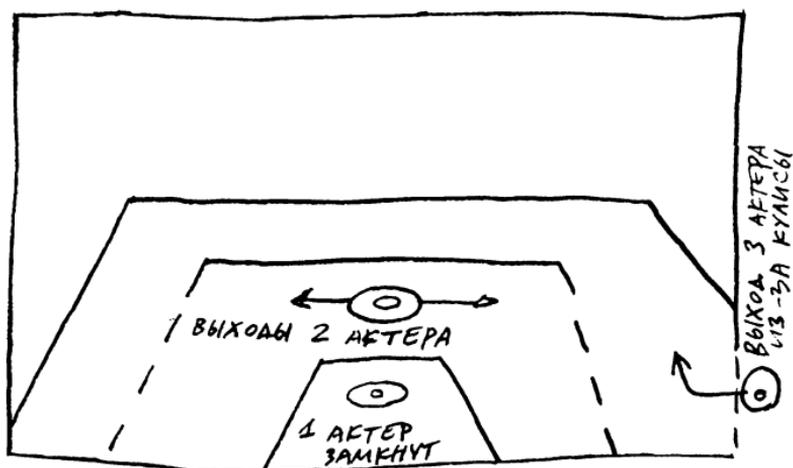
...Финал. ...У Хозяина было право закрыть свой дом. (Из раскладки вынуты рисунки с действием за Окном, изнутри Сундука и Пиршеством)

3. Пантомима для 3 персонажей со «Словарем». Импровизация 1953 год.



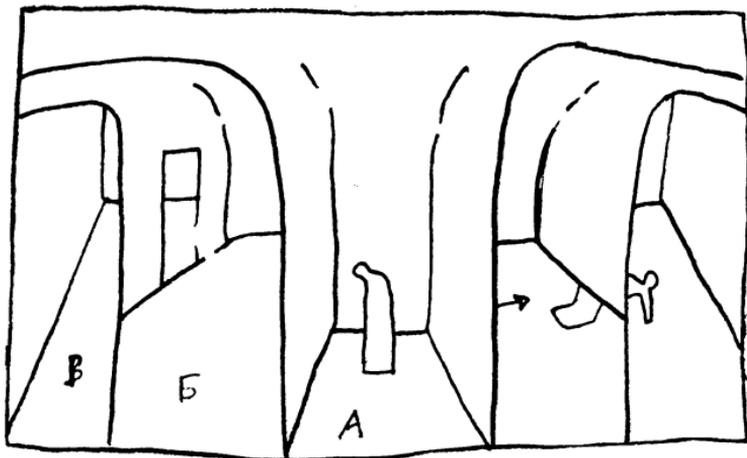
...Три пространства: «А» — меньшее, замкнутое. «Б» — побольше, с боковыми стенами, приподнятыми над планшетом сцены, задняя стена примыкает к полу. В боковой стене слева — дверной проем. Можно перелезть через порог дверного проема, подлезть под боковые стены. Пространство «В» имеет те же лазы в пространство «Б» и вход и выход кулисы справа.

Начало действия может быть объявлено движением или произнесением своего Словаря 1-м Актером. Если он неподвижен и молчалив, то Начало возьмет на себя 2-ой Актер.



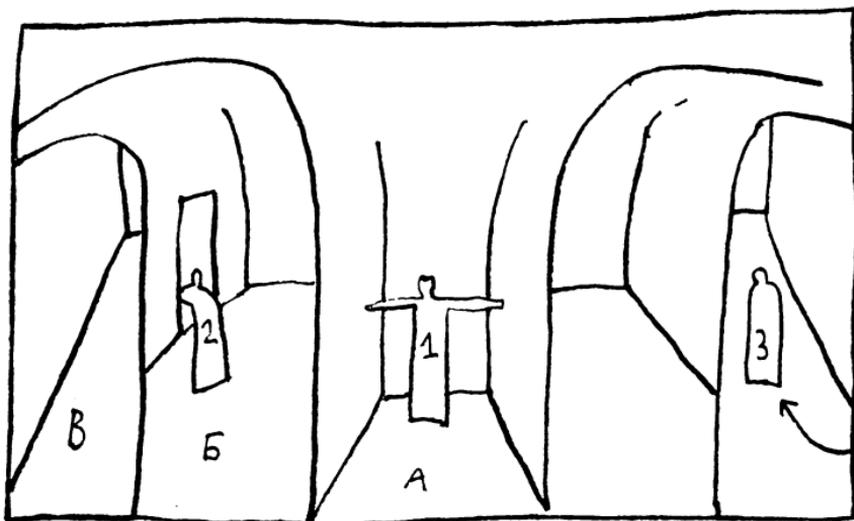
3-й актер за кулисой

Иллюзией Начала послужит само появление 2-го Актера на сцене: он может выйти из-за кулисы, подлезть под боковую стенку в дверном проеме, или он может появиться из-за задника пространства «А». Но его Начало исчезает, если 1-й Актер не отреагирует на него.



Выход из-за кулисы 2-го Актера имеет все признаки Начала еще и потому, что это уже 3-й по воздействию, по ожиданию, выход — выход из Нетеатра в Театр (близкий ощущению зрителя).

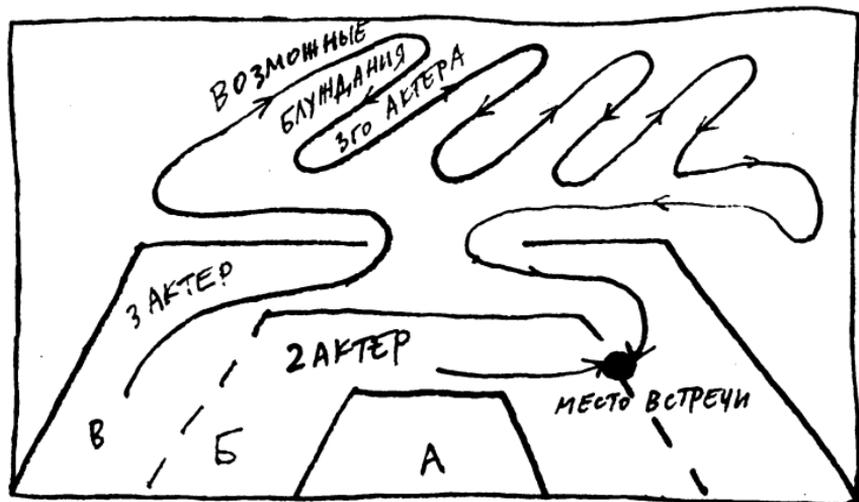
При этом слоении пространств отношение времен персонажей необычно.



Легко представить, что 1-му персонажу некуда деваться — его время для нас остановлено. 2-й персонаж может лишь «сознательно задержаться, проходя за задником пространства «А», мы видим это расстояние... Позади же задника пространства «Б» нам ничего неизвестно (и это пространство за двумя задниками).

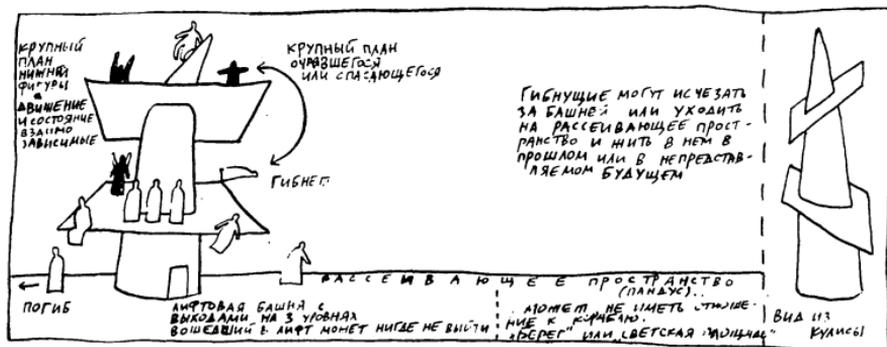
Премьера альтрюзизма...

Поэтому мы пойдем странные отношения во времени 2-го и 3-го персонажа.



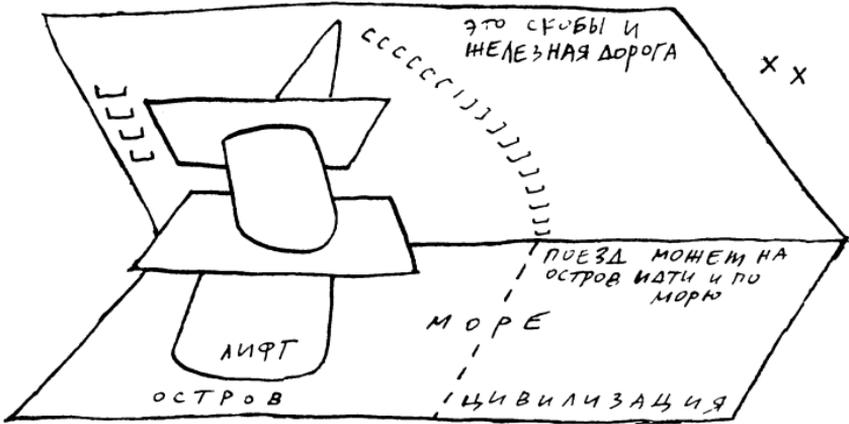
Мы ожидаем несовпадения. А теперь, действительно, обойдемся без этих схем, раздадим актерам роли. Пусть импровизируют характеры и ситуации. Побанальней: в пространстве «А» — «Любимый», в пространстве «Б» — «Муж», а в пространстве «В» — «Жена». «Любимый» может и не знать о своем назначении, он не «Любовник». В облюбованном жребии меняйте персонажей местами и вы измените жанр. Это сценическое произведение может быть одночастным и трехчастным.

4. «Гибель корабля». (Игра проводилась на макете) 1954 год.



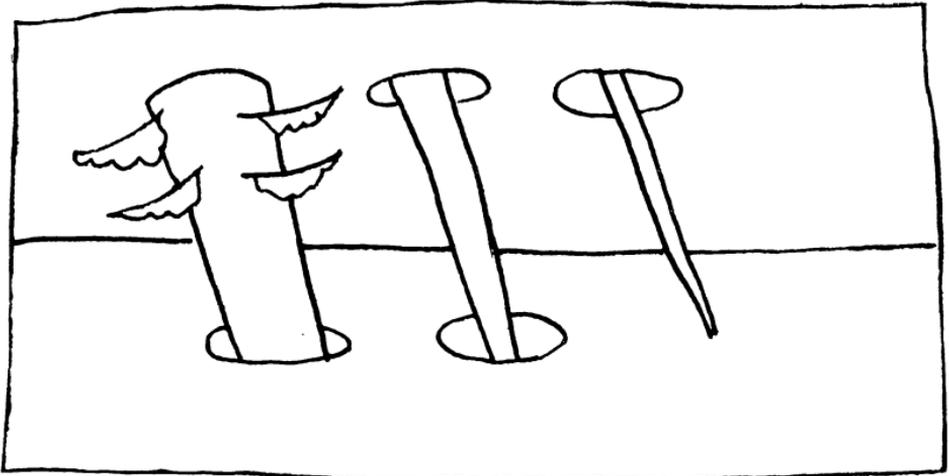
Возможно, что это корабль
или остров Робинзона.

Возможно, что это Англия
цивилизация...

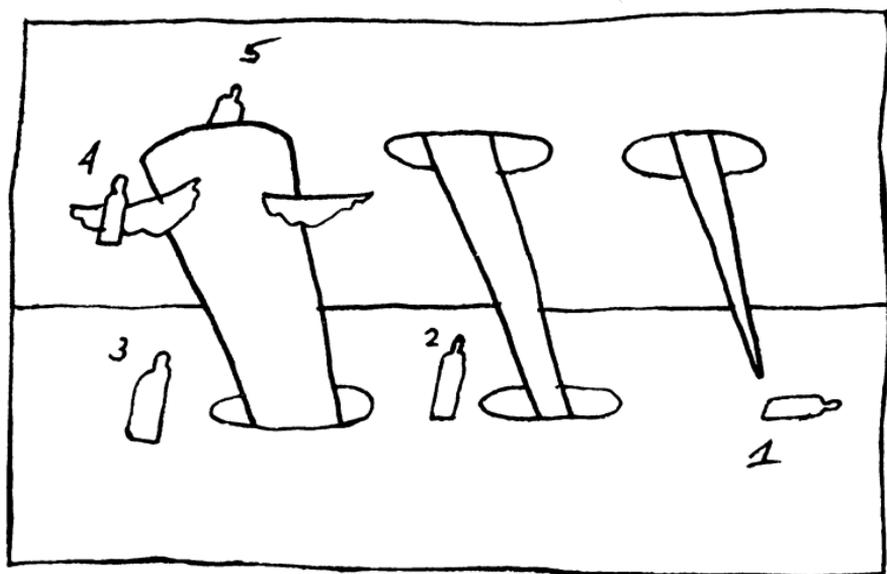


Такое соотношение «пола и потолка» («земли и неба») дает дополнительные решения.

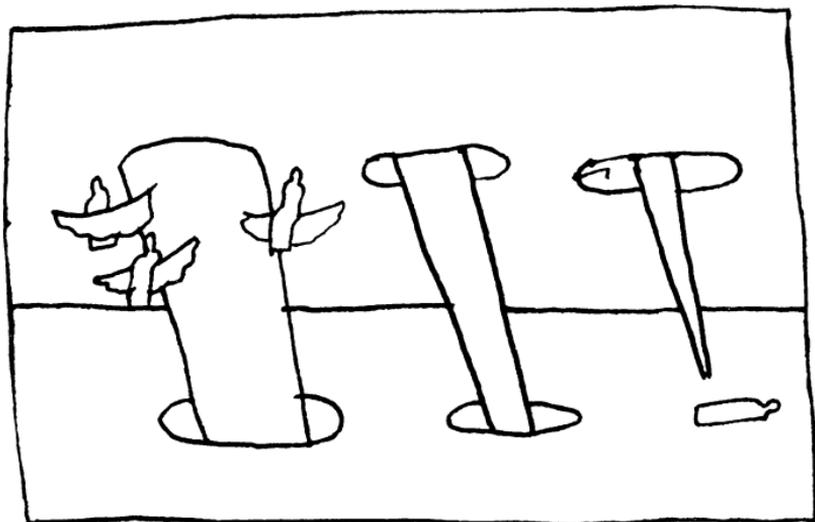
5. «Дерево». 1955. Отношения «пола и потолка» такие же



«Дерево» не распилено, оно целое, но чтобы обратить внимание на действие, «дерево» поставлено комлем вверх.

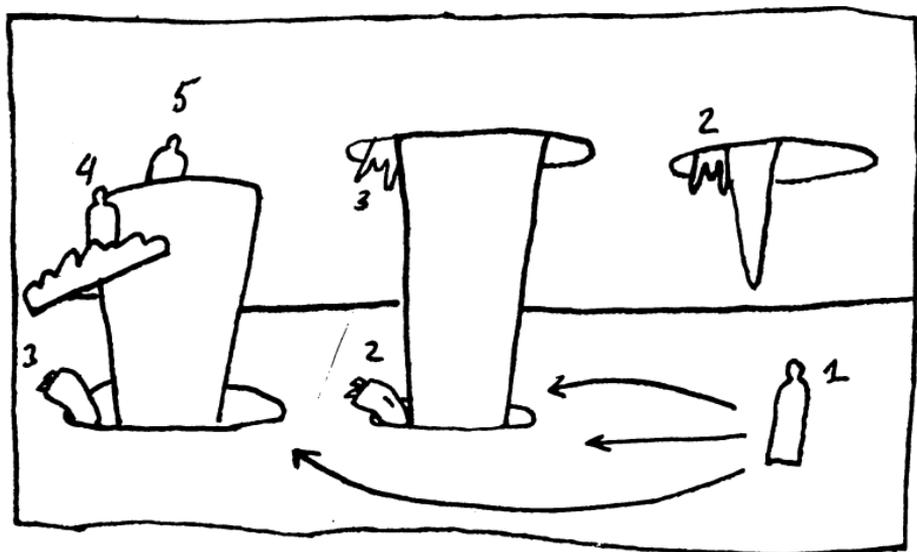


Посадили на «дерево» пять персонажей (рисунок «Б»). Одного отправили в путь — вниз по дереву (а может быть вверх?) — он скользнул из отверстия в отверстия вдоль ствола, но упал (неизвестно — погиб ли?)...



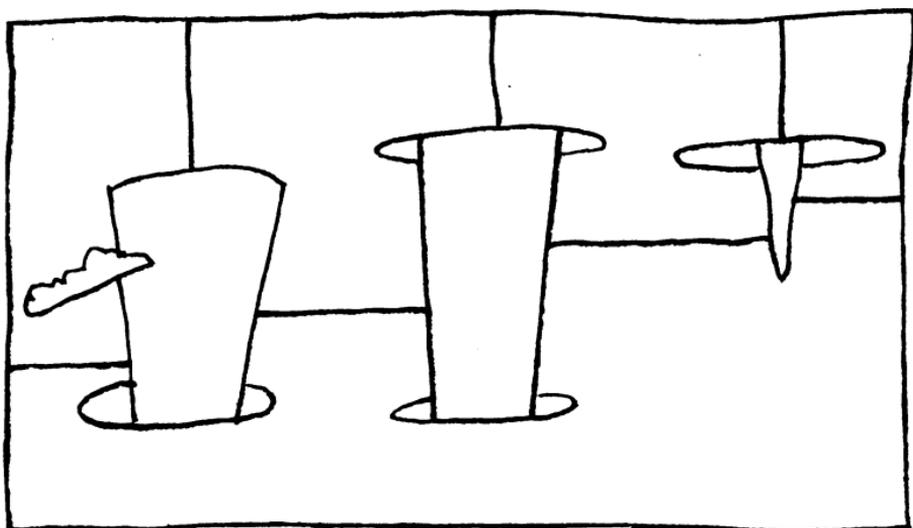
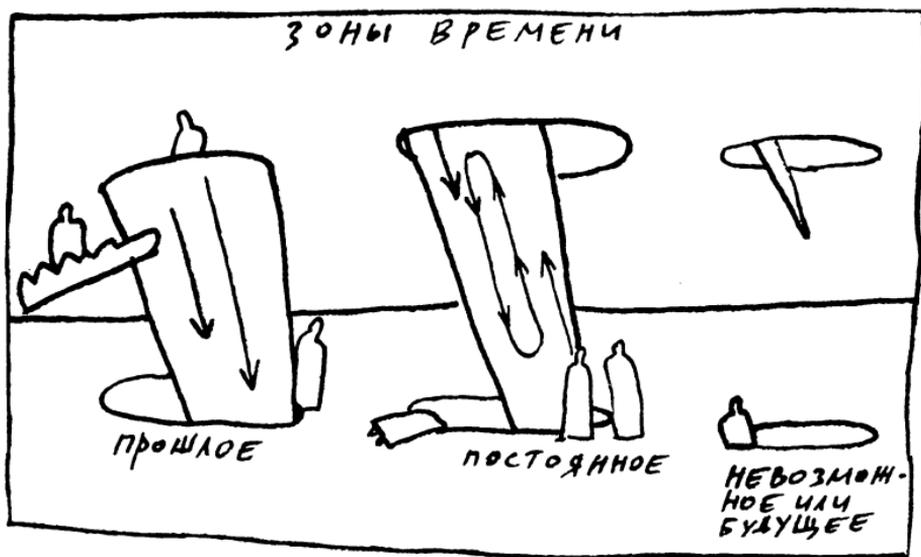
Последовательно в отверстия благополучно скользнули 2-ой и 3-й.

...5-й и 4-й, не получая известий от 1-го, попросили 3-го узнать от 2-го, — не заметил ли он где-нибудь 1-го... Третий и второй это выполнили, но не увидели 1-го... И появилась по «этажам» вертикали легенда, что 1-й сбежал, сто 1-й ушел в дальние странствия и т. д.... А 1-й пришел в себя, открыл передвижение по плоскости,



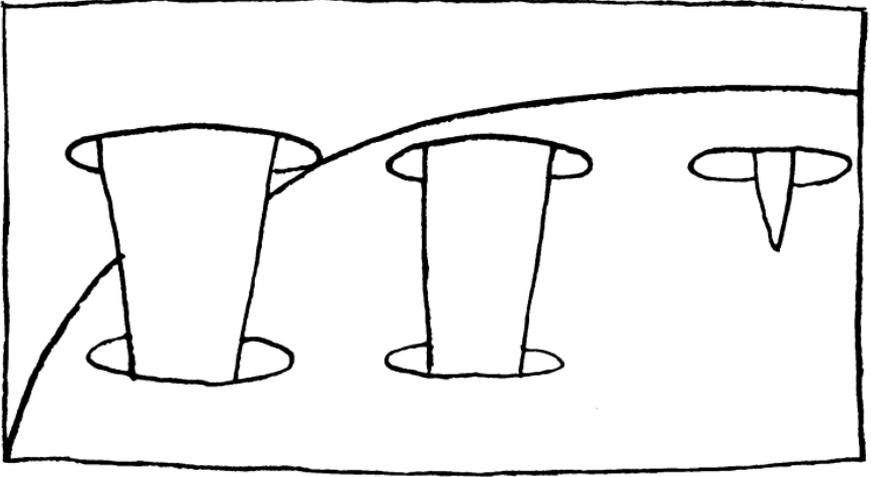
неприметно подошел к бывшим коллегам, остался неузнанным и сочинил про себя какую-нибудь иную легенду.

В этом решении есть НАЧАЛО, СЕРЕДИНА и КОНЕЦ — можно избежать последовательности. Есть время по вертикали и «этажам», можно сопоставить их с временем по горизонтали, т. е. по прямой и по периметру.

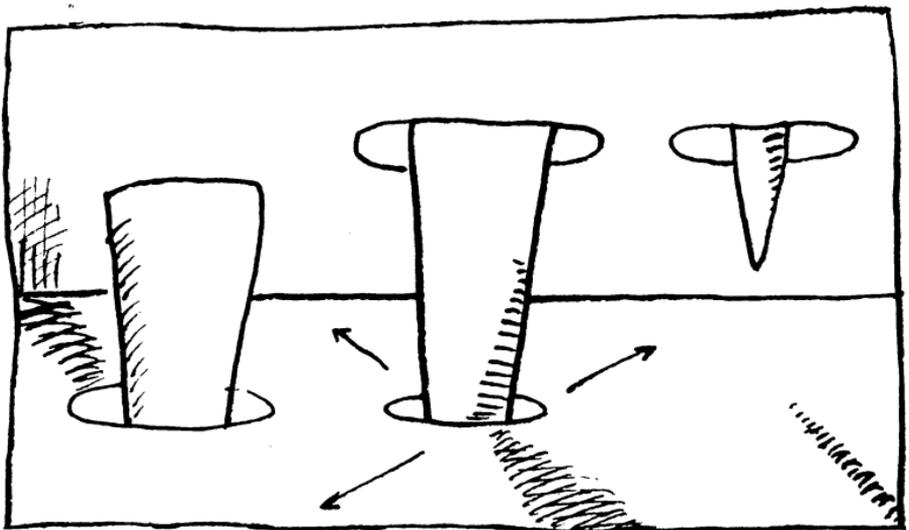


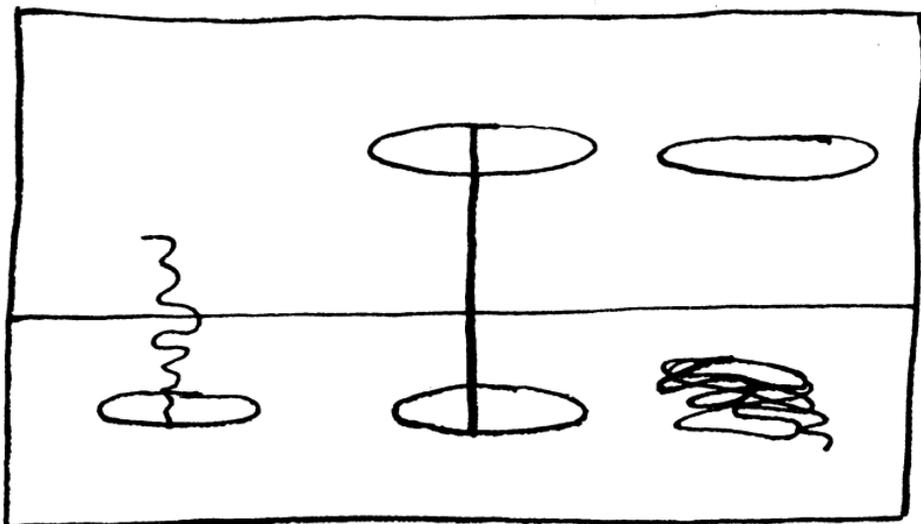
Криволинейное пространство с элементами урбанизма. Город, учреждение...

...Иллюзорное, криволинейное пространство...

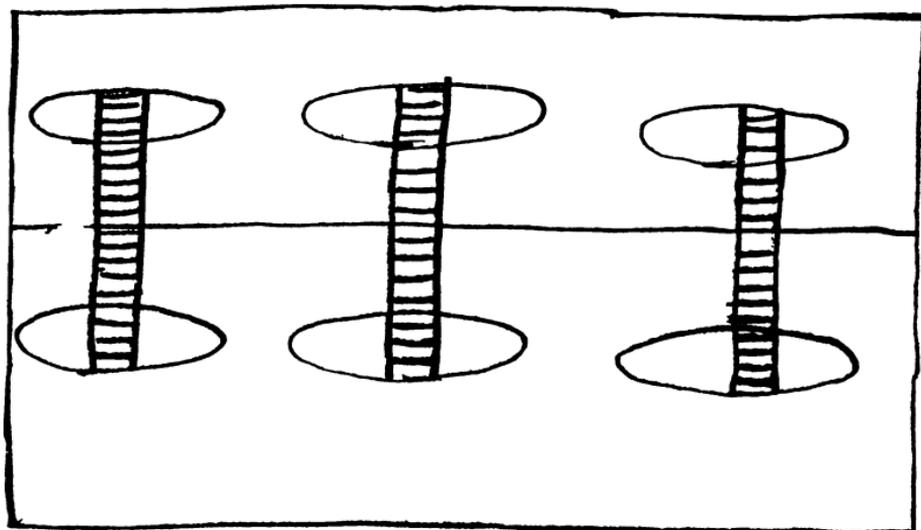


...Свето-теневые зоны персонажей (Проектора в отверстиях...)...

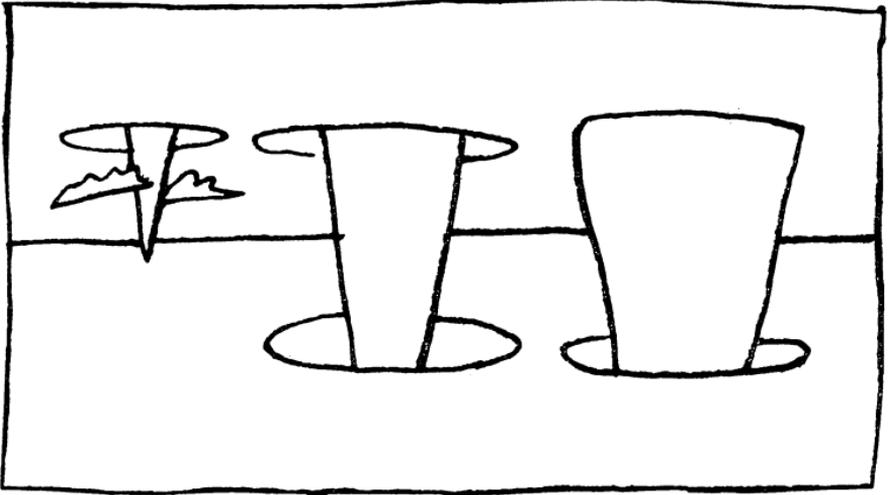




...Для литературной пьесы...

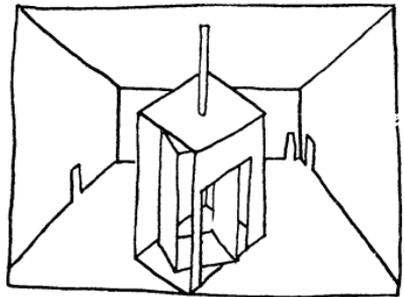
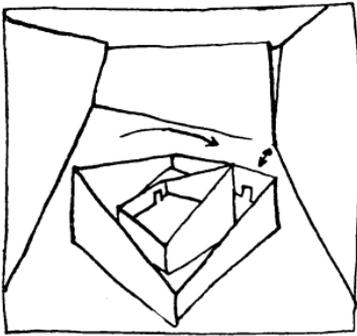


...Для оперных и драматических актеров...



...Для реалистического восприятия...

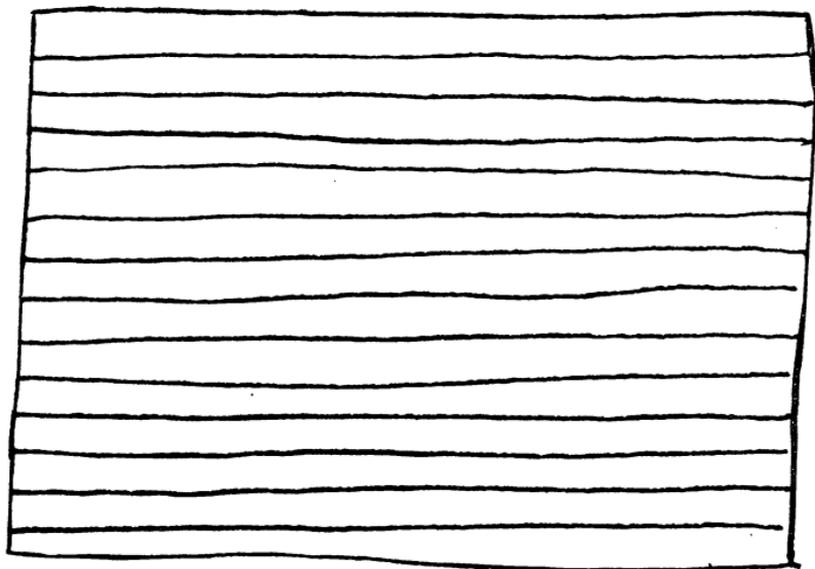
6. 1955—56 годы.



По оси поворотные пространства: дворы или крепости, дома или соборы. Ритмы поведения и на основном планшете сцены дадут почувствовать, что и «кабинеты» вертятся...

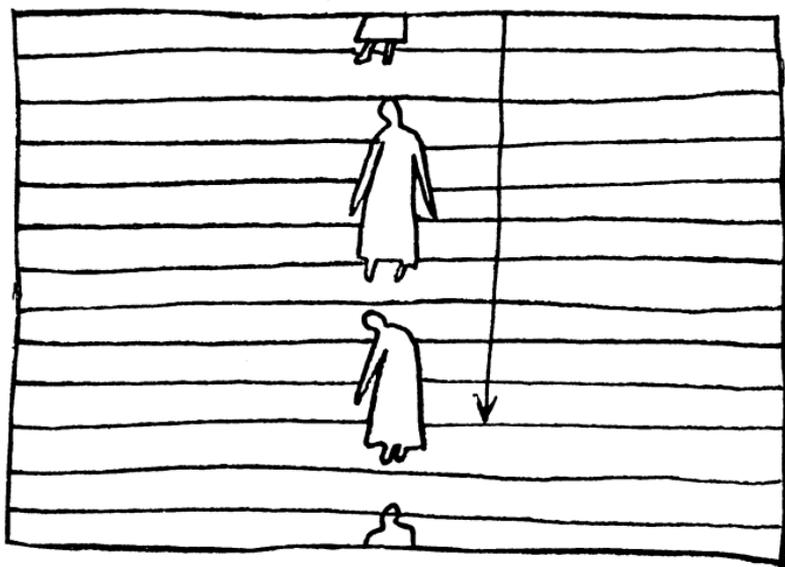
...Персонажи в поисках нужного осознанно и неосознанно поворачивают объемы, меняют настроение, ситуацию, отношения друг к другу. Внешняя и внутренняя среды смещаются... (Сходная внешне установка появилась в «Братце Алеше» у А. Эфроса — коробка, куб, открытый с двух сторон, под колоколом, с пожарной лестницей, минимально поворачивался...)...

7. 1956 год. «Лестница». Они излюбленны сценой. Но в те годы я их не видел или видел мало. Размышления над «Персами» Эсхила дали мне сценографический анекдот...



Лестница перекрывает сцену.

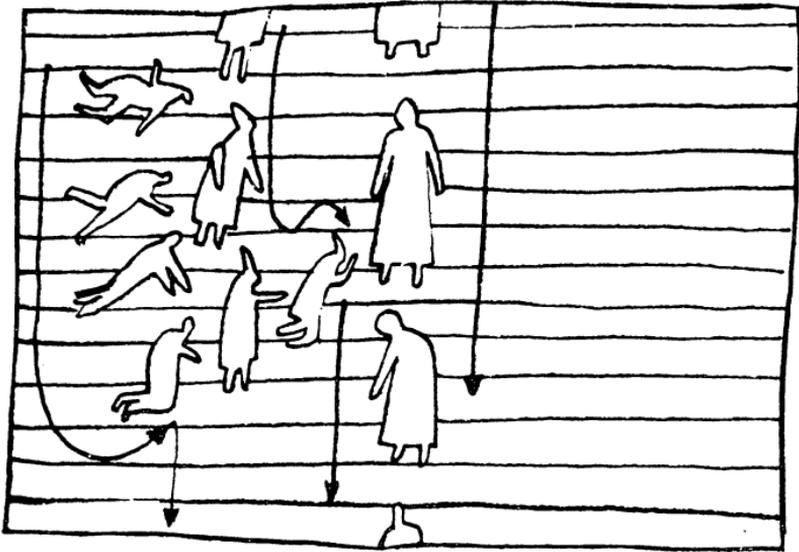
Я думал, как ставить историческую пьесу. Силь-да, стиль-нет (это я тогда легко о соответствиях эпохам). Но можно ведь какую-нибудь державу спустить вниз, весь спектакль спускать, или поднять — и дать исчезнуть. Сошла-взошла-исчезла.) И я стал мысленно распоряжаться «людской фабрикой»).



Играют столько актеров, сколько нужно, чтобы обеспечить «линию Царя». Это «линия Царя». Видны только ноги и голова — «крупный план» голосом. Потом голос спокойнее — мимика, жесты, все тело характеризует состояние.

Но это может происходить одновременно: и голос из «крупного плана» и обычный голос, так как все Цари видны одновременно...

...Среди множества траекторий всех персонажей выделим на рисунке сейчас только две на помощь Царю: вельможу и раба.



Раб скатывается, Вельможа «стремился» и узнал от Раба худое, поведал Царю, Царь переменился... И так, в одной плоскости пространства в разных настроениях и ритмах живут фигуры одного персонажа: «торжественные ноги Царя», «жизнеутверждающий и дарящий господин», «познающий», «раздавленный»... Один и тот же человек — сверху вниз... «А что, — новое кольцо сверху вниз он пройдет изведавшим или позиции соответствуют прежним?»

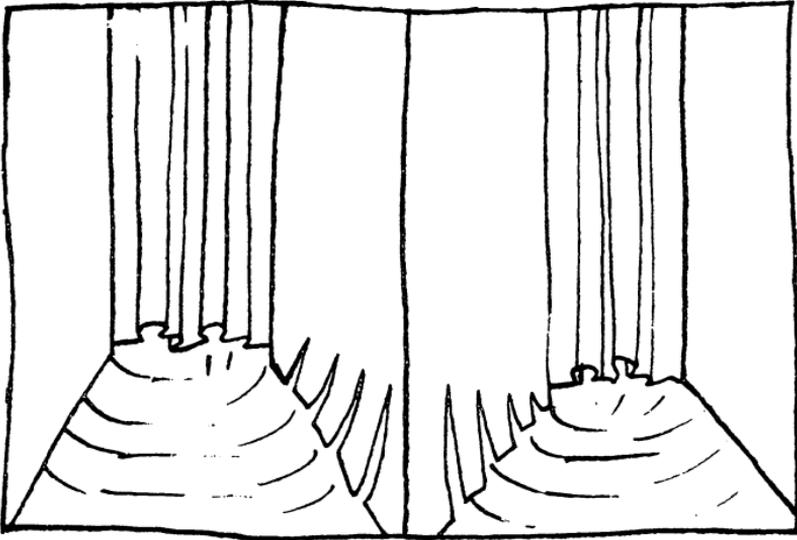
А звуковое разнесение по плоскости? Говорят в центре, только сверху или внизу? «Только по линии Царя» «беспрерывное наложение», сдвижение пантомимы и речи, в назначенных ей сценах.

8. «Старая голубятня» — «Жаворонок» Ануя. У нас в 1960 году. Мне увиделись западни цвета французского флага. В одной ловушке группа Жанны — и Жанна общается только со своими, она и знать не знает о насилии суда. Суд, англичане и церковники в своей ловушке и тоже заняты собой. Никто никого не спрашивает, никто никому не отвечает. Кольца жизни.

Зрительный зал видит и слышит этот диалог.

красный

синий



красный

синий

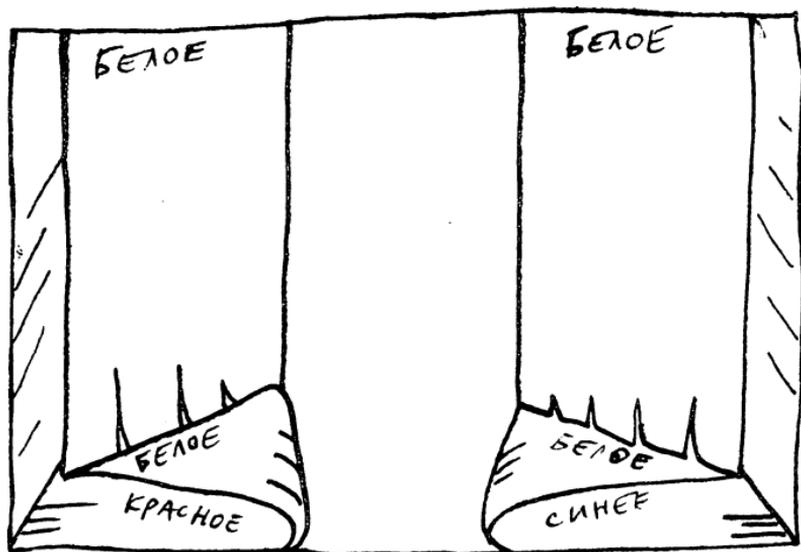
Место Жанны

Место англичан и других

Все, что не красное и синее — белое. «Задники» в глубоких складках — убежища и лабиринты. «Сукна» половников на жестких плоскостях, которые могут убраться, и тогда «красные» и «синие» персонажи барахтаются в ямах — глубиной до метра. Это и костер, и уничтожение, честолюбие.

Но «синей яме» я даровал бы веселое, птичье ничтожество...

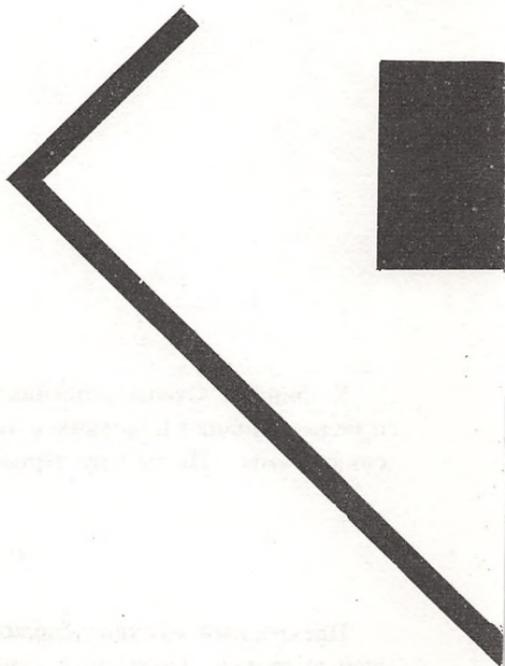
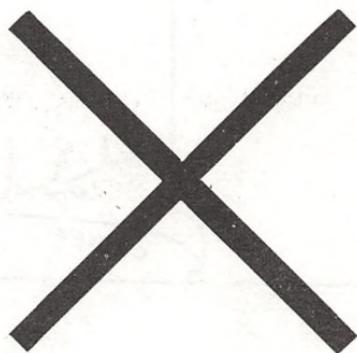
(Середина сцены — белый угольник с кулисными разрезами — имеет свою ценность, которую здесь лишне объяснять... Одна из схем этого механизма принята в нашем театре для постановки в 1981 г. «Ромео и Джульетта»)



К финалу: Стены угольника разведены, потянули половники, и белые изнанки половников треугольниками покрыты красную и синюю ямы... По центру черная или сияющая бездна.

* * *

Прекрасный москвич сделал все, что хотел — жест: пишите любую статью. Поэтому я страшусь жеста оставить эту...



Григорий КАПЕЛЯН

ОБСИДИАНОВЫЙ КУМИР

Знаете, как все устроено, вы не можете просто так взять и проскользнуть куда-нибудь. В метро, например, при входе установлены турникеты, и, чтобы пройти, надо опустить жетон. Этот жетон безо всякого слышимого сигнала своего падения действует на механизм турникета расслабляющим образом, так что заграждающую вам путь металлическую штангу вы можете легко повернуть на один сегмент; вы проходите к поездам, и тогда другая такая же штанга, влекаемая общей осью, становится за вами поперек пути лица, которое вслед вам пожелает воспользоваться этим путем для проникновения в подземные уголья транспорта.

Но однажды случилось так, что мы с моим приятелем и компаньоном Гришей непреднамеренно попали в метро, не уплатив за проезд. На самом деле странно, как мы туда попали, минуя турникеты. Когда мы неожиданно очутились на платформе, где ходят поезда, мы оглянулись друг на друга и хором спросили: «А как мы сюда попали?»

Место это, сообщу вам, находится как раз в районе, можно сказать, центральном для всего города. Не то чтобы как давней памяти Алабурджиевский Пятачок или какая-нибудь Площадь Множащихся Добродетелей в Санкт-Анненбурге на Пскне (не знаю, что последнее: река или состояние души). Не похоже это и на знаменитый форум Двенадцати Вокзалов.

Итак, эту урбанистическая ситуация, это архитектурно-транспортное недоумение находится в центральном месте города, которое, хотя и вызвало воспоминания о вышеупомянутых географических пунктах, вовсе несходно с ними уже в силу того, что

в этом городе таких центральных точек несколько, и они группируют вокруг себя здания и занятия людей по принципу преобладающих интересов, а интересов этих так много, что это множество обеспечивает несоприкасаемость вовлеченных в занятия по этим группам интереса лиц с другими группами, разве что происходит между ними некоторый товарообмен, производимый от их имени третьими лицами, действующими на фоне иного пейзажа, вовсе незнакомого остальным не потому, что они туда не допущены — всегда пожалуйста! — а просто в силу того, что людям некогда; даже в часы досуга, когда представители различных групп начинают, грубо говоря, интердиффундировать за пределами территорий, предпочтительно оккупируемых каждой из них; даже в такие часы взаимной диффузии никому нет дела до того места, где их интересы встречаются. Я имею в виду тот район, где агенты всех групп, то есть даже не их прямые агенты, а косвенные исполнители их товарообменных функций (не всегда осознанных ими самими) осуществляют свои негодии. Кроме того, место это мало интересно с архитектурной точки зрения и не содержит учреждений и зрелищных институций, могущих привлечь к себе любопытство или корысть лиц, пасущих на других пастбищах.

Вероятно, что в поле притяжения именно этого места мы очутились, пытаюсь найти некое предприятие, которое, по нашим догадкам, производило негнущиеся прокладки типа Дубль Игрек — это название, а не конфигурация. Если кого интересуют эти прокладки, то сообщу, что к моменту выхода в свет настоящего текста их в природе уже не будет, потому что уже в ту пору оставалось только одно предприятие, которое их производило по странной инерции: механизмы, нуждавшиеся в этих прокладках, а именно пробойные трубоотталкиватели, уже доживали свои последние дни, поскольку нужда в отталкивании труб с одновременным пробиванием в них определенных отверстий оказалась к тому времени мнимой.

Нам же негнущиеся прокладки были нужны вовсе не как запчасти к трубоотталкивателю, — мы не были до такой степени неосведомлены, чтоб завести себе этот архаический аппарат, к тому же не имея лицензии на владение им и на производство работ с его помощью. Более того, мы всячески сопротивлялись настойчивым предложениям фирмы «Ахман, Ахман и Барроу,

адвокаты», избравшей нас, по непостижимой логике, кандидатами в обладатели «совершенно как нового» трубооттальквателя, который, в случае нашего решения его купить, приносил с собой совершенно бесплатное посредничество Ахмана, Ахмана и Барроу в получение лицензии на пользование им. Я до сих пор не могу уяснить себе, зачем адвокатская контора ради своего бесплатного посредничества хотела связать нас новым, но архаическим оборудованием, к производству и продаже которого она явно не имела отношения. Я даже начинал подумывать, уж не обратиться ли мне к психотерапевту Шапайро и выяснить, какая такая каинова печать проступила на мне, какое невидимое мне в зеркало, но зримое тройным глазом Ахмана, Ахмана и Барроу тавро обретает меня в категорию потенциальных обладателей ненавистного мне пробойного трубооттальквателя. Из этого досадного эпизода вышел и кое-какой толк: проспект ненужного нам агрегата содержал и панораму его запчастей, отпечатанную многокрасочным офсетом на манер цветных вкладок энциклопедических словарей: когда после сухомятной сечки серого шрифта распахивается перед вами разворот, возделанный диаграммами как тепличная грядка, вы успеваете ощутить хотя и мимолетную, но полноценную радость созерцания красок, прежде чем узнаете, что перед вами, к примеру, разрез кожи, пораженной псориазом.

Среди показанных в цвете деталей машин мы и обнаружили ту негнушующую прокладку, которой нам недоставало. Нам удалось узнать адрес фабрики, которая, помимо этих прокладок, производила и множество других запасных частей к вышедшим из употребления механизмам. Фабрика продолжала их производство благодаря тому, что детали эти оказались пригодными для экспорта в какую-то страну четвертого или пятого мира, где, по счастливому совпадению, они пришлись по вкусу приверженцам преобладавшего там фаллического культа и шли на украшение публичных и домашних алтарей. Кроме культового назначения, детали имели и некое экзотическое применение, помогавшее правительству той страны осуществлять программу сокращения рождаемости.

Все это и привело нас на 842 улицу — район, где я до того никогда не бывал — город большой, иногда по пять раз на дню проезжаешь мимо какого-нибудь знаменитого места и уже чувствуешь шей пьедестал стоящего над тобой монумента, на который

хотелось бы хоть разок взглянуть, а все некогда выйти наверх и посмотреть: да там ли он еще, не провалился ли под землю?

Признаюсь, бывает у меня такое ощущение — да простит мне читатель мои бесконечные отступления, впрочем, что извиняться за отступления, когда, может быть, сама основная фабула — предмет, за который следует просить извинения, — увы, говорю я, бывает у меня, в моих блужданиях по городу, такое ощущение, что я нахожусь в подкладке чьего-то пальто. Становится тоскливо: чем себя считать — завалившимся ли гривенником или, смотря чье пальто, насекомым, которому не избежать грязного ногтя. Ну, ничего, ничего, успокаиваю я сам себя, к чему поощрять эти параноидальные мысли, придет время, да и много ли надо времени для счастья — выйдешь себе на поверхность, задерешь голову — и не столько красота сооружения, и не столько венчающая колонну фигура героя в чулках и туфлях с пряжками, и не классические формы цепей вокруг него удовлетворят тебя, успокоят, наполнят, в конце концов, чувством прекрасного, сколько неожиданно низкий облачный покров, скрывающий в клочьях тумана фигуру самого героя и верхние этажи зданий вокруг. За это я и люблю этот город — за такие подарки нашей невольной, неощутимой, неупотребимой, но и неутолимой жажде созерцания, и даже за те сюрпризы, когда праздничное зрелище оборачивается чем-то непредвиденно отталкивающим, подобно тому, как это случилось с роскошным пейзажем псориаза на упомянутом выше развороте энциклопедического словаря.

Место на 842 улице было достаточно нетипичным для этого метро: скорей, оно напоминало станцию Выдуванную на линии Жбаново-Жеребеево, совсем в другой части планеты, о которой мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сходство это, прежде всего выразалось в отделке внутренних переходов красным гранитом, а также в применении того архитектурного стиля, который, скорей, восславляет сам момент строительства, нежели подчинен тем целям, ради которых оно затевалось. Стиль этот был равно распространен в странах даже со взаимоисключающим идеологическими предпочтениями. Так и вышло, что станция на 842 улице сильно напоминала Воздуховную, теперь переименованную в Воздыханную, потому что недавно было установлено, что именно там, на месте входа в метро, находился пруд, в котором утопи-

лась героиня повести Сукурокова «Бледная мыза» (конец XVIII века).

Вообще там, в Жбано-Жеребеевской полосе, постоянно идут процессы омоложения старины. Это — замечательное свойство тамошней системы горкомхоза. Последнее слово означает либо учреждение, либо экономическую доктрину, либо то и другое, но возможно так же, что это мирозерцание или даже позиция во время полового сношения, какое-то тамошнее дополнение к Камасутре. Там, в соответствии с текущим горкомхозом, постоянно переносят что-то куда-то. Там даже переносят дни: например, объявляют, что 14 марта должно считаться 8-ым апреля, в связи с чем воскресенье будет во вторник, а вторник — в пятницу, что, в свою очередь, влечет за собой другие перестановки, заканчивающиеся, впрочем, вполне благополучно, так что в году остаются все те же 365 дней. В городке Буонпранцо, например, я наблюдал ежегодный перенос статуи местного святого (или святой — из-за низких облаков пол статуи было трудно установить) — это, как вы можете догадаться по названию, в другой географической полосе — края средиземноморские, хотя и пересаженные на другой берег Атлантического океана. Перенесение святого и заставило меня вспомнить эту, хотя и нерегулярную и не поддающуюся календарным предсказаниям привычку северных воздыханных областей к горкомхозу. Последний (неважно, что он означает, будем звать его просто «он») очень часто бывал раздражен (или был орудием, выразителем, заменителем или смягчителем чьего-то раздражения) каким-либо архитектурным или скульптурным памятником старины. Он тогда велел монумент убрать с глаз долой, в связи с тем, что в нем воплощаются какие-то недопустимые концепции — санитарно ли эпидемиологические (из-за чего был убран памятник чуме в Пшебжеге) или историко-педагогические (когда памятник старины об этой старине давал искаженное представление) или же морально-транспортные, что потенциально присуще любому возвышающемуся над поверхностью земли объекту. По прошествии некоторого времени он (горкомхоз) начинал тосковать по памятнику, раскиваться, писать статьи. И тогда, если памятник лежал в разобранном виде, его снова собирали, если был уничтожен, воссоздавали заново по фотографиям или рас-

сказам ночного сторожа, всю жизнь прослужившего в утраченных стенах; если же место снесенного монумента или здания было уже занято, ставили его в другом, даже отдаленном от первоначального, месте. Что могло привести к новому приступу тоски, тем более, что с возрастом сентиментальные позывы вернуть годы юности могут быть удовлетворены разве что стремлением воссоздать обстановку, в которой благодать молодости имела место, — и вот он уже оплакивает тот факт, что в его-то годы памятник освещался золотыми лучами рассвета, когда он, усталый после ночного чего-то, шагал домой через весь город, а нынче на памятник падает тень от здания Бывших Двигателей Прогресса, а так как там доживают свой век те, кто дали название этому сооружению, то снести-то это здание никак нельзя и т. д. и т. д.

Вернемся, однако же на стацию «842 улица», красный гранит которой вызвал у нас столько воспоминаний и параллелей, не имеющих прямого и даже кривого отношения к тому, о чем я, в конце концов, собираюсь все-таки рассказать.

Архитектура этой станции, короче говоря, была такова, что обилие выступов и перепадов уровней до сих пор (архитектор был поклонником Пиранези) создает серьезные затруднения ориентации даже и для блюстителей оплачиваемости езды. В результате того, что мы где-то срезали угол и, приняв какой-то пьедестал за слишком высокую ступень, спрыгнули вниз, мы оказались прямо на платформе, мимо которой в это время проносился без остановки поезд Дубль-Пе.

Раз поезд там не останавливался, то и в каких-либо указателях, как видно, нужды не было. Мы стали искать, где бы нам выйти на надлежащую платформу, и естественно, устремились туда, где видели людей. Странная их одежда нас не смутила — в этом городе удивляться разнообразию платья не приходится — мы и сами покинули нашу контору в чем были: я был в старом, с прорехами халате, а Гриша, который до того практиковался в бассейне на нашем заднем дворе, был обмундирован в обтягивающий комбинезон для подводной охоты. Заметив его, несколько женщин, одетых в слоистые лоскутные пеплосы (среди них преобладали представители желтой расы) бросились к нему и немедленно окружили его плотным кольцом. Я думал, они пытаются ему что-то продать или убеждают его подписать петицию против какого-то безобра-

зия в их стране, и, полагая, что он скоро от них отделается, стоял себе в стороне. Однако через несколько минут я увидел, что его увлекли куда-то, возможно, даже и с применением силы, так как передвижение клубка женщин с Гришей в центре происходило довольно медленно. Я покричал его издали и только было рванулся в его сторону, как другая группа женщин, возглавляемая очень крупной толстозадой матроной явно месопотамского вида в окружении все тех же мелких дальневосточных девчонок, преградила мне путь. Месопотамка была одета в длинное шелковое платье в крупную, шириной в ладонь, вертикальную полосу.

— Какой у вас замечательный халат! — объявила она жизне-радостно.

Полосатость, что ли моего халата позволила ей предположить, что между нами есть что-то общее.

— Как видно, вы тот, кого нам не хватает! — с уверенностью сказала она. Ориентальные женщины дружно закивали головами.

— Ведь вы из Авархупани?

— Нет, что вы, — развязным голосом сказал я, — я живу в Вудбридже.

— Да, я понимаю, — не отставала она, — может быть вы и живете в Вудбридже, но родом-то вы наверняка из Авархупани. Халат-то ваш оттуда. Может, ваши родственники там живут?

— Никоим образом, — весело отвечал я. — Халат мой не имеет ничего общего с Авархупани.

— Значит вы знаете, что такое Аверхупани?

— Представления не имею.

— Но откуда же у вас этот халат?

— Видите ли, этот халат — бухарский, — отвечал я отчетливо и инструктивно, — и ношу я его в жару, как это делают там, в Средней Азии, но я редко выхожу в нем на улицу, а ношу его в своем учреждении, и не от жары, а от холода, потому что мои сотрудники предпочитают включать кондиционер на полную мощность и любят ходить в толстых лыжных свитерах с изображением северных оленей круглый год. Извините, я очень спешу и мне надо найти моего приятеля.

Я решительно направился в ту сторону, где кучка женщин филиппинского или кхмерского вида, по-видимому, держала Гришу. Там я обнаружил, что его среди них нет, что стоят они, окружив шахту лифта, огражденного проволочной сеткой наподобие

тех, какими окружают пустыри, ожидающие разрешения на застройку у городских властей, настаивающих на том, чтоб там была устроена публичная стоянка машин, и где покуда растет чертополох. Внутри лифта, явно бездействовавшего, находился мой приятель Гриша, снаружи дверь в лифт была замотана проволокой — очевидно, это сделали женщины, сторожившие своего пленника.

Внезапный порыв юридической ярости вселил в меня уверенность, что я способен победить эту толпу:

— Вы нелегально арестовали человека! Это — незаконное задержание!

Эти слова произвели неотразимое впечатление на женщин. Они бросились разматывать проволоку и побежали прочь. Шумерская женщина вместе со своими кхмерскими попутчицами также обратилась в бегство. Я бросился ей вдогонку, не столько чтоб схватить ее за полу, сколько чтобы поддержать произведенное на них впечатление моего преимущества.

— You fuckin' bitch! — крикнул я ей вдогонку с неизвестно откуда взявшимся у меня вудбриджским акцентом.

Они пропали в темноте сырого перехода. Луч света от проносившегося на полной скорости поезда на секунду осветил их, вместе с унылыми сталактитами, свисавшими с черного потолка.

— Чего они от тебя хотели? — спросил я Гришу, который выглядел поникшим и даже слегка истощенным.

— Я их вначале не мог понять, говорят все сразу, я думал, дорогу спрашивают, а потом они как-то меня оттерли и втокнули в этот лифт. Потом, когда я уже был внутри, они стали на меня молиться.

— Что значит молиться? Почему ты думаешь, что они на тебя молились, а не делали на тебя что-то другое?

— Как почему, да они просто молились на меня, самым откровенным образом.

— Черт знает что! Но все равно, они тебя незаконно задержали, не имеет значения с какой целью. Надо пойти и найти полицейского или служащего этой идиотской станции.

— Зачем? И что им сделаешь? Арестовать их всех, что ли? Сам подумай, это же немислимо, арестовать толпу женщин. В конце концов, — добавил он, глядя на меня изподлобья и с ка-

кой-то ожесточенной скорбью, — мы сами находимся здесь незаконно.

— Причем тут это. Находимся уже и находимся. А полиция могла бы им внушить, что тут не место для их практики, кем бы они там ни были. Пригрозить им чем-то. Это, видно, какая-то секта, культ какой-то жалкий. Они, может быть, никогда не видели человека в таком костюме, вот и приняли тебя за будду какого-то. Они и ко мне приставали, халат их, видите ли, заинтриговал, или то, что мы были вместе. Ты-то, конечно, выглядел явно выше рангом. Я у тебя просто какой-то недоделанный бодисатва, прихлебатель в рваном халате.

Возмущение мое стало потихоньку проходить и вся ситуация начала представляться, скорей, в комическом свете.

— Надо нам с тобой отсюда выбираться, — сказал я. — Где ж тут поезд-то остановливается? Странно, что и людей-то здесь не видать, середь бела-то дня. Как мы сюда попали...

— Да, надо бы выбираться отсюда...

— А не попробовать ли этот лифт?

— Ты не знаешь, куда ведет этот лифт, — ответил Гриша торжественно, как будто он уже прокатился в нем в какие-то астральные тартарары.

— Будто ты знаешь, — подначил я его.

— Я не знаю, конечно, — сказал он уже с раздражением и даже обидой на меня, — что-то в нем было затронуто. — Но я бы предпочел им не пользоваться.

— Конечно, конечно. Ты прав. Да он, по-моему, просто бездействует, иначе они б...

— Очень даже действует, — ответил он этим своим новым тоном посвященного в тайну. — На меня он очень даже подействовал.

— Ну ладно, давай выбираться, уже, наверное, поздновато, надо еще успеть эти прокладки...

— Знаешь, ну их к черты, эти прокладки! Неужели весь смысл в том, чтобы найти какие-то там прокладки?

— Смысл чего?

— А всего!

— Видишь ли, я не вкладываю всеобъемлющего смысла в факт приобретения прокладок, это всего лишь мелкая производственная

деталь. Непонятно, почему ты вкладываешь в это какой-то гигантский смысл!

— Я вообще не вижу смысла в прокладках.

— Но ты же вчера сам говорил, что они позволят нам сократить затраты времени...

— А зачем и на что сокращать? Затраты времени! Зачем вообще затраты времени?

— Слушай, я понимаю, что у тебя было неприятное переживание, и ты сейчас не в настроении обсуждать производственные...

— Затраты времени! — сказал он презрительно и трагически.

Мне уже нечего было ему возразить. Мы выбрались тем же путем, как вошли.

Утром в своем офисе я читал газету. Шпион был приговорен к тюремному заключению, хотя его признали невиновным в продаже секретов за границу. Сидеть он должен был за уклонение от уплаты налогов с дохода, полученного от иностранного государства.

Я радовался изящной точности правосудия, — ну да, ну получал от них деньги. Но за что? В карты выигрывал. Постоянно, регулярно выигрывал в карты крупные суммы. С дохода платить налог стеснялся из патологической скромности.

— Суд не мог разобраться, что он им продавал, — пояснил Стивен, читавший ту же статью в другом конце кабинета. — Он утверждал, что секреты были липовые. Старые, подержанные секреты.

— Заказчик, выходит, кота в мешке покупал. То есть, даже и кота никакого не было.

— Иначе говоря, никак нельзя было доказать.

— Никогда мы ничего не можем доказать. Кто поверит, что группа женщин с острова, скажем, Целебес, устроила алтарь в бездействующем лифте, заброшенной станции метро, куда нет входа и куда можно попасть только по ошибке в день, когда Юпитер противостоит...

— Где это? — спросил Стивен и стал рыться в газете.

— Там этого нет. Зачем они берут живого человека и помещают в свой алтарь, принимая его подводный костюм за подземный.

— Ты что-то такое плетешь совсем не по делу. А вот, возвращаясь к шпиону, тебе рецепт, точнее, узор поведения, который

можно принять за стратегическую схему. Спектакль оказания услуг. Со взаимного, естественно, согласия. Получать деньги за спектакль оказания услуг.

— Это сплошь и рядом делается.

— Нет, ты подожди, я еще не закончил мою мысль, — дело в том, что все — смотри на рекламы — талдычат, что гарантируют «полное удовлетворение». Рассуждая логически, дело ведь не в товаре, а в конечном удовлетворении. Надо найти товарное воплощение удовлетворения — его самого! Понимаешь меня?

— Ну да! Как у Хаммахера и Шлеммера: продается лучшее и единственное. Глубокое удовлетворение. Ультразвуковой аппарат, производящий волны глубокого удовлетворения. В то же самое время, производя эти волны наружу, в своем внутреннем резервуаре аппарат производит чистку вставных челюстей и бижутерии.

— Нет, ты подумай хорошенько. Это надо развить, — настаивал Стивен. Он был доктор философии и время от времени пытался найти какое-то коммерческое применение своей метафизической тренировке.

Дело наше, по большей части, состояло в проектировании и испытании приспособлений для модификации уже существующих артикулов в целях их специализации в конкретных условиях, диктуемых настоящими или вымышленными особенностями обстоятельств их непредвиденного применения.

Циклические приступы творческого зуда обычно выказывались в догадках, предложениях, изысканиях и порывах к созданию какого-либо оригинального продукта, который внезапно вывел бы нашу компанию из ползучего балансирования на грани равенства между кредитом и дебитом.

Хотелось создать что-то такое, на что не надо тратить ни времени, ни труда, ни материалов, ни денег, нечто такое, что самим блеском замысла, как сверканием блесны в воде, возбуждало бы у потребителя рефлекс потребления.

И мы порядком-таки тратили времени на выдумывание чего-то, что не потребует времени в производстве, а бывало, тратили и материалы на нематериальные идеи. И трудились над проектами того, что не потребует труда. Не говоря уж о деньгах, потраченных на убыточные затеи.

Примечательный эпизод, прочитанный в книге журналиста, путешествовавшего по Европе в начале нынешнего — какого,

бишь? — века: молочник в Лиссабоне продавал молоко, ведя за собой корову, непосредственную корову, надаивая молоко из ея вымени по мере спроса. А мы уже в плену цистерн и рефрижераторов. Как перевести *modus operandi* лиссабонского молочника на нашу современную практику? Мозги наши — цистерны опыта, замороженные и заторможенные чужим успехом.

Русские эмигранты — сплошь изобретатели. Один взял патент на зонтик, который автоматически раскрывается над крышей автомобиля при первых каплях дождя. Другой изобрел звуковую застежку-молнию: свистит, если ширинка расстегнута. Или еще пуще: говорит, как некоторые теперешние фотоаппараты или весы, человеческим голосом: «Ширинка расстегнута, ширинка расстегнута, расстегнута...» Представьте себе: в романтический момент, когда вы готовы, выражаясь старомодно, соединиться с возлюбленной, снизу раздается голос: «Ширинка расстегнута, ширинка расстегнута...»

Отвертка со стаканом в ручке. Надувной молоток.

Гордый электрик, одержимый идеей родственности самому Создателю («да будет свет»), или, согласно своему маниакально-депрессивному циклу, подавленный страхом перед темнотой, неустанно и последовательно искал ситуации повседневной жизни, в которых было необходимо возместить недостаток освещенности. Начиная со светящегося дна в стакане, что, как оказалось, уже было кем-то патентовано; через вилку, в изгибе которой миниатюрный прожектор, питаемый спрятанной в ручке батарейкой, освещал потребляемую в темноте пищу; и, наконец, к туфлям с фонарями в носках, — последнее принесло ему коммерческий успех и достаточно средств, чтобы посвятить себя тому, что стало венцом его светотехнической мысли, одновременно вынеся наружу его маниакально-депрессивный комплекс. Святая вера в применимость математической логики ко всей наличной действительности позволила ему построить реостат, который более чем регулировал интенсивность света лампы, — ноль на шкале означал не просто отключение света, но при повороте ручки дальше влево лампочка начинала давать темноту.

Некий венгерский гражданин, фигурирующий в рассказе одного американского писателя, разработал рецептуру съедобных денег: на случай продовольственных затруднений. Мне и самому время от времени не дает покоя мысль о радикальной переработ-

ке концепции денег. Мы все еще живем в веспасиановские времена. Деньги должны пахнуть, они должны, наконец, запахнуть! Их действительность (или даже стоимость) должна определяться наличием и интенсивностью особого, уникального, неимитируемого запаха денег. Выветрившиеся деньги переименовываются в туалетную бумагу. Могут быть еще светочувствительные темнеющие деньги (не годится, будут хранить в сейфах и расплачиваться при той лампочке с минусовым реостатом), краткосрочные, самораспадающиеся, скоропортящиеся. С коротким периодом распада. Чтобы не залеживались: абсолютно противоматрачные деньги. Надо заставить людей тратить деньги пока они не испортились, не потемнели, не скисли. Или — вместо того, чтоб выдумывать новые материалы для их печатания, вывести (генетическая инженерия!) бактерию, которая только деньгами и питается. Зеленый ягурт: разжиженные деньги в банках, в стаканах (не светящихся, темных) пастообразные — в тубиках. Газообразные деньги. Распыляемые из аэрозольного баллона в лицо продавцу. Веселящий газ денег...

Я устал. Устал и думать и играть в мысли. На природу бы мне, в угоды какой-нибудь там Артемиды, будь она неладна, где свободный охотник (Freischütz) стреляет непосредственный продукт в небесах, и неговорящая собака, которая не умеет играть в шахматы, несет в зубах птицу. Вдали, на холме, ротонда с колоннами дорического ордера, — нет, дорический, пожалуй, тяжеловат, путь будет тосканский, купол зеленый, в тон молодой листве, Речка, отражающая белое небо, огибает храм. Прохладно от травы и неба, небо-то рядом. Кто сказал, что оно над головой, оно ведь прямо от травы и начинается.

— Товар — продолжал Стивен, — должен быть такой, который нежен всегда. То, что как зонтики или перчатки, неизбежно теряется...

— Невинность, — мрачно произнес Гриша. На его лице теперь появилось новое выражение. Кратковременное заключение в кабинете лифта открыло перед ним иные горизонты, и его трагический скептицизм теперь распространялся не только на негнувшиеся прокладки, но и на всю нашу деятельность.

Я сидел в офисе и, перед поездкой в Италию, читал учебник. Одна глава была посвящена жестам и содержала подробные инструкции. Например:

«1. Встаньте перед зеркалом. 2. Сожмите в кулак и согните в локте правую руку, ребром ладони левой ударьте внутрь сгиба. 3. Повторите это движение, усугубив его покачиванием слегка расслабленного кулака правой руки».

Я встал перед зеркалом и повторил упражнение несколько раз. За этим занятием меня застал Гриша. Оч громко расхохотался, первый раз за много дней.

— Вот именно! Вот именно! — одобрял он мои действия.

Я же никак не мог выйти из сосредоточенного транса, автоматически повторяя итальянский жест, но думая уже о другом.

— Деньги-жесты! — наконец объявил я. — Не хочу вдаваться в детали. Хороши неприземленные идеи, голые платонические идеи, порхающие, непривязанные... Какой курс, да судьи кто, да что на бирже... Я вот сделал так — согнул правую руку в левом локте, слегка покачивая умеренно расслабленным кулаком, а он мне безымянным пальцем левой ноги в чужое правое ухо — и мы в расчете.

— У тебя, по-моему, приступ коммунизма, — заметил Гриша.

— Архимед, — продолжал я, — Архимед, вынимая погруженное в воду собственное тело из мраморной ванны, где до того почивал Марат, свесивший слегка расслабленную правую руку, Архимед, вместо того, чтобы воскликнуть «Эврика», на самом деле согнул в локте и т. д.

Я, наконец, очнулся и спросил:

— Ну как?

— Все в порядке, — бодро ответил Гриша.

— Что в порядке?

— Все! — сказал он, весело возводя стену вокруг того нового своего состояния, которое, как мне казалось, было результатом эпизода в метро.

— Вот видишь, чем люди-то торгуют, — вернулся я к обычной теме разговоров, — «Произвожу исследовательскую работу по установлению генеалогии. Агенства по всему миру». — Врет конечно. — «Восстанавливаю и выращиваю» — раньше, наверно, волосами занимался, — «Восстанавливаю и выращиваю генеалогическое древо. Саженыцы генеалогических деревьев. Имеется

также генеалогическая древесина и мыльные палки и щепы. Бесплатный мешок генеалогических опилок с каждым заказом».

Он внимательно слушал, отсутствие улыбки не было знаком утраты чувства юмора, просто пропала охота смеяться. Скулы устали.

— Все правда. Вот я еще по радио слышал: звезды продаются. То есть название звезд. Можешь назвать свим именем. Занесут в официальный регистр. Или подарок кому. Вот тебе симптом — на земле уже нечем торговать.

— Звезды, — назидательно начал я, — относятся к категории невещественного товара. Правда, их можно видеть, не то что Стивена глубокой удовлетворение — в чем его продавать? В резиновой грелке? В случае со звездами продается что-то пространственно недоступное для обладания. Вообще, это самое обладание, где оно начинается и где кончается?.. Легкое обладание, полное обладание, отдаленное или откладываемое на будущее. И в большинстве случаев обладание тем, чем и обладать-то нет нужды. Прав Стивен — нужно только само глубокое удовлетворение в теплой резиновой грелке. Ты мне про звезды говоришь — это, так сказать, пространственно недоступное, а если оперировать парными понятиями, то, что скажи, мне, недоступно во времени, не отложено в рассрочку, а просто, как звезды, совсем напрочь недоступно?

— Загробная жизнь, — сказал он без промедления.

— Опять мы опоздали. Индульгенции кто теперь будет покупать? Есть, правда, одна вещь потустороннего свойства... Ко мне недавно приходил один изобретатель; у него уже есть патент на аппарат с довольно-таки развязным названием — «Pay-n-play». Он бывший служащий казино, его осенило однажды, когда он увидел молодую женщину перед «одноруким бандитом», в молитвенной позе сложившую ладони, а губу прикусив, как игрок. На основе детектора лжи он соорудил исповедальную машину, которая, выслушав клиента (не прихожанином же его называть?) и, зарегистрировав искренность исповеди, выдавала что-то вроде индульгенции. Однако, предвидя протесты и даже суды со стороны клерикального, как он выразился в стиле 60-х годов, «истаблшмен-та», он модифицировал аппарат, который теперь просто выдавал знак «услышанности» молитвы, вне зависимости от принадлежности к той или другой религии. Машине, в общем, все равно, будь ты

хоть язычник или вообще атеист. Назвал он свой автомат «Нонде-номинативный пункт религиозных отправлений». Довольно-таки неаппетитно, никто у него такое не покупал. Тогда он добавил к своему аппарату еще кое-что от однорукого бандита, и он теперь уже просто выдавал деньги за искренность молитвы. Столько лет труда, и этим последним усовершенствованием он окончательно загубил свой автомат, который был не в состоянии отличить искренней молитвы от искреннего желания молящегося получить деньги.

Гриша улыбнулся понимающе и горько. Он сам был, вернее побывал тем, на что молились. Он там стоял в лифте, гладкий, как приз Оскара, и бесприютный рой женщин гудел вокруг него в надежде осесть, будучи окропленным благодатью, переселиться в улей окончательной веры, которой только недоставало антропоморфного кумира.

— Все это не имеет отношения к делу, — сказал Гриша.

— К какому делу?

— К делу вообще.

— То есть, что за дело вообще? У нас нет дела вообще.

— В том-то и дело, что нет дела вообще.

— Ты хочешь сказать, что главное дело в настоящий момент — что нет главного дела вообще.

— Что-то вроде этого я имею в виду.

— То есть, иначе говоря, главное дело — это отсутствие дела вообще. То есть наша главная забота, что у нас нет дела вообще и нашим главным делом является нахождение того, что было бы нашим делом вообще. Но если мы займемся поисками этого дела вообще, то нашим главным делом будет опять не оно, искомое, а поиски его, срок которых может быть сколько угодно продолжительным, и мы опять будем заниматься не тем, чем следовало.

— Но если не искать, то ничего и не найдешь, правда же?

— Искать можно что-то, о чем имеешь четкое представление, тогда у тебя не будет сомнений, что ты нашел то, что искал. А когда речь идет о деле вообще, то обретение его в конце поисков, будет результатом поисков, суммой поисков, суммой блужданий, ошибок, случайного опыта, приобретенного по пути. Можно убедить себя, что ты нашел именно то, что искал, но даже тогда ты не можешь сказать наверняка, что найденное тобой — оконча-

тельное, а не временное представление о «деле вообще», каким ты его рисовал себе в момент, когда ты вообразил, что это и есть момент находки.

— Ты хочешь сказать, что дело наше плохо...

— Наше дело вообще плохо, наше отсутствие дела вообще плохо.

— Да, похоже, что из малых дел не складываются большие, а из большого дела никак не выходят порции.

— Малые дела необъединимы, большие — неделимы.

— Это уже звучало восточной мудростью.

А могло быть венгерской музыкой. Или финской баней.

Авархупани не в Индии и не на Кавказе. Там посреди пыльной площади сидит мудрец. Человек-предмет. Человек — предмет паломничества. У него огромная черная борода. Она служит ему волосяным матрацем, когда он спит на животе. Если нужно одеяло, он спит на спине. Если он вообще когда-либо спит. В бороде живут безвредные насекомые, питающиеся пылью. Предпочитают в бороде, а не в самой пыли. Люди тоже не живут в пище, если вас интересует логика поведения насекомых.

Люди приезжают со всего мира посмотреть на мудреца. Говорят, он не говорит. Не то, чтоб он был немой. Изреченная мысль — ложь, как сказал поэт. Выходит, что поэт изрек не мысль. Так лучше: немысль лучше, чем правило, которое само из себя исключение.

Мудрец из Авархупани не проповедует молчание. Он молчит. А раз уж он мудрец, то его молчание — мудрость. Одно его лице-зрение одаряет. Его мудрость так велика, что она инфекционна.

Биологические функции мудреца сведены к минимуму. По части питания он — сотрапезник жильцов его бороды. Мы не будем опускаться до тривиального обсуждения его естественных потребностей.

С некоторых пор взял он себе за правило ходить гулять в дождь, одевшись в подводный костюм. Однажды, часа в четыре, прекрасное время летом в четыре часа, в дождь, момент, когда ненадолго замирает жизнь, может быть, всего лишь на секунду,

никто не покупает газет и все светофоры горят красным огнем во всех направлениях, и в магазине, где продают всевозможные стеклянные и деревянные, эбонитовые и фарфоровые, и чугунолитые и долбленные в камне, и плетеные, и слоеные, и решетчатые и дырчатые, и трубчатые, и сетчатые, и складчатые, и всякие другие предметы для курения различных субстанций, — в этом магазине наступает момент, когда продавец светло радуется отсутствию покупателей, — однажды в четыре часа пополудни он остановился на углу Сосновой улицы и Дубового Переулка, там, где розовое здание банка с отделанным металлическими профилями входом, и примерил свою фигуру в нишу с пустым пьедесталом, где когда-то стоял якорь. Немедленно на другом углу появилась знакомая нам стая женщин: большая шумерская мадам, на этот раз в крупную вишневую полоску, бежала впереди, перепрыгивая лужи мощными олимпийскими прыжками. За ней, мелко, но резво семеня, едва поспевали ее последовательницы, одетые в слоисто-лоскутные, бледные, едва заметные, страдающие недостатком хлорофилла туники.

Он живо спрыгнул с пьедестала и понесся прочь от них, сверкая мокрым черным костюмом, как только что выуженная рыба. Зоркая полосатая женщина выкинула вперед руку с жирным указательным пальцем, другой рукой загребая над головой. Вся ее паства цвета бабочек-капустниц вслед за ней бросилась вдогонку нашему герою.

Ужас у него был прямо в горле: не на этот, так на третий раз точно, они превратят его в камень, в соляной столп. Только не оглядываться, бежать что есть сил. Мимо двухэтажного дома с кирпичной оградой, там где человек наклонился, открывая ключом калитку. Через забор свешиваются ветви дерева, усеянные плодами, успевшими частью засохнуть, частью сгнить до того, как можно было распознать их форму. У человека на поводке неизвестное животное. Он сочувственно, хотя и кисло улыбается, жестом предлагает убежище.

Они оказались во дворе, где под дождем мокли статуи разной степени готовности.

— Похоже, что за вами гонятся, — ласково сказал человек, отпустив с поводка животное.

— Спасибо, вы рискнули... Почему не наоборот — задержать меня, вдруг я что украл у них?

— Мне безразлично, я, видите ли эстет. Мне понравилось ваше обсидиановое тело. Мне понравилось также и то, как выразительно вы избегаете женского общества.

— Всего не потому, что вы думаете, должен вас огорчить.

— Не волнуйтесь, я вижу, что вы не принадлежите к моей, так сказать, идеологии.

Во дворе пахло гипсом и землей. Как хорошо было бы вернуться вспять ко временам молодого символизма и написать: «Пахло медом и калуферами». Или того хуже: «Пахло кожами и жасмином». Или когда праздные партикулярные господа в белых чесучевых костюмах сидели на веранде, глядя на купальщиц в длинных полотняных рубахах, падавших в растянутый под поверхностью пруда парус, пахло земляникой и сигарами.

Но теперь пахло дождевыми червями, мокрым гипсом и углями оставленной под дождем жаровни.

— Не волнуйтесь, бросьте ваш настороженный, даже немного враждебный тон. Меня зовут Адальберт.

— Так я и думал.

— Тем лучше. Кофе? Выпить чего?

— Кофе, спасибо.

— Я, как видите, скульптор. Если можно так выразиться. Весь этот хлам, которые вы видите вокруг — моего производства. Я умею делать вещи. За это мне люди доверяют их делать. Им все время нужно что-то такое, что совсем не нужно мне. Это, впрочем, справедливо: так уж устроен сей мир. Сапожник тачает сапоги по мерке заказчика, а не на свою ногу. Бывают совпадения, но не у меня. Господа заказчики хотят у себя в саду статую Помоны. Помона, обнимающая рог изобилия, откуда выкатываются цементные плоды моего воображения. Мальчик, пытающийся удавить гуся. Мальчика мне, конечно, позировать никто не доверит. Все равно — им нужен не живой мальчик. Мальчик нужен помпейский, с цементной душой. Вы удивляетесь, что я называю цементным вон того мраморного недоноска? Да, он в самом деле из каррарского мрамора. Но я слишком привык к цементу, серому, мыльному кладбищенскому цементу. В самом начале моей карьеры я работал только в цементе. Первый мой мрамор обошелся мне так дорого, что я до сих пор не могу от этого оправиться. Это был апостол Марк, все как полагается, со львом на поводке, величиной, правда, всего лишь с волкодава, но вы понимаете — условность

искусства. Заказчик был миллионер, он и есть, жив еще, сукин сын. Хотел Св. Марка себе на могилу, имя его Марк. Заранее заказал, уверен был, что после смерти ему вряд ли кроме осинового кола кто пожелает. Обещал семнадцать тысяч. Я получил только три — задатку. Скульптура готова — он приходит, восхищается, но платить не торопится. Надо, говорит, взглянуть, как это будет выглядеть на его могиле. Я имел неосторожность пошутить: как же это вам удастся посмотреть... Он обозлился, вам, говорит, придется подождать, пока выберу место. А его адвокат отводит меня в сторону и, как бы доброжелательно, шепотом мне: «Вы только о деньгах сейчас не говорите. У него, понимаете ли, нервное заболевание довольно редкого свойства, вроде душевной аллергии. Как только услышит слово «деньги», его начинает дергать и дело иногда доходит до небольшого, знаете ли, паралича. Он в таких случаях сразу подает в суд на того, кто был причиной его заболевания». Так этот мерзавец то посулами, то угрозами уклонялся от уплаты денег, а спустя пару месяцев явился с грузовиком, подъемным краном, рабочими, адвокатом, архитектором и еще целой сворой неизвестного народа и радостно так объявляет — ну, теперь поедем, посмотрим, как памятник будет на месте смотреться. Привезли скульптуру на кладбище, поставили, все в восторге. Я на радостях забылся и сказал: «Пора бы мне и деньги получить!» Тут что с ним началось: нервный тик, потом удушье и обморок. Странно ведь — человек только деньгами и занимается, а у него от этого слова такие припадки. Правда, как мне потом объяснили, когда речь идет о приходе, он ограничивается только нервным тиком, обходится без обморока. В тот раз, на кладбище, он чуть не сыграл в ящик, хотел, наверное, сэкономить на транспорте. Вызвали скорую помощь, тут же, на будущей его могиле, отходили его, а он, едва глаза открыл, первое, что произнес, было: «Я на вас в суд подам». Тут и начались мои мытарства. Во время судебного заседания у него вдобавок отнялась вся правая сторона — тоже на мой счет отнесли. У меня были неплохие адвокаты — бесплатно, за будущие памятники себе моей работы, так что с моими контр-обвинениями дело удалось проволынить на несколько лет. Суд хоть и решил, что я должен ему в сто раз больше, чем он — мне, ни я ему не платил, ни он, естественно, мне. Скульптуру я пытался вытащить с кладбища — не дают. Докажите, говорит, что она вашей работы. У меня свидетели! Оказалось, нет у меня свидетелей, вся

эта толпа ценителей моего таланта оказалась приложением к подъемному крану — никто не согласился показывать в мою пользу. Надо было затевать новое, отдельное судебное дело, чтоб только установить принадлежность скульптуры. И тогда наступил момент, когда у меня совпало сразу многое — отсутствие денег, нечем платить алименты, бывшие жены грозят адвокатами, кто-то еще взял да и забеременел от меня непорочным зачатием, заказчик намекает, чтоб я ему мальчика с гусем бесплатно отдал, а то у него есть доказательства, что когда его племянник мне позировал, я, якобы... хотя никто мне не позировал, да и племянника у него, как выяснилось, никакого нет. Короче, подоспело мне совершить что-то кардинальное. Уехать на Таити я не мог, потому что представлял себе всякий райский остров по Гогену сплошь населенным бабами, да и вообще весь внешний мир тогда представлялся мне принадлежащим моим бывшим женам (их было три), а весь мой мир казался ограниченным этой оградой. Думал я, если руки на себя наложить, так надо перед этим хорошенько дверью хлопнуть. Я выбрал темную ночь, как в кино про вампиров, взял кувалду потяжелей и отправился на кладбище, как вы понимаете, с намерением разбить вдребезги свое творение. Простите, вы не торопитесь?

Они прислушались: дождь затихал, за воротами слышен был шорох одежд, в щели между досками видно было бледно-салатное мелькание. Там, наверное, тоже слушали рассказ скульптора.

— Я чувствую, что вам еще надо переждать. Хотите еще кофе, вина, ракии, наконец?

— Ракии?

— Почему не ракии? Вы думаете, я болгарин? Нет, я не болгарин и не турок. Я даже не албанец и не кашуб. У меня нет никакой национальности, я ее совсем растерял, пока был трижды женат на женщинах — все были разного происхождения.

Они сидели в ржавой беседке. Последние капли дождя, уже с деревьев, редко и невежливо стучали по железу.

— Итак, темная ночь, перелезаю ограду, иду по аллее — там все аллеи с названиями — по аллее Неумирающей Мечты, вижу своего белеющего в темноте Марка с его карликовым львом. Подхожу ближе, замахваюсь кувалдой — думаю, грохот будет сильный, прибегут сторожа, — ну и черт с ним, пока прибегут, я успею все вдребезги расколотить. Но грохота не было. Кувалда

моя опустилась во что-то мягкое и вязкое. Я пощупал — скульптура моя — пенопластовая. Вы можете представить мои чувства...

— Я бы на вашем месте разбил бы все, что по соседству стояло.

— Естественно! Я так и поступил. В тюрьме я отсидел всего неделю, потом меня выпустили с условием, что я ликвидирую последствия своего вандализма, а ущерб я нанес тогда немало, так что я застрял на этом кладбище надолго. Стал брать заказы на новые монументы. Так прошло еще двенадцать лет. А ведь хотелось мне когда-то создавать что-то свое, неповторимое, чтоб скульптуры мои стояли на площадях и чтоб в парках по ним детишки ползали...

— А чем же кончилось у вас с этим Марком?

— Этот Марк оказался просто каким-то фонтаном судебной деятельности. Первое мое с ним дело как-то загнило и ничем не кончилось. Затеять новый процесс по поводу подмены моей скульптуры у меня не было ни желания, ни сил, вдобавок еще надо было доказывать, что она моя. Но этот-то сукин сын умудрился получить крупную компенсацию с кладбищенкой компании, задал полиции работу — они до сих пор ищут скульптуру.

— Уверен, что он сам украл. У него вот какой план: он скульптуру где-то надежно спрятал, а когда он умрет, она тут же и найдется, и ее поставят назад.

— Как это поставят назад! — возмутился Адальберт. — я не позволю поставить ее назад.

— А вас никто не спросит. Вы еще не доказали, что она ваша. А потом, вам, может быть, даже заплатят. Он, возможно, распорядился в завещании, чтоб вам заплатили. Ему ведь после смерти нервный тик не грозит.

— Это еще как сказать... Да еще и неизвестно, кто первый отправится на тот свет. Я тоже, как видите, не первой молодости. А этот подлец, уверяю вас, когда окочурится, так устроит, что еще лет десять будет судебный процесс насчет того, считать ли его мертвым. И все это время будет продолжаться взыскание денег с лечивших его врачей. Вдобавок — расскажу я вам и последний случай — месяц тому назад я увидел его в вестибюле отеля «Эксцельсиор». Знаете — этот огромный обнесенный колоннадой зал, все сплошь красный гранит с золочеными деталями. Мне там заказали заменить одну голову другой. Владелец, гости-

ницы, неизвестно почему, возненавидел Филиппа Аравитянина и велел вместо него поставить Антиноя, что, естественно, поручили мне. Пересекаю я по диагонали вестибюль, а навстречу мне по другой диагонали везут его в коляске. Hosanna in Excelsis!

Позади его агрегат нержавеющей стали со всеми его выносными внутренностями работает на полную мощность. Бутылки булькают, медсестры машут опахалами. И вдруг, как бес в меня вселился, обогнул я зал за колоннами и ка-а-ак выскочу на него сзади с криком: «Попался, который кусался!» Он со страху в кресле подскочил, бутылки вдребезги, он — о чудо! — вскакивает на ноги и только было начал: «Я на вас вс...», как вдруг осознает, что все у него задвигалось, обе половины, да еще как! Более того у него что-то другое началось — пляска святого Вита, что ли, это называется. Лицо, правда, как было перекошенное, так и осталось, но мне потом сказали, что хотя опущенная часть лица не поднялась, зато другая симметрично опустилась.

— Теперь вы должны на него в суд подать, чтоб он вам за лечение заплатил.

— Шутите. Он, не волнуйтесь, сам подал на врача, что тот его неправильно лечил, а врач — на меня, — что неправильно вылечил.

Они оба молчали. Слышно было, как улитки ползут по мокрому гипсу и как последние капли дождя по ступенькам ветвей и листьев достигая земли.

— Теперь я уже подошел к рубежу. Исчерпан мой цементный рог изобилия. И не так уж много мне — материально — надо, есть небольшие сбережения. Пока уж и что-то свое сделать — много ли мне осталось времени. Но не так-то просто, не так-то просто, дорогой мой. Если художник потратил двадцать пять лет своей жизни на ваяние чужой ему обуви, может ли он в одно прекрасное утро проснуться и начать высекать в мраморе неповторимые шедевры? То, что мне в молодые годы рисовалось — публичные места и детище мое служит местом упражнения чьих-то там детишек. Во-первых, эти детишки на горбатом предмете моей мечты не вызывают во мне никакого умиления, разве что напоминают о неуплаченных алиментах. А во-вторых, пока я собирался, подобные вещи уже были сделаны кем-то другим, кто теперь уже тоже в коляске позирует фотографам и изредка разве соизволит смять в кулаке кусок дерьма так, что промеж пальцев выле-

зет — и отдать это своим помоганцам для тысячекратного увеличения. А мои годы так и ушли... Вы определенно не хотите рации, сливовицы, кальвадоса, еще чего?

— Я вообще не употребляю спиртного.

— И вот сегодня: позвольте мне сказать со всей серьезностью. Вы совершенно посторонний, именно поэтому меня ничего не останавливает — вы чисты. Вы даже спиртного не употребляете. А я уже далеко, как говорится, за холмом. Я испорченный, старый эстет, пусть это слово будет ругательным, но такой уж я есть, назад нет дороги, а впереди — вы знаете что. Заслужил я многолетним трудом на кусок тихой жизни, чтобы сделать две-три своих вещи. И вдруг, именно теперь, в момент отчаяния, когда я не знаю, с чего начать, сам Бог посылает мне вас! Представьте себе — дождь, вся улица, в мелкую водяную пыль, луч солнца на секунду прорывается сквозь облака, автомобиль отбрасывает фонтан, оборачивающийся краткосрочно скоротечной радугой, и вслед за этим — фигура, бегущий обсидиановый бог с выражением ужаса на лице! Я не сразу понял, что на вас подводный костюм, это была просто бегущая скульптура из черного камня, как мой собственный сон наяву. А позади — кошмарный образ фурии, гарпии, эринии... Медузы, наконец. И эти загробные эфемериды в одеждах цвета забвения, цвета увядших лепестков белого мака. Мне уже мерещилось, что сейчас все видение будет испорчено вторжением реальности — уж не бегут ли там, позади, мои жены с адвокатами... Но, как вы думаете, какое впечатление могла произвести на меня такая картина, открывшаяся мне именно в этот поворотный момент моей жизни... Вправе я считать, что это перст судьбы?

— Я понимаю, я вам сочувствую.

— Правда? Вы мне сочувствуете? Вы должны мне позировать. Вы спасете художника на краю гибели. Я создам вещь, обещаю вам. Я создам вещь, в черном камне, или, скорей, в черном и белом: черная фигура обсидианового божества и белые эфемериды — вестники загробного обморока.

— Я понимаю. Но я не смогу вам позировать. Моя жена...

— Что за глупость, причем тут ваша жена. Да у меня их целых три было. Я не намереваюсь склонять вас к телесному общению. Я эстет, понимаете ли, эстет, всю жизнь питавшийся цементом, и вот теперь, когда сам Бог посылает мне образ, который я не мог найти своим пораженным цементной проказой воображением, этот образ почему-то не в состоянии понять, что он такое, какую миссию — не только для меня, для, простите, может быть истории искусства... Я вам заплачу, разумеется. Я хорошо вам заплачу. Сколько вы хотите?

— Разрешите мне не отвечать на ваше предложение.

— Вот это уже лучше. Значит, вы подумаете. Вот вам моя карточка. Приходите, даже не позировать. Мне нравится ваше лицо. И то, что вы умеете слушать. Не думайте, что тут замешана ка-

кая-то эротика. Ничего эротического, все чисто эстетическое, чисто эстетическое, — он засмеялся старческим смешком, в котором было безнадежное и веселое недоверие к самому себе.

Это мой последний шанс, думал Адальберт, затворяя калитку за ушедшим. Я не должен его упускать. Он может не вернуться, он думает, что я просто влюбился в него. Но я же на самом деле хочу сделать его, в черном камне. Полированном, как он блестел под дождем. Надо выследить его, узнать адрес, убедить письмами. Он еще в поле зрения. Надеть что-то, чтоб он меня не узнал. Длинный черный дождевик с капюшоном. Правда, я похож в нем на оперного палача. Но времени нет. Скорей за ним, он не оглядывается, боится, что ли в соляной столб обратиться? Какая фигура... Спортсмен, наверное, а как же иначе, зачем ему тогда этот костюм. Вообще-то, какого черта он его напялил на улицу? Но в этом-то и указание. Перст судьбы!

Полуслепой продавец газет стряхивал воду с полиэтиленовой пленки, закрывавшей кипы печатной продукции, лежавшей на тротуаре. Одним глазом он увидел плоскую фигуру черного, как черт, человека, быстро перебежавшего улицу. На расстоянии шагов двадцати его преследовала другая черная фигура — в длинном блестящем плаще с капюшоном. Это какие-то эс и эм, подумал газетчик, вспомнив недавнюю сенсацию с трупом в черной маске. Эти садомазо скоро уже прямо на улице будут устраивать свои игры. Непонятно, чего людям не живется. Вот в древние времена были гладиаторы. Сделать бы такой закон, всех их приговорить к гладиаторским боям. Пусть себе веселятся на стадионе. А зрителей никаких туда не пускать, кроме стариков. После восьмидесяти.

Человек в подводном костюме приближался к подземному переходу. За ним, сокращая расстояние, следовал человек в черном балахоне. У метро толпа стала гуще, можно было, смешавшись с ней, следовать ближе, и Адальберт прошел сквозь турникет почти сразу за подводным человеком. В вагоне на одной стороне скамейки были почему-то пустые, в то время как противоположная сторона была плотно занята людьми. Бродяга там, наверное спит, в луже почи. Оказалось, занятый ряд был аудиторией, противоположный же был целиком отведен под невероятно длинноногого сумасшедшего в желто-сером рубище, который улыбался, не глядя на людей, старавшихся делать вид, что они тоже на него не глядят. Сумасшедший был откровенно и неприлично, угрожающе счастлив. Он необузданно радовался своему росту, длинным ногам и рукам, как будто он только что это обнаружил. Прodelав еще несколько телодвижений, вплоть до изображения дюреров-

ской фигуры, вписанной в круг, он сел на скамейку и стал представлять пантомиму ловли блох у себя в волосах. Вот он как бы поймал насекомое, держит его между большим и указательным пальцами, рассматривает, как драгоценность, восхищается миниатюрным устройством паразита, кладет свою добычу в кулак и баюкает, сладко закрывая глаза и, наконец, делает вид, что сам засыпает под собственную колыбельную блохе, кулак его разжимается, он тут же, встrepенувшись, открывает глаза и в притворном ужасе оглядывается вокруг. Люди, опасаясь, что воображаемая блоха может перескочить на их половину вагона, заерзали, зашевелили газетами, кое-кто стал продвигаться к выходу. Но сумасшедший как будто не видел людей или остатками своего разума прочертил границу вдоль прохода, которую запретил себе пересекать. Теперь он изображал блоху, которая прыгает по полу. На очередной остановке он сделал большой прыжок в сторону открывшейся двери — и блохи не стало. Он вернулся на свою сцену и, раскинув ноги в стороны, улыбался в потолок. Вдруг что-то вспомнил. Порылся в карманах и вытащил оттуда смятую купюру наименьшего достоинства. С размаху бросил ее на пол и впервые украдкой посмотрел на людей. Никто не пошевелился. Он встал во весь свой огромный рост и уже с высоты вытянутой к потолку руки, утрированно размахнувшись, швырнул деньгу на пол. Он повторил это еще раз восемь, поглядывая на людей и всякий раз пытаясь бросить банкноту чуть ближе к пассажирам. Все было безуспешно. Никто не реагировал. Тогда он положил купюру на пол перед собой, и, расставив колени, стал изображать мастурбацию. Веселье и торжество на его лице были таковы, что он казался пятиклассником, заставшим за изображаемым им занятием всех сидевших напротив него. Движения сначала одной, потом двух рук показывали постепенное увеличение размеров его органа: он растет, вот он уже выше его головы, с изумлением сумасшедший глядит в потолок и заканчивает пантомиму тем, что по выросшему своему органу, как по столбу, как по бобовому ростку из сказки, взбирается вверх. В это время в вагон вошел полицейский с собакой. Сумасшедший, заметив новоприбывших, стал раскланиваться, как в менуэте, будто приглашая собаку к танцу. Полицейский, так же как его собака, стояли, как окаменелые, видимо, ожидая каких-то дополнительных действий, чтобы иметь основание для вмешательства. Публика, почувствовав некоторое облег-

чение с приходом представителя закона, позволяла себе оценивать сценические способности сумасшедшего. Один из пассажиров, мужчина лет тридцати, умышленно небритый, судя по тщательно продуманному и безукоризненно свежему его гардеробу, встал со скамейки и решительно вручил сумасшедшему свою визитную карточку. Тот разглядывал ее с тем же удивлением, что и воображаемую блоху, а затем, уже знакомым движением, с размаху бросил на пол.

— Я — режиссер, понимаете, режиссер, — пытался объяснить небритый, — Я хочу снять фильм с вашим участием в главной роли.

Сумасшедший посмотрел на режиссера с хитрой улыбкой: «Знаем мы вас!» — будто хотел он сказать, но, как и до этого, оставался верен своему мимическому жанру. Не издав ни звука, он выпрыгнул в открывшуюся дверь на платформу и показал режиссеру в окно несколько онанирующих движений расслабленной правой рукой в воздухе, где-то около своего уха.

Пассажиры, избавленные от присутствия сумасшедшего, живо обменивались впечатлениями. Когда полицейский прошел вдоль того, что было воображаемой границей или краем сцены, люди, провожая его глазами, обнаружили в конце вагона человека в подводном костюме. В другом конце стояла, также черная фигура в длинном, с капюшоном, плаще.

— Черт знает что такое, — громко сказал человек в трех клетчатых рубашках, одетых одна на другую.

— Неужели все, что я сегодня вижу, связано одно с другим, — думал Адальберт. — Неужели это все связано со мной. Персты судьбы, грозящие указательные пальцы судьбы или согнутые крючком, манящие, заманивающие... Ловля блохи, бросание денег на пол. Статуя полицейского с собакой. Как какой-то гороскоп, расстеленный передо мной на грязном полу. Я не могу его прочесть, а астрологам я не верю. Режиссер, конечно, найдет профессионального актера и все в точности повторит. Мим будет чистенький, одетый в обтягивающее черное трико. Маленькая, но до отказа набитая аудитория, небольшая, но с энтузиазмом написанная рецензия на 28-й странице еженедельника.

— Почему именно сегодня все это происходит? Опять, если не молятся на меня, то хотят сделать скульптуру. Как будто весь

мир хочет, чтобы я окаменел, как будто мне предстоит еще третья встреча, уже с каким-то василиском, взгляда которого будет достаточно, чтоб я почувствовал, как ладони мои становятся слюдой, и тяжелеющая кровь холодеет, и вены становятся прожилками мрамора. И холодный мой пот уже оказывается ночной росой.

Теперь — этот сумасшедший, — неужели все, что я сегодня вижу, связано одно с другим. Неужели это все связано со мной. Персты судьбы. «Чисто эстетически, чисто эстетически...» Что это — знаки откуда? Знает ли то, кто руководит этим спектаклем, что я — зритель. Или это для кого-то другого? Может быть, для той венецианской фигуры в черном плаще. Что эта фигура — зрелище или зритель? Кто я — зрелище или зритель? Судя по моему костюму, я — зрелище. Если зрелище, то, выходит уже не зритель? Или все это сплошное зрелище, а зритель только один — собака полицейского. И если я спрошу сам себя, чем я сам-то хочу быть — зрелищем или зрителем, то я не знаю, как ответить. Может быть, зрелищем, которое должно вызвать другое, чужое зрелище, зрителем которого я быстро соскользнув в темный зал, стану? Но они не хотят, чтоб я остался на сцене, окаменев, в обсидиане.

Человек в подводном костюме вошел в дом 21 по Зеленой улице. Там несколько контор. Нанять частного детектива, пусть узнает, в какой в своем подводном костюме, вот его приметы: торс Аполлона Тенейского, светлые волосы, крупными локонами, как у моего Антиноя. Послать детектива в Музей изящных искусств и в Эксельсиор. Борода много темнее волос на голове, так что заметны седые волосы. Нос почти античный, если немного доработать линию переносицы.

Когда Гриша рассказал мне свою историю, я не мог обойтись без критических предвосхищений:

— Скульптурная группа «Нимфы в тщетной погоне за сатиром». Новое слово, до сих пор все было наоборот. И куда как не тщетно, если судить по разверткам краснофигурных ваз в альбоме Фуртвенглера из Мюнхенской пинакотеки.

— Все-то ты знаешь, — сказал Гриша с досадой. — Все знаешь и ничего не можешь.

— Ну уж, ну уж... Так уж я ничего не могу. Вот ведь ташу же я эту контору, безо всякого большого дела умудряемся делать какие-то деньги.

— Да не в этом дело.

— Ах да. Я забыл. Прости.

Ему бы сейчас стукнуть кулаком по столу и сказать: «Хватит!» довольно этой пошлой суеты вокруг производства и перепродажи ненужных вещей для ненужных людей. Фальшивые бритвы для фальшивой бороды, как сказал один француз. Только вот не с кем ему было посоветоваться, излить душу. Не с женой же ему на эту тему говорить — та сразу заподозрит в нем симптомы гомосексуализма. С легкой руки Фрейда ничего не стоит найти латентный гомосексуализм в чем угодно, вплоть до надувного молотка, не говоря уж о свистящей ширинке.

— Ты думаешь, я латентный... — спросил он с вызовом.

— Все мы латентные импотенты, — сказал я.

— Латентный импотент! — фыркнул он. — Вот это ты точно сам про себя сказал. Есть в твоей этой самой эрудиции и понимании, и принятии всего это вот самое.

— Я не пойму, чего ты от меня хочешь? Чтоб я тебе разрешил или не разрешил идти позировать? Ты меня обвиняешь в том, что я такой и сякой, но это твое раздражение — не потому, что я такой, а потому что тебе самому не решить своих проблем и тебе нужен кто-то, чтоб взял на себя ответственность за их решение.

Похоже, что это его убедило. Он задумался и немного по-добрел:

— Второй раз этот подводный костюм выводит меня на странную встречу.

— Ты для того его и носишь.

— Выбросить его к чертовой матери, а?

— Смотри, как знаешь.

— Надо работать с природой, — сказал Стивен. — Вот что я обнаружил. Есть такие плотоядные растения. Они питаются насекомыми. Начать торговать ими как экологически чистым средством от тараканов.

Я промолчал. У меня уже давно не было сил удивляться или

испытывать энтузиазм. Пора, наверное, на покой. Позади — цементная дорога жизненного опыта, накопленного для чего-то, — на том свете пригодится.

Захоронение скифского вождя. Лук, стрелы, золотые удила. Или стремена. Амфора, наполненная жизненным опытом, вперемежку с прахом. Не, пора. Пора на покой. А рано еще. Какой покой. Какой покой? Деньги надо зарабатывать. Банкнот у сумасшедшего был единственный и вечный, не подлежавший обмену на товар. Купюра была бутафорией — единственной материальной вещью в его реквизите. Жестом не изобразишь, как блоху или эрекцию. Блоха была воображаемой. Реально у него были вши. Они не прыгают. Деньга изображала деньги. Деньги изображают деньги. Реальные деньги изображают воображаемые деньги.

Вчера видел на улице — не одного — уже двоих, и в разных местах, — людей, гулявших в подводных костюмах. Даже не было дождя. Откуда мода берется. Пока не поздно, начать шить подводные костюмы из нормальной земной ткани. Чтоб тело дышало. Лучше чем разводить кусты, по которым, на краю своей гибели, будут ползать полчища тараканов.

Евгений ХАРИТОНОВ

Лишь в канун пятидесятилетия автора и десятилетия со дня его скоростижной смерти — в июне 1981 на улице Пушкинской, в центре Москвы — произведения Евгения Харитонова, пребывавшие при его жизни под берегающим «домашним арестом», судя по всему, обретают заинтересованного издателя в России. Не слишком ли рано (поздно)?

Несколько посмертных публикаций на Западе, одна — в России («Искусство кино», 1988, № 6) да упоминание его имени в критическом обзоре «Нового мира», не считая недавнего появления его прозы в малотиражных «Митином журнале» (Ленинград) и «Равноденствии» (Москва), только усилили полуизвестность (как и всякая полуизвестность — двусмысленную) этого замечательного писателя. Интересующихся биографическими сведениями отсылаем к информации в конце нашего альманаха.

Евгений Харитонов — пожалуй, самый тонкий стилист среди русских прозаиков 1970-х гг. и, может быть, самая литературно одинокая фигура в отечественной словесности последних десятилетий. И дело не в гомосексуальной тематике большинства его произведений, как полагает автор упомянутой выше статьи в «Новом мире», — от просветленной «Духовки» до физиологического очерка «Как я стал таким», — впрочем, названных нами произведений не читавший. Харитонов — наследник и продолжатель так называемой «младшей линии» отечественной словесности XX в. — Розанова, Обэриутов, а также обращенной лицом к «серебряному веку» московско-литерской литературы 1950-х—1960-х гг. — в сущности, единственно живой линии. Пожалуй даже так: Харитонов, как он и воспринимался многими своими сверстниками — психологически людьми более молодого поколения, справляющими ныне «праздник победителей» — последний крупный прозаик из тех, кого питала культура 1910-х—1920-х, и одновременно прозаик, использовавший многие приемы новейшего письма. Пиетет Харитонova перед «Улиссом» объясняется экспериментально-аллюзивное начало в его прозе.

Парадоксально, но при всем том, что произведения Харитонova (и не только тематически, но и стилистически и даже чисто визуально-графически) способны эпатировать много читателя, Харитонов, в сущности, весьма консервативный, традиционный прозаик. «Теплота» в его отношении к персонажам, в том числе и к исповедующемуся «я», сам интимно-дневниковый тон повествования завидно отличают его от многих ныне известных, а в недавнем прошлом «непечатных» авторов с их почти вивисекторским отношением к персонажу и читателю. Еще более одинок он в своей тяге к органическим основам бытия, в своем желании овладеть ими, подчинить себе и литературе, остановить витальную силу любви; и вот она, любовь, жизнь, «уходит сквозь а. б. в. г. д.», превращая полное неизбывной, неизъяснимой вины человеческое существование в слово, возвращая — через исповедь в слове — к чистоте, к абсолюту, к Богу: «Может быть,

исповедь в радости. Самая главная самая настоящая-то радость и есть, когда слезы над бездной. И вот я, например, сложил слова и принес их всем. То есть, Богу? И вот когда эти слова вышли, я спасаюсь, а когда не выходят это не грех, они еще выйдут. Есть только все время страх греха, что не выйдет. Но в чем я исповедуюсь, открываясь в своем, чтобы это стало общим; потому что действие-то идет в языке, а язык общее (Божье). Стать, в конце концов, общим местом. Белым цветом (чистоты)».

Едва ли к этому можно что-то добавить.

В ХОЛОДНОМ ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ

НОВОЕ ДЕЛО печатать на машинке вместо тетрадки посмотрим что выйдет как-то непривычно. Непривычно. М-да. Какой-то пулемет вместо тишины. То тишина, то пулемет. Нет, так не выйдет. Не выйдет! Это не то что фломастером тогда. Как-то тут все разграниченной. Нет, так не перучиться. Если только сразу писать рассказ. О чем-то. О чем? О чем, я вас спрашиваю? А, то-то. Будет вечно что-то стучать в ушах. Страшно. Ищю один тупик-с. И главное, все подряд идет. Не впишешь. Ужас. Нет! Нет! не надо на машинке. Как-то многое зависит от того, что есть в машинке с ее всякими там клавишами и пр. Потом, поднимать эти заглавные буквы. Как-то много всякого лишнего труда и это не дает тихо писать. То строчка кончается, то интервал. Нет, так не выйдет, это ясно. Слишком много отвлекающего. Машинка. Не зря она машинка. А не Машенька. Так-то. Друзья мои. Как-то неестественно. На машинке и надо писать машинный текст для естественности. Сегодня я должен что-то удачное написать. Вы слышите, сегодня я должен что-то удачное написать. Всё. Поняли? Вот так. Вот так вот, и все. Сейчас напишу, не беспокойтесь. Сейчас-сейчас. О! о, о, о, о — нет,

не о. Не о, а а. А. Да, а. Боже мой. Нет, нужен предмет. Вокруг которого. Он нужен, нужен. А иначе ну что же это. Что же это такое. Ну да, ну немножко можно, но сколько — ко — а (махнув рукой). А. Опять все пришло к а. А если попечатать на кр. ленте. Нет, она слабая. Я слабый, и еще она слабая. Нет, как-то сердце колотится нервнее от машинки от машиночки. Как выманить червячка из носа? Боже мой, как я одинок. Как и многие. Да, как и многие. Я издал носом гудение и оно отдалось в ногу. Я раздисциплинировался, размагнитился окончательно. Воли нет. Ужас. Тихий ужас. Действительно, тихий. Вот когда к месту сказано. На теле появляются лишние наросты, родинки, родимые пятна, сосуды. Боже мой, до чего я дожил. И все до этого доживают. Это называется годы. Годы. Лучше не лечиться. Не дай Бог чтобы в вас копались. Как и в машинке. Только что-то нарушат. Я сижу как больной, как невольник, как пленник. Как данник. Усидчивость. Даже улежчивость. Я политкаторжанин. Я да я. Хватит Я.

Х в а т и т я. Я же сказал. Хватит! Да и потом она давит на колени. Машинка. Весь мой путь передо мной. Мой грустный путь. Хотя у других еще грустней. Уж совсем. Нет, ну были минуты, чего там.

Скоро, скоро я найду чем жить. Вот когда дойду до полной пустоты, тогда и найду.

Да, прав Тростников: в начале жизни нас беззаветно, ничего не прося от нас просто так любили, а потом эта любовь как энергия осталась в нас и мы должны ее передать, а если передать некому, мы страдаем. Ну не киске же, не щенку. Хочется человеку как щенку и киске.

Боже мой, как это было давно. Когда мы с бабой Валею были в Сталинске. И она показывала больные ногти на ногах. Это было почти 40 лет назад (35). Почти полвека. Шкурка змеи лежала там возле той продолговатой фаянсовой штучки, коробочки овальной, длинной, где лежали ножницы — я много чего помню, но описывать этого как Пруст не стану, лучше так повспоминаю.

Думать, это я сколько угодно. (На скользкую тему).

Где я люблю бывать? А вот, получается, нигде. А зачем, спрашивается, тогда жизнь вокруг? А чтобы откликаться на нее, когда она задевает те струны. Мне нужны случаи и реакции на случаи. Какой ужас! Как же тогда писать, когда нет случаев. Когда уж не иду на них. Ой-ё-ёй. Что же это делается. И что же будет делаться!

В старости.

в старости я буду говорить нечленораздельно, весь заплыву, ноги будут полусогнутые плохосгибающиеся, голос будет стариковский, привычки будут стариковские, страшная скупость разовьется, и вообще лучше об этом не думать.

Меня нельзя любить. Нельзя жалеть старые кости. И тело, полное мертвых клеток. В кр. случае мне могут любить душу или что там такое.

Не надо, мой дорогой, говорить что что-то было. Я ведь, слава Богу, умею различать когда что-то было, а когда не было. Я знаю как это бывает когда ЧТО-ТО БЫЛО. И ты знаешь как это, когда ЧТО-ТО БЫЛО. У нас с тобой НИЧЕГО НЕ БЫЛО. Это была простая физкультура.

У меня уже такой одухотворенный вид, что со мной никто не хочет целоваться. Все равно что целоваться с книгой.

О, какой я страшный. Куда уж мне ехать. Только чтобы найти такое же страшилище.

Где мой гроб! Отдайте мне мой гроб!

Я знаю, что бывает в минуту смерти: вдруг вам после всех болезней внезапно так хорошо, как не бывает и не может быть и это не в человек. силах вынести. Вся дрожь лучших минут вашей жизни, всей вашей невозможной юности, все соединяется в одну немыслимую минуту, как при первой любви, как при надежде на новую, как перед первым приездом в Москву, как во всевозможные случаи, бывшие в жизни, — все в одну минуту, этого невозможно выдержать, ваше сердце разрывается и вы умираете. А все, кого вы любили и кто любил вас, вспомнят из разных концов земли и из под земли о вас в эту минуту.

Хуй. Да, я видел немало хуев. Кое-какие побывали и во мне. Кое-какие тоже хотели бы повидать немало хуев и использовали меня за того хуя-мушину, который побывал бы и в них.

О,
мои молодые прыщи,
которые больше не выскочат!

О, запах бициллина!

Ухо прямилось от телефонной трубки и пальцы замучились ее держать.

А удовольствие из удовольствий: когда он ждет, что ты начнешь сейчас приставать или еще что-то, а ты ничего, ты спокойно кладешь его в другую комнату или вместе с собой и не трогаешь. Несказанная, сладкая красота морали!

А то какой-нибудь дурак фантазирует, что я его обхаживаю, какой ужас. Мне и в голову не придет, а он, оказывается, воображает, что я его, идиота, хочу.

Вот я лежу и уткнулся и согрелся как котик, и ручкой мелко пишу и все на своем месте. И я в своей точке. Человек, у которого вся жизнь на кончике пера. Все ради этой точки, которая все время скачет по бумаге и составляет различные линии из каких-то крючков и закорючек, называемых буквами.

Злостный
непечатный
писатель.

Будем писать как Габриэль Д'Аннунцио, Ницше и Иоанн (особенно в Откровении). О! От имени пророка, миру и про мир. Даже как Брюсов.

Об евреях.

О любви.

О Возрождении.

О поганом деле (без поганных слов).

Так и назовем. П о э м ы. Как Скрябин.

Голова гудит от стихов, от обрывков мелодий. Мильон их. кажется, роится в голове. За какую ниточку не потянешь, все выходит какая-то изумительная ой ой только успевай записывать. Вдохновение, океан.

Ну, ну, еще! прям подряд, подряд идут. Что же это такое со мной делается я весь переполнен стихи, стихи, песни и все такое с напором как будто открыли баллон под давлением и давления было больше чем в воздухе вокруг и он как запустил струю!

и такая струя ринулась в мир! О!
(мечта)

Пусть потом расплата, кесонная болезнь, жить невозможно в обычном воздухе, опять нужно внутри жуткое давление. (А что это я все примеры из техники. Не хорошо душу с машиной сравнивать). — Вот этого не знает а^Ва_Нг^ард^Ис_Т, этой разницы давлений в 100 атмосфер. Ой, лопну. О, взорвусь. Вот этого вхрыва. Вот этой пожарной струи, которая выбивает глаз.

Распространяться по рукам, на пишущих машинках, магнитофонах и в видеозаписях. Путем поцелуев. Без лита.

Ладно, час попишем стихи, а потом будем писать вот эту большую вещь, после которой нечего будет в жизнь писать. «Волшебная палочка и волшебная дырочка».

Нач.: Жил-был поэт. Поэт любви. Он наковырял из носа козявок и запихал их себе в жопу.

опять перо выпадает из рук. *Нет, не стоит выгаскивать на свет дня то что смотрится только во мраке.*

Тот миг ушел. Когда я вдруг сильно почувствовал этот вечер во всей его вечерности. 100 звезд и свет от них. И у нас горят теплые звезды в окнах. Какой покой. И ночь, и звезды, и мы одни (я со мной).

Потрепанный,
потертый,
поживший,
поистертый,
Неновый я.
Я,
будущий мертвец.

Если считать, что морозить заметно начало году в 30-м, а оттепель, для круглого счета, году в 60-м, а снова морозить начало году в 65-м, то новую более или менее оттепель можно ожидать году в 95-м. И я могу до нее и дожить, и ждать не так уж долго, половину срока с условного заморозения. Правда, в оттепель захотят видеть молодых, но все равно, ведь и тогда 50-ти — 60-ти летним тоже дали показаться. *Надеяться никогда не глупо.*

Я сын честнейших людей. Я тоже честнейший человек. На знамени моем должно быть написано и написано было всегда *ч е с т н о с т ь*. А церковников (новоявленных) я ненавижу. А Бог есть Бог. Есть Бог есть Бог. И честность есть и Труд, пусть наш страшный труд далек от людей труда. О Боже мой, сколько в мире глупости, тупости и темноты. Но есть и ясный свет! Есть, есть, есть, есть. Поскольку музыка выше нас и закон слова выше нас, то даже нехороший, глупый человек может иной раз спеть и сказать(ся).

И, кажется, есть же на свете среди людей мирная, полная, одухотворенная жизнь в любви со смыслом, с исполненным долгом. Когда каждый миг это миг. Когда днем солнечный свет, а вечером теплый домашний свет вечерних занятий и хороших давних постоянных друзей. Когда в жизни нет — чего нет даже и говорить не будем, чтобы не дай Бог не накликасть. Когда есть главное, а именно: тепло и смысл. И ужин. Когда ты не простужен.

Знаете, бывают такие животные, они лягут возле какого-нибудь радиатора или вентиляции у метро, им оттуда дует тепло и слава Богу. И она, эта собака, дремлет возле решетки, а на цементе, где она свернулась, оттаяло под ней пятно. Вот так и я уже давно. И ничего не нужно. Лишь бы никаких помех, зима за окном и диван не провалился.

Самый необыкновенный, самый проникновенный, самого ясного ума чел. на земле был, несомненно, Евангелист Иоанн. А 2-ым был Оскар Уайльд. Тут с ним мог бы поспорить Джойс. Но Джойс не был гомосексуалистом, что не дало ему стать столь проникновенным как Оскар Уайльд, при его непостижимых уму артисти-

ческих задатках. Оспаривать 2-е место могла бы и фрейлина Сэй-Сёнагон. Но Япония страна не нашего мира и Сэй-Сёнагон женщина. А надо чтобы писание было не прямо-мужское, но и не значит, что только-женское. Хотя, повторяю, она его, оскар уайльда, как хотите, но соперница. И третий — что делать — но это я, я говорю без лукавства. И слава тем людям, кто в какие-то минуты это чувствует.

Значит, дело было так. (Какая разница, как оно было. Опять рассказ, опять пугать детей).

Я ему намекнул, кто я такой. В тот-то момент я не знал, что он гестаповец. Я видел, что он читает книжку, что он молодой и т. д. Но он был гестаповец. Когда он узнал, кто я такой, он, родившийся на 20 л. позже меня, — он на следующий день ударил меня. Но как он это сделал! мы выпили с ним вина, купленного на мои деньги. Да, я намекнул. Тупая тварь, он сказал, что меня убьет. И Бог разрешил ему это сказать. Какую бы я хотел ему мечь? А никакую. Но хотел бы, и знаю что так оно и будет, что Бог за меня ему отомстит, и отомстит страшно. Я даже не имею права описать, как. Так это страшно. Я есть ценность, меня надо беречь, идиот, не разбивать. Меня нельзя повредить. Должно было произойти немало событий в мире культуры и в мире природы, чтобы образовался я. Ко мне надо относиться суеверно. Ты должен навек запомнить те минуты, когда видел меня и не только видел, но даже выпивал со мной, непьющим! на всю жизнь, и считать, что кое-что в своей жизни повидал, хотя и не понял смысла. И рассказать своим глупым детям перед смертью.

Заметь, если только можно скотине говорить «заметь», что я был честен и открыт, а ты, тупая сволочь, считая себя человеком, меня обманул, зазвал в темную комнату, как будто хочешь вернуть мою вещь, мою рукопись, которую я тебе не давал! Ты без спроса сам взял ее у меня. Выкрал. И не вернул. И надо думать, не вернешь. А она тебе не предназначалась. Пушечное мясо. Ты смел заглянуть в комнату, где я занимался с детьми. В расчете, наверное, застать меня одного и убить. Мерзавец. Мерзавец, ты знаешь, как меня уважают люди!

Слабость это сила тончайшая, недоступная, невидимая тупому глазу, победа всегда за ней. А толстая сила дура. Это сила идиота

мужика. Это ваша сила, дорогие.

Я хочу сказать, что только слабый, только тот кто боится физической боли и не бьет других, тот человек. А кто может ударить, тот тупая сила, тварь. Их с детства воспитывали в этой доблести трех мушкетеров. Только не кровопроливец. Он посмеял коснуться моего лица кулаком. Тупой солдат. Мразь. Кого он тронул. К о г о он посмел тронуть.

Надо вам сказать, друзья мои, но этого нельзя вам говорить, я не могу говорить, — но вы, кто видите доблесть в мужестве, в спокойствии, в силе, вы, кто с детства не были маминькиными сынками — нет, только мы, кто не умеем драться. Кто трусы, кто не тщится. Мы-то и есть избранные, пораженцы. Но не вы. Быдло.

Можно ли жить честно, искренне, и в то же время широко и раздольно и громко разговаривать везде и не быть схваченным стражей закона и не быть побитым натравленными на вас гражданами? Нет, нельзя. А что можно? А можно о с т о р о ж н о. Ну и что, что многой еды не стало. Все равно многое еще есть и многое можно придумать. Можно во многом исхитриться в приготовлении еды. Зачем сеять эти мрачные, ни к чему не ведущие настроения. Ну и что ж, да, у них пайки, ну так и всегда был высший класс правителей. Ну и что. Наоборот, наша власть все в моей жизни, например, ставит на свои места.

(«Красный уголок»)

— Уважаемые работники искусств. Надо то-то и то-то и не надо того-то и того-то. Ведь в жизни много хорошего и доброго. Не зря уже 2000 лет люди христиане. И конечно немало тревожного. Зачем же людей тревожить еще кровью и болью. Обнадежьте их, согрейте, порадуйте несмотря ни на что. И обрадуйте непонапрасну, не зря. Если вы сумеете найти, в чем теплая надежда и где те радующие участки жизни, вы писатель, вам все скажут спасибо. И вы сами, наконец, будете счастливы хорошим ровным счастьем, а не этим сумасшедшим минутным, после которого одно отчаянье и тоска. (Наш новый манифест). Расскажите им о чем-то милым, пузатом, в домашних тапочках. И общелюдское, общелюдское. А если трудности, то как из них выходят.

Напр., — до сколько лет стоит хуй (вопрос в «Вечернюю Москву»). Отвечаем, товарищи. Хуй стоит минус 10 лет от года естественной

смерти. То есть, если вам суждено прожить до ста, так он и будет стоять у вас до 90-ста.

Тонкий вопрос, сложный вопрос, деликатный вопрос. Государство не любит растворенных евреев, а когда они нация как казахи, эстонцы, молдаване, пожалуйста. А они ведь, как известно, не нация среди наций, а что-то совсем, совсем другое. И вот этого боится всякое государство, наше тем более. «Да я, говорит, не еврей. Я просто гомо сапиенс». Но как же просто гомо сапиенс, если все же очевидно, что и еврей. Что же, мы (следи за мыслью) все кроме того, что гомо сапиенсы, еще и казахи и т. д., а ты только гомо сапиенс. О, не лукавь, что вы такой же народ, как и все народы, уж тут и Иисус Христос по земному воплощению, и апостолы, и всяческие вожди, Марксы, Фрейды, уж тут вам только остается так задрать кверху длинный нос, что станете еще курносее нас.

Что-то как-то неуловимо изменилось.

Что-то как-то чуть темнее стало и на два градуса попрохладнее.

Цветок продуло. Часть астр повяла.

Как раз такое небо, чтобы не ходить гулять.

Летние спортивные сооружения, как они нелепо выглядят, когда льет страшный безнадежный дождь, переходящий в снег, и все позади и ничего впереди. Да и мало что позади.

Прятали-прятали от корреспондентов нашу жизнь во время Олимпиады, а все равно Бог поломал начальству карты и случай хуже бомбы случился. В самый разгар парада умер негласный певец государства. И это показало всем, кем он был. Бог поставил точку в его жизни, когда его время точно-точно кончилось, и именно в разгар византийского торжества. Готовилась-готовилась страна к 80-му году, а не знала, что готовилась к его смерти. И для этого строили стадионы и гребные каналы, и для этого собрали миллион милиции. Чтобы обставить ему смерть. Какой восторг!

Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер и в какой момент. И именно этот свой главный портрет чел. видит только в последнюю минуту, и то не до конца. А в основном видят другие.

А вот она, моя боль, и вот она, моя смерть. Я уколол палец под самый ноготь скрепкой из тетради. Тут и моя инфекция и смерть как в Кошечевом яйце.

Ой, зима бы. А что, хорошее время. Может быть, и самое лучшее. Самое домашнее. Самое очаговое. Самое камельковое. Дым из труб. (Которого нигде нет. Но все равно).

И в закл., во славу молодых, рассказ. Как оно было, как шло и к чему пришло. «Сердце подростка».

Итак,

он после долгой разлуки зашел ко мне не один, чтобы удержать себя от любви ко мне. Поэтому он и не зашел сразу, а только через часов 6 после того как приехал. И потом 3 дня и 3 вечера проводил с обыкновенными друзьями, чтобы не сразу свернуть на мой путь. Не поддаваться своей слабости. Так ведь а когда зашел он в первый день с другом, он, когда друг на минуту вышел из комнаты, он прямо как дождался этой минуты, видно было, что наконец-то! — его прямо как что-то сняло с места и двинуло ко мне и как он стал целоваться! как, вернее даже, подставил свои губы для поцелуя! И я знал, как все будет: в один из вечеров, когда дома у него будут думать, что он ушел в гости на всю ночь, он, из тех гостей, немного выпив и сняв в мозгу контроль, наберет мой номер и примчится. И все будет как в тот раз полтора года назад, даже еще лучше. Но — что но? Но интересно, что неск. лет назад, лет 10 или даже 5 в таком сказочном случае с моей стороны была бы такая сверхпоглощающая все мое время и мысли любовь; а сейчас, я думал, если он и не придет за все 10 дней увольнения, я как-то к этому отнесусь достаточно нормально.

И так 4 дня прошло! и он заводит там у себя музыку, и хлопает дверью, и бегает туда-сюда, и ни разу не заглянет ко мне, хотя и это о многом говорило! Это говорило о том, каков, значит, для него

за моей дверью соблазн, если даже целые дни проводя дома, он не звонит в мою дверь. Вот, значит, как это в нем отложилось!

О, я ему скажу, когда он не выдержит, нет уж дорогой, нет уж, золотой, не надо не будем, а то я свяжусь для тебя только с любовью, с запретом, и ты вообще ко мне заходить не будешь. А ты лучше заходи для пустых разговоров (а я, змей, буду незаметно подогревать твой соблазн).

Что он про все это думал?

Он себя останавливал. Он знает, что по понятиям его друзей это нехорошо, это не доблесть. Он знает, что этим не поделиться со своим другом N., что тот вытаращит глаза. И перестанет его уважать. За такие дела. Он видит, хотя не очень отчетливо, что попав ко мне, он попадает в несколько другой мир, что нельзя жить сразу в двух мирах. Тогда, полтора года назад, он когда припал ко мне, сказал да какая разница парень с парнем, любовь к мужчине к женщине — мол, в Швеции так все разрешают. Но нет, мальчик дорогой. Не все равно. Здесь твоя жизнь становится с ног на голову. И этого случая, получается, ты должен стыдиться перед товарищами, должен скрывать от товарищей, от родителей, от военного суда. И стараться меня избегать. А как же. Ведь ты тогда неизвестно кто и что. Ну если бы ты был человек арцисцических занятий, еще куда ни шло. (Во мне говорит моралист).

Т. е., моралист говорил во мне «не ходи ко мне», а неморалист ждал, когда он придет и упадет.

Ахх!

то был редчайший, невероятнейший случай, когда можно было делать поганое дело при свете, и только при свете! потому что в нем не было ни одного изъяна, ни одной даже поры на носу, ни какой-нибудь ненужной нехорошей полубородавки, ни лопнувшего сосудика ни родинки не на месте, все было молодо гладко и сладко, все было божественно, как для кинофильма. Но вот другой вопрос, что он-то ведь должен был бы закрыть на меня глаза, потому что ведь на мне чего только нет. А он мог на меня спокойно смотреть и еще целоваться. Значит, что же, у него нет вкуса, что ли? А это уже и его не красит. Не делает чести его чувствам.

Почему это случилось.

Он очень несамостоятельный, подверженный всяким влияниям. У него своего ума почти нет. Почему он тогда лег со мной?

Потому что, наверное, с малолетства очень меня издали уважал. Я ему казался каким-то там представителем свободного артистического мира, что ли. Он все подражал мне в одежде. Напр., дома ему говорят нехорошо ходить с такими волосами или так одеваться — а у него всегда перед глазами я. Там его удерживают в рамках приличий, а мой пример показывает ему врожденную свободу морали что ли. Что вот он (я) и не женат, и ничем не связан, и гости какие-то редкие, мол, у него бывают, тоже не вполне обыкновенные люди. Только музыка почему-то у него не играет. (Да потому что я на самом деле человек уединенного слова! а не какой-то там светский хлыщ, вертопрах — но такие вещи он не вполне различал).

И что я хочу ему в ответ на это сказать. Конечно, есть Порядок жизни и Мораль, и не надо тебе из нее выходить, дорогой, Живи той жизнью, какая заложена твоей средой. А в эту сторону не заглядывай, дорогой. Не заглядывай, дорогой. Не твое это дело. Да и как я буду смотреть в глаза твоим. Что сбил тебя с пути.

Но вот тут что интересно.

Я думал, что, напр., он будет себя преодолевать и не придет ко мне. А ведь он не я, другой человек, без рефлексий, и для него в обменах нет никакой особой двойственности. «Ну подумаешь, мол, с ним (со мной) это такое послабление себе даю, а есть жизнь и среди друзей, девушки, свой круг, и ничего особенного».

Это для меня так или так или только так или только так, А для него можно совместить и так и так.

Вот какой я честнейший, утонченный, предназначенный человек, а для него все просто и без рефлексий, А я-то там надумал что он прям не знает как ему быть, что у него теперь в душе трещина. Ничего подобного.

(Разница в воспитании его и моем: я сидел за книгами и сам не захотел бы шляться и выпивать, а у него дома как-то на это в порядке вещей смотрели, хоть и журили, что поздно приходит. Вот он и стал нормальным мальчиком с нормальными доблестями. А не я).

И все началось с сигарет: и в 64-м г. вообще, и в этом случае с угонений. Они же за это и приведут меня к раку десен, как у Н. Стрехова.

НЕПЕЧАТНЫЕ ПИСАТЕЛИ

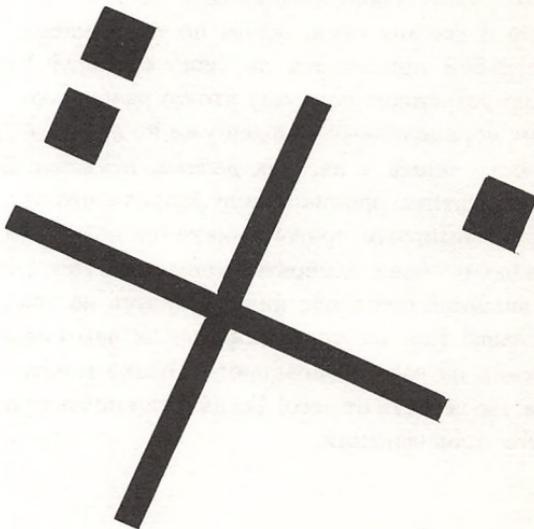
У Евг. Козловского есть рассказ. Один столичный человек, чтобы влюбиться в себя девушку с периферии, читает ей стихи и пересказывает книги, которые у нас не печатают. Потом девушка по наивности пересказывает это все какому-то своему руководителю. И когда человек, рассказавший ей лишнее, возвращается в Москву, его вызывают Органы и ставят штамп с выпиской из Москвы, единственного города, где он всю жизнь привык жить. Этот потерянный человек идет на вокзал, и — это сказка — фантастическим образом пропадает. Не в смысле, что его посадили, убрали, нет, именно сказочно исчезает со света. Сам закон сказки все рассудил по справедливости. Человек посягнул на правильное сознание, на взгляды девушки. А она должна знать лишь то, что ей позволено знать по ее жизни, иначе как она будет жить жизнью, к какой она предназначена. Родина предусмотрела, что ей надо знать, что читать, что смотреть по телевизору. За то и наказан бедный человек сказочной судьбой, что растревожил ей ум.

Так вот: мы не хотим притворяться наивными и говорить — почему нас не печатают? Правильно не печатают. Потому что есть Закон и Порядок нашей жизни, есть Закон что положено печатно показывать людям и о чем молчать. Какой есть Закон и Порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему! он нужен: в нарушении его нерв наших художеств. Изменись он, нерв наш будет из нас вынут и почва уйдет из-под ног. Наши сочинения, в основном, непечатны. А хочется, чтобы где-то, на какой-то нейтральной полосе они были сохранены. В память о годах нашего

труда, и чтобы мы законно могли считаться людьми, которые пишут и в этом их жизнь. И, например, мы решаем объявить себя таким сообществом; а чтобы закон Родины не считал это криминалом, просим, например, всемирный международный пэн-клуб взять нас под охрану и объявить нас неприкосновенным участком.

Ну и что? В вышесмысленного хорошего в такой предусмотрительности, в таком юридическом расчете нет. Мы в этом случае перешагиваем через голову местного закона; когда-то однажды, мы подчинились внутреннему закону, он же как будто свобода; а теперь стали бы искать ему поддержку и оформление в каком-то экстерриториальном всемирном Праве. А ведь Родина, то есть и все мы сами, верим по настоящему тем нарушителям, кто судьбой поплатился за свою свободу! Если у нас человек хорошо устроился, если ему что-то разрешают, что не разрешают другим, сердце к нему у людей уже не лежит. О, неужели же либеральность зашла у нас так далеко, неужели Европейский закон так неотвратимо проник в нашу Мораль, что нас, например, огражденных всемирным правом, никто бы не тронул. И, значит, никто бы на нас особенно не обратил внимания. Нет, если нас не накажут, если внешний огонь нас ничуть, ничуть не опалит, — мы погибли для славы! Как же тогда жить, если вам спокойно дают жить и внимания на вас не обращают? Только гореть одним внутренним огнем. Но сгореть от него! Тогда люди поверят поэту и распространят его произведения.

Публикация и вступительная статья И. Вишневецкого



СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ

АНДРЕЕВА ВИКТОРИЯ — родилась в 1942 г. в Омске (эвакуация), окончила филологический факультет Московского университета и докторантуру Нью-Йоркского университета (сравнительное литературоведение). В 1974 эмигрировала в США. Автор стихов, прозы, критических статей, переводов, печатавшихся в отечественной и зарубежной периодике. Редактор религиозно-философского двуязычного журнала «Гнозис» (Нью-Йорк, 1978—1981). Сборник стихов «Сон тверди» Нью-Йорк; 1986, переиздание с параллельными переводами Р. МакКэйна — 1989).

ВИШНЕВЕЦКИЙ ИГОРЬ — родился в 1964 г. в Ростове-на-Дону, окончил филологический факультет Московского университета. Автор стихов, переводов, статей. Стихи публиковались в зарубежной периодике, переводились на английский язык. Сборник стихов «Книга воздуха» (Нью-Йорк, 1991). Преполагает литературу в одной из московских школ. Редактор литературного вестника «Равноденствие» (Москва).

ВОЛЬФ СЕРГЕЙ — родился в Ленинграде в 1935 г. Автор 15 книг в прозе для детей, в т. ч. «Кто там ходит так тихо в траве», «Отойди от моей лошади». Стихи печатались в альманахе «День поэзии». Член Союза Писателей.

ГОРБАНЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ — родилась в 1936 г. в Москве, окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала переводчиком и библиотекарем. Некоторые стихи в 1965—1968 печатались в советской периодике. С 1968 принимала участие в правозащитном движении, в августе 1968 участвовала

в демонстрации протеста против вторжения в Чехословакию на Красной площади. В 1969 арестована, содержалась в спецбольнице в Казани. В 1975 ей было разрешено эмигрировать, с 1976 во Франции. Заместитель главного редактора журнала «Континент». Автор поэтических книг «Побережье» (1973), «Чужие камни» (1984), «Где и когда» (1985) и других. Стихи, переводы (в частности, польских поэтов) и статьи публиковались в зарубежной периодике.

ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ — родился в Вологодской области в 1943 г. Вырос в Ленинграде, учился в специальной школе при Академии Художеств. Автор трех книг стихов для детей — «Чудаки» (1971), «Витамин роста» (1980) и «Говорящий ворон» (1989). Стихи Григорьева печатались в журналах «Искусство Ленинграда», «Огонек». В 1990 г. выпущен иллюстрированный буклет по его коротким стихотворениям.

ДЕШАЛЫТ МИХАИЛ — родился в 1939 г. Окончил философский факультет Московского университета. Книга стихов «Золотой гобелен» вышла в 1990 в издательстве «Прометей» за счет автора.

ДРУСКИНА ЛИДИЯ — сестра Я. С. Друскина, хранитель и публикатор его литературного и философского наследия. Кандидат физико-математических наук.

ЗАКС ДМИТРИЙ — родился в 1961 г. в Ленинграде, окончил Ленинградский Политехнический институт. Печатались переводы. В 1989 году книга стихотворений «Деревьев прекрасный союз» напечатана в сборнике-конволюте четырех авторов «Камера хранения». Член одноименной литературной ассоциации. Учился в Московском Литературном Институте.

ИВАНОВА СВЕТЛАНА — родилась в 1965 г. в Ленинграде, окончила художественную школу. Училась в Московском Литературном институте. Вышел сборник «Тень на камне» (Л., 1990). Стихи печатались также в периодических изданиях.

КАПЕЛЯН ГРИГОРИЙ — родился в 1940 г. в Ленинграде, закончил Художественный институт им. Репина. Эмигрировал в США в 1978. Художник, скульптор, искусствовед, прозаик, поэт, переводчик. Печатался в отечественной и западной периодике, в том числе по-английски — в журнале «Alea» (Нью-Йорк, 1990), а также в «Gnosis Antology». Сборник прозы «Обсидиановый кумир» (Нью-Йорк, 1989). Живет в Джерси-сити (Нью-Джерси, США).

КАРИНСКИЙ СЕРГЕЙ — родился в 1961 г. в Москве, окончил географический факультет Московского университета. Автор прозы, стихов, переводов. В 1988—1989 издавал литературный журнал «Йорк» (Москва).

КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ — родился в 1949 г. в г. Карловка Полтавской области. Окончил философский факультет Московского университета и аспирантуру, отказался от защиты диссертации по идеологическим соображениям. Автор работ, исследующих, в частности, проблемы времени и поститории.

МАРТЫНОВА ОЛЬГА — родилась в Ленинграде в 1962 г., окончила Ленинградский Педагогический институт. Участница сборника «Камера хранения» и одноименной ассоциации. Печатались также переводы.

МЕЖИБОВСКИЙ ЛЕОНИД — родился в 1964 г. в Ростове-на-Дону, с 1978 в Ленинграде. Окончил Ленинградский Политехнический Институт. Рассказы и статьи печатались в отечественных («Вечерний Ленинград») и зарубежных («Континент», «Русская мысль») периодических изданиях. Некоторые рассказы переведены на немецкий язык. Участник ассоциации «Камера хранения».

МОЛОЧНИКОВ МИХАИЛ — родился в 1963 г. в Москве. Художник, участник международных выставок (Франция, ФРГ, Финляндия, Великобритания). Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

МОРЕВ ГЛЕБ — родился в 1968 г. в Ленинграде. Филолог, учился в Тартуском университете, автор статей и публикаций по истории русской культуры XX века. Редактор литературного вестника «Равноденствие» (Москва). Составитель и редактор сборника «Михаил Кузмин и русская культура XX века» (Л., 1990).

МЯКИШЕВ ЕВГЕНИЙ — родился в 1964 г. в Ленинграде. Участвовал в нескольких литературных объединениях и публичных поэтических вечерах. Стихи публиковались в газете «Еще!».

НОВОДВОРСКАЯ ИРИНА родилась в 1929 г. в Ленинграде. По образованию архитектор. Занимается технической графикой и музейной работой.

ПАВЛОВ ВИКТОР — родился в 1938 г., окончил философский факультет Ленинградского университета и аспирантуру Института философии АН. Работал в строительных и лесозаготовительных артелях. Последние годы занимается предпринимательской деятельностью.

ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА — родилась в 1964 г. в Ленинграде, училась в Тартуском университете. Стихи публиковались в периодике («Континент», «Монтаж», «Равноденствие»), переводились на немецкий язык.

ПОМЕРАНЦЕВ ИГОРЬ — родился в 1948 г. в Саратове. Окончил Черновицкий университет, работал учителем, переводчиком, опубликовал несколько стихотворений. В 1978 эмигрировал, живет в Лондоне, работает на радиостанции «Свобода». Печатается в эмигрантских изданиях. Автор книги рассказов «Альбы и серенады» (1985).

ПОНИЗОВСКИЙ БОРИС — родился в 1930 г. в Ленинграде. С 1952 занимается теорией театра, с 1973 — практической театральной деятельностью. С 1981 — художественный руководитель частного театра «ДаНет». Режиссер, художник-прикладник, автор неопубликованных драматических и прозаических сочинений.

РОВНЕР АРКАДИЙ — родился в 1940 г. в Одессе, окончил философский факультет Московского университета и факультет религии Колумбийского университета. В 1973 эмигрировал в США. Основатель двуязычного религиозно-философского журнала «Гнозис». Автор прозы, статей, книг по истории русской духовной культуры, стихов и переводов. Преподает религиоведение в Нью-Йорке. Романы «Калалацы» (1980), «Ход королем» (1989), сборник рассказов «Гости из области» (1975).

СЕДАКОВА ОЛЬГА — родилась в 1949 г. в Москве, поэт, филолог, переводчик. Окончила филологический факультет Московского университета. Вышли книги стихов «Ворота, окна, арки» (1986, Париж) и «Китайское путешествие. Стены и надписи. Старые песни» (1990, Москва). В разных изданиях печатались стихи, поэтические переводы из Рильке, Клоделя, Элиота и статьи по славянской филологии и поэтике.

СМИРНОВА АЛЛА — родилась в 1961 г. в Ленинграде, окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работает в Институте социологии Академии Наук. Печатались переводы, главным образом французской поэзии XX века.

СТРАТАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ — родился в 1944 г. в Ленинграде, окончил Ленинградский университет, работал библиографом, издателем, экскурсоводом. Печатался в зарубежной периодике («Вестник РХД», «Эхо», «Беседа»), в СССР — в сборнике «Круг». Редактор независимого журнала «Обводный канал».

ФАДЕЕВ ГЕННАДИЙ (1961—1988) — родился и прожил всю жизнь в Ленинграде, работал художником-оформителем, затем сторожем. Автор нескольких десятков рассказов (в т. ч. фантастических), стихотворений, пьесы «Город солнца». При жизни публикаций не было.

ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ (1941—1981) — родился в Новосибирске, окончил актерское отделение ВГИК, был режиссером в Московском театре мимики и жеста, кандидат искусствоведения. Скоропостижно скончался от сердечного приступа. Автор прозы и стихов, составивших книгу «Под домашним арестом», откуда и взяты публикуемые нами тексты, а также пьесы «Дзынь». Посмертные публикации в самиздатовских журналах «37», «Часы», «Митин журнал», «Равноденствие», в журнале «Neuve Russische Literatur» (Австрия), альманахах «Каталог» (Анн Арбор, 1982) и «Литературное А—Я» (Париж, 1985), а также в журнале «Искусство кино» (Москва).

ШВАРЦ ЕЛЕНА — родилась в 1948 г. в Ленинграде, печатается с 1972 г. Вышло 3 книги стихов за границей — «Стихотворения», «Танцующий Давид» и «Труды и дни Лавинии» и две в СССР — «Стороны света» (1989) и «Стихи» (1990). Многие стихи публиковались в периодических изданиях (в СССР главным образом после 1985).

ШУБИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ — родился в 1965 г. в Киеве, в Ленинграде с 1972 г. Окончил Ленинградский Финансово-экономический институт, работал экскурсоводом. Участник сборника «Камера хранения» (книга «Балтийский сон») и одноименной ассоциации. Автор нескольких рассказов и повестей, из которых напечатан «Фонтан слез» («Континент» № 62, 1990).

ЮРЬЕВ ОЛЕГ — родился в 1959 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский Финансово-экономический институт. Участник сборника «Камера хранения» (книга «Стихи о небесном наборе», включающая свыше 50 стихотворений) и одноименной ассоциации. Автор 4 пьес (не считая пьес для детей и инсценировок) вошедших в книгу «Пьесы» (Л., 1990) и сборник «Восемь нехороших пьес» (М., 1990). Некоторые из них поставлены. Печатались также стихи и рассказы для детей, статьи, переводы.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
Олег ЮРЬЕВ, стихи	5
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Немного о тебе, Иосип . . .	25
Елена ШВАРЦ, стихи	40
Яков ДРУСКИН. Перед принадлежностями чего-либо (Публикация Л. С. Друскиной)	46
Андрей НИКОЛАЕВ (Егунов), стихи (Публикация Г. Морева)	84
Иван ИГНАТОВ (Д. Е. Максимов), стихи (Публикация составителей и Г. Морева)	93
Сергей ВОЛЬФ, стихи	99
Леонид МЕЖИБОВСКИЙ, рассказы	107
Евгений МЯКИШЕВ, стихи	125
Олег ГРИГОРЬЕВ, стихи	129
Дмитрий ЗАКС, стихи	143
Сергей КАРИНСКИЙ. Стамбул	154
Алла СМЕРНОВА, стихи	168
Валерий ШУБИНСКИЙ. Постскрипtum	174
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, стихи	192
Светлана ИВАНОВА, стихи	206
Ольга МАРТЫНОВА, стихи	211
Ирина НОВОДВОРСКАЯ, рассказы	218
Александра ПЕТРОВА, стихи	225
Аркадий РОВНЕР, Сошествие голубиноного духа . . .	227
Геннадий ФАДЕЕВ. Я живу	232
Сергей СТРАТАНОВСКИЙ, стихи	239
Ольга СЕДАКОВА. Знак, смысл, весть	249
Игорь ВИШНЕВСКИЙ, стихи	253
Леонид АРОНЗОН, стихи (Публикация В. Эрля) . . .	263
Виталий КОВАЛЕВ. Парадигма времени	272
Виктория АНДРЕЕВА, стихи	286
Михаил ДЕШАЛЫТ, стихи	289
Виктор ПАВЛОВ. О роли опосредующего труда . . .	295
Григорий КАПЕЛЯН. Обсидиановый кумир	329
Евгений ХАРИТОНОВ. В холодном высшем смысле, непечатные писатели (Публикация И. Вишневого)	359
Справки об авторах	375

Редактор *В. И. Шубинский*. Технический редактор *В. И. Петрухин*.
Сдано в набор 05.01.91. Подписано в печать 31.05.91. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага документная. Усл. печ. л. 22,32. Уч.-изд. л. 19,63. Тираж 9735.
Заказ № 5705. Цена 6 р. 70 к. Ассоциация «Новая литература». Ленин-
градская типография № 3 Головное предприятие Ленинградского орде-
на Трудового Красного Знамени производственного объединения «Ти-
пография имени Ивана Федорова» Государственного комитета СССР по
печати. 191126, Ленинград, Звенигородская ул. 11.

